

СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора	3
-----------------------------------	---

ПРОЗА

Иван Аксенов	
Свет в одиноком окне	5
Валерий Бродовский	
Виталька	21
Ридикюль	39
Юлия Каунова	
Саженец	51

ПОЭЗИЯ

Тамара Сухорукова	
Стихотворения	59
Станислав Подольский	
Стихотворения	243
Поэтическая мозаика	
Виктор Хорольский	249
Антонина Ашихмина	251
Нина Можная	252
Виктор Шинковский	253
Юрий Краснокутский	255

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Илья Сургучев	
Рассказы	65
Иван Ряпасов	
Гроза мира	157

КРАЕВЕДЕНИЕ

Герман Беликов	
Под священным Крестом	257

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Татьяна Черная	
Фронтовые рубежи Ставропольской литературы	281
Галина Шевченко	
Честный поэт – достояние России	315
Сведения об авторах	319
Главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье»	

В. БУТЕНКО



Литературное

Ставрополье

№ 2 (2015)



© Правительство
Ставропольского края



ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2015 г. № 2.**

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов

Дизайн, верстка: А. П. Черкашина

Сдано в набор 28.02.2015. Подписано в печать 15.03.2015.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ № Тираж 979 экз.

ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,

ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905726-23-1

Кто нас выводит в мастера...

С годами всё ясней понимаешь, что судьба литератора зависит не только от целеустремленности, трудолюбия и личных качеств, но и от стечения обстоятельств, удач и промахов, а главное – от встреч с людьми, которые добрыми делами могут поддержать и многому научить. Особенно это важно в молодые годы. Литературные произведения, будучи по сути созданиями индивидуальными, обретают жизнь и существуют лишь в публичной форме. Пусть и не безупречное творение юного таланта, опубликованное в авторитетном издании, вызывает в его душе прилив творческой активности, побуждает совершенствоваться.

Сколько помню себя – и по сей день, – всегда замечал разницу между тем, о чем хотел написать, и тем, как задуманное воплощено. Свойственно это ощущение и многим моим сотоварищам по литературе. Увы, графоманам-счастливчикам, всезнающим и безапелляционным, живется легко именно из-за отсутствия сомнений в себе, в своих строках и страницах. Они не терпят критики, а замечания воспринимают, как обиду.

Мне повезло. Сначала самонадеянность сбили с меня члены литгруппы при молодежной газете и ее руководитель Александр Мосинцев, а затем тайны мастерства постигал я на краевых семинарах, которые возглавляли также профессиональные писатели. В чем главная ошибка начинающих поэтов и прозаиков? В том, что написанное ими на подъеме, в порыве вдохновения, считают верхом совер-



Страница главного редактора





шенства. После непродолжительных творческих мук они успокаиваются на достигнутом из-за неумения редактировать свое «детиче», И начинают, как блин, легко печь новое «пероизведение». Уровень их мелких знаний о творческом процессе заводит во мрак самовосхищения и пустоты. Они никак не могут взять в толк, почему их опусы не трогают людей, кроме собственных родственников...

Момент истины в упорной работе и учебе, в обогащении творческой лаборатории знаниями классической литературы, культуры, жизни во всех ее проявлениях, в чтении словарей и заучивании слов, в освоении стилистики и психологии как наук, в поисках образных «находок», притягивающих внимание читателей. И, конечно, в стремлении не самовыражаться, а понять мир и преобразить его творчеством, сделать еще прекрасней и добрей!

Так учили меня и Александр Мосинцев, выдающийся поэт современности, и Виктор Колесников, замечательный прозаик и редактор краевого книжного издательства, чьи рассказы во время учебы в Литинституте отмечал великий Паустовский. Они, точно старшие братья, строго следили за моими литературными шагами и заставляли наращивать бег, иной раз подгоняя пинками и поругивая, чтобы набирал дыхание и, окрепший, уже самостоятельно отправился в полет. А своей «литературной матерью» я, как и многие коллеги по перу, считаю Ларису Ивановну Хохлову, которая в те годы работала заведующей редакцией нашего книжного издательства. Знающая блестяще русский язык и литературу, обладающая безупречным редакторским вкусом, мудрая и доброжелательная, она собирала вокруг себя талантливую молодежь, поддерживала ее, а когда надо, критиковала, возвращала рукописи, требуя от автора полной самореализации. Господи, сколько сил требовалось ей, чтобы отражать нападки бездарей, кляузников, рифмоплетов всех мастей! Однако именно она рекомендовала к изданию первые произведения Андрея Губина и сама редактировала «Молоко волчицы».

Жаль, что институт издательских редакторов практически ликвидирован. А путь к мастерству – это и литгруппа, и творческие семинары, и основательная работа с редактором, который откроет глаза автора на недочеты и вовремя подскажет, посоветует, надоумит. Разумеется, речь идет о талантливых людях. Ибо, как верно заметил Лев Озеров, «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Свет в одиноком окне

Рассказ

1

Таню Пирогову я знал с военного детства. Она жила в доме напротив, но дружила с девочками из нашего дома. Бегала по двору с подружками тёмно-русая девчонка с двумя маленькими косичками, но мы, мальчишки, не обращали на неё никакого внимания: бегает – ну и пусть себе бегает, лишь бы не мешала нашим играм. И учились мы в одной школе, только она – на класс ниже меня, и я по-прежнему не обращал на неё внимания.

Когда я был уже в выпускном классе, наша учительница литературы Анна Алексеевна решила провести Лермонтовский вечер. В программу его она включила отрывок из третьего акта драмы «Маскарад». Арбенина должен был играть я, а на роль Нины она взяла Таню Пирогову. На репетициях я впервые заметил, что она красива, но пока ещё продолжал смотреть на неё свысока, как на ребёнка, ведь она была на целый год моложе меня.

Я много читал тогда, горячо любил поэзию, сам сочинял



**ИВАН
АКСЕНОВ**

Проза





стихи и мечтал стать поэтом, оттого и поступил на филологическое отделение Ставропольского педагогического института, которое в прошлом окончила моя мама. А на следующий год в институтском коридоре я увидел Таню. Оказывается, она стала студенткой физико-математического факультета. Я удивился тому, что до этого, встречая её во дворе или на улице, только здоровался с нею и просто не заметил, в какую красавицу она превратилась.

Мы стали встречаться. Она призналась, что любила меня ещё во время наших репетиций. Мы вместе гуляли в парке, на Комсомольской горке, летом загорали на пруду. Ей нравилось бродить со мной в туманные дни по бульвару, слушая приглушенные звуки города. Посещали мы спектакли драматического театра (дешёвые билеты помогал нам покупать студенческий профсоюз), ходили в самый красивый кинотеатр «Родина», где перед вечерними сеансами играл в фойе джаз-оркестр и пели артисты филармонии.

Это были дни, полные неизъяснимого блаженства, лучезарные, ничем не омрачённые дни; это была горячая, пылкая любовь, которая случается лишь один раз в жизни и даётся далеко не каждому. Даже короткое расставание печалило наши сердца; мы не задумывались о трудностях быта, о возможных ухабах на извилистых дорогах судьбы; мы были уверены, что нет в мире такой силы, которая способна разлучить нас. Как молоды и наивны были мы, как мало знали жизнь и людей и как мало разбирались в самих себе!

Я любил её карие глаза с мерцающими в них золотыми искорками, её стройное юное тело, её волнистые волосы, горячо пахнущие солнцем и почему-то полевыми травами, её чистое, свежее лицо, застенчивую улыбку, её лёгкую походку. Всё

это наполняло моё сердце ощущением счастья, полноты жизни и теперь вспоминается, как чудный, волнующий сон.

Я был уже на пятом курсе, когда мы с Таней, с согласия её родителей и моей мамы, решили пожениться и подали заявление в ЗАГС. Мы жили мыслями о предстоящей свадьбе, с нетерпением ждали того дня, когда станем мужем и женой.

Но всё рухнуло неожиданно и нелепо, и виновником катастрофы был я.

На четвёртом курсе у Тани появилась новая подруга. Звали её Нелли Осокина. Ходили слухи, что там, где она училась раньше, приключилась с нею какая-то скандальная история, и отец её, крупный партийный чиновник, спасая дочь от позора, перевел её в наш институт.

Студенты в пятидесятые годы, за редким исключением, жили не просто бедно, а очень бедно. Стипендии, которую платило государство, едва хватало на скудную еду, а о приобретении одежды и обуви и речи быть не могло. Нам, горожанам, жилось немного легче, чем детям колхозников, которые ниоткуда не получали помощи, но и на мамину учительскую зарплату вместе с моей стипендией тоже не очень-то можно было разгуляться. Отец мой погиб на войне, и, до того как мне исполнилось восемнадцать лет, мы получали крохотную пенсию, теперь же семья лишилась и этого жалкого дохода. У меня был изрядно поношенный костюм и две рубашки, другие парни жили не богаче меня. А у девушек было в лучшем случае два-три ситцевых платья, о красивых туфлях же им оставалось только мечтать.

А вот Нелли меняла наряды чуть ли не каждый день, обедать ходила не в студенческую столовую, где кормили хоть и относительно дёшево, но без-



вкусно, а в кафе на проспекте Октябрьской революции.

Именно Таня познакомила меня с ней. Знала бы она, к каким последствиям приведёт это знакомство, она десять раз подумала бы, прежде чем это сделать.

Была Нелли удивительно красива: удлиненное овальное лицо и руки были словно изваяны из розового мрамора, волнистые каштановые волосы струились вдоль спины до пояса. Но в этой красоте, как мне казалось, было нечто порочное.

Как-то мой друг Коля Назаров сказал восторженно:

– Вот это девчонка! У неё глаза, как магниты: так и притягивают!

Коля был явно неравнодушен к ней.

Она была весела и легкомысленна и не одному парню в институте успела уже вскружить голову. Я терпеть не мог игривого тона её разговора со мной и видел, что моя подруга начинает ревновать меня к ней.

Было странно, что такая скромная девушка, как Таня, подружилась с этой безрассудно смелой и развязной особой. Возможно, она чувствовала, что ей самой не хватает этой смелости, умения непринуждённо вести себя в обществе, а у Нелли этому можно было научиться. Неопытность мешала Тане разглядеть в подруге натуру беззаботную и ветреную.

Беда пришла неожиданно. Надо же было Тане уехать на выходной к заболевшей бабушке, жившей в селе Донском, а Коле Назарову пригласить меня на свой день рождения. Родители его ушли на вечер к родственникам, чтобы не мешать молодёжи, а он собрал десятка полтора парней и девушек. К моему удивлению, среди гостей оказалась и Нелли, которую привела одна из её подруг.

Пить в то время я совсем не умел. Иногда за праздничным столом мог позволить себе стаканчик сухого вина – не больше. А тут я напился до помутнения рассудка. Коля, сам уже в изрядном подпитии, то и дело уламывал меня:

– Пей, Костя! Ты мужчина или не мужчина? Что ты кочевряжишься, как девчонка-недотрога? Не хочешь пить за моё здоровье?

Гости поддерживали его. Особенно усердствовали девушки. Мне не хотелось показаться слабаком, и я пил портвейн – рюмку за рюмкой. Постепенно всё окружающее как-то потускнело, голоса стали доноситься словно издалека, я с трудом выбрался из-за стола и, шатаясь, пробормотал почти как Михалковский «заяц во хмелю»:

– Всё! Я пошёл домой!

И тут Нелли предложила:

– А давай, Ветров, – (она почему-то называла меня только по фамилии) – я тебя домой отвезу.

Я уже почти ничего не соображал, а потому легко согласился. Помню, что мы ехали в такси и я всю дорогу дремал, а потом вдруг обнаружил себя не дома, а в квартире Нелли.

– Почему ты меня сюда привезла? – возмутился я. – Мне домой надо!

– Подожди немного, – сказала она. – Сейчас выпьем кофе, ты чуток протрезвеешь, и я тебя к маме на самом быстром такси отправлю!

Помню, что она сварила кофе и мне в чашку, несмотря на мои протесты, влила большую порцию коньяка, уверяя, что кофе с коньяком – лучшее отрезвляющее средство. Я поверил ей, выпил и мгновенно уснул.

Каково же было моё удивление, когда утром я проснулся не в своей постели. Услышав какую-то возню, я с трудом повернул голову, и мне стало



не по себе: Нелли возилась у плиты в чём мать родила.

Обнаружив, что я проснулся, она повертелась передо мною и спросила:

– Ну как, нравлюсь я тебе в таком виде? Похожа на Венеру скульптора Витали?

Я застонал от стыда и отчаяния. Она и в самом деле была потрясающе хороша, как статуя античной богини, но в этот миг мне было не до её красоты.

– Скажи, Неля, у нас с тобой что-нибудь было этой ночью? – спросил я, втайне надеясь услышать отрицательный ответ.

– Было! – весело сказала она. – Ещё как было! Да ты, Ветров, в постели настоящий Геракл! Так что Тане твоей крупно повезло!

– Надеюсь, что всё это останется между нами? – спросил я. – Ты ничего не скажешь Тане? Прошу тебя, не говори!

– А если и скажу, что тут страшного? Таня – девочка взрослая и должна знать, что мужчина – существо полигамное, ему одной женщины мало. Если она тебя на самом деле любит, то поймёт и простит. Так что особенно не волнуйся. Ты плохо знаешь нас, женщин. А хочешь, пока мы оба не одеты, повторить вчерашний опыт? У тебя это прекрасно получается!

Это было уже слишком. Я поспешно оделся и выскочил из квартиры Нелли под её весёлый смех.

Я думал, что она пошутила, когда пугала меня, что всё расскажет Тане. Но Нелли, конечно же, не удержалась, чтобы не похвастаться перед нею своей новой победой, как хвасталась всеми предыдущими, которых у неё было немало. То ли от потрясения, то ли по какой другой причине Таня серьёзно заболела. Несколько раз я приходил к ним, но её

мать всегда встречала меня холодно и к ней так и не пустила.

2

Недели через две, в выходной, вышел я прогуляться по бульвару. Был тёплый весенний день. Пахло молодой травой, на зелени газонов золотыми огоньками горели цветы одуванчиков. Где-то ликующе-звонко заливалась синица и стучал по дереву дятел. Внутри куста, росшего у самого бетонного бордюра, дружно верещала стайка воробьёв. При моём приближении они с фыркающим звуком вылетели и расселись на ближайших деревьях.

На душе было тяжело, так тяжело, что ни воробьиный гвалт, ни изумрудная зелень газонов не радовали меня.

Вдруг впереди я увидел на скамейке девичью фигурку. Это была Таня. Она сидела, положив на колени руки и низко опустив голову. Услышав мои шаги, она обернулась ко мне. За то время, что мы не виделись, она похудела и побледнела.

– Таня, – сказал я, подойдя к ней, – я очень виноват перед тобою. Я проклинаю себя за то, что случилось. Но поверь, это произошло против моей воли. Меня напоили так, что я мало что соображал. Не уверен, что у нас с твоей подружкой что-то было, я просто ни на что подобное не был тогда способен.

– Не надо оправдываться, – сказала Таня. – Нелли мне больше не подруга, да и ты мне теперь никто. Что случилось, то случилось, и теперь этого не исправить. Я не могу простить тебя. Уходи!

Если бы она закричала, заплакала, я бы знал, что ещё не всё потеряно. Но глаза её были сухи и полны такой боли, что я понял: это конец, прошлой



Тани мне никогда не вернуть. Я повернулся и пошёл назад, словно побитый. Уходя, несколько раз оглянулся: она всё так же сидела, низко опустив голову, и во всей её сгорбленной фигурке было столько горя и отчаяния, что в горле у меня застрял какой-то ком и слёзы выступили на глазах.

Я шёл, с трудом различая дорогу. Две встречающиеся девушки, проходя мимо меня, засмеялись: по-видимому, их рассмешил мой потерянный вид. Я подошёл к выходу из бульвара, туда, где мраморная девочка лила из кувшина воду на голову такого же мраморного мальчика, и сел на свободную скамью, закрыв лицо руками. Не знаю, сколько времени я просидел так. Какая-то старушка интеллигентного вида участливо спросила:

– Вам плохо, молодой человек?

– Ничего, ничего, – сказал я. – Мне уже лучше.

Я встал и посмотрел туда, где сидела Таня. Её скамейка была пуста.

Вечером пришла с работы мама.

– Костик, что случилось? Ты что, заболел? На тебе лица нет! – запричитала она. Я ничего не ответил.

– Может, с Таней поссорился? – спросила она. – Если так, то ничего страшного. Как говорят, милые бранятся – только тешатся. Наберись терпения, всё равно скоро помириться.

Но я хорошо знал Таню и понимал, что она не простит меня никогда.

В июне я получил диплом, а через неделю – повестку из военкомата. Я обрадовался ей, как подарку: почему-то мне казалось, что военная служба поможет мне исцелиться от постоянной, разъедающей душу тоски.

Все мои попытки поговорить с Таней оказались безуспешными, она не хотела меня видеть.

Провожать меня в военкомат пришли мама, Коля Назаров, две однокурсницы и, что меня особенно удивило, Нелли Осокина. Отведя меня в сторону, она сказала:

– Ты прости меня за тогдашнюю мою глупую шутку. Я знаю, что легкомысленна. Мне всегда нравилось разыгрывать людей. О возможных последствиях я как-то не задумывалась. Ничего у нас с тобой в тот вечер не было. Может, и было бы, да ты сразу отключился. А Татьяну я тоже решила разыграть. Кто ж мог подумать, что она мне поверит и примет всё так близко к сердцу. Я же видела, что она ревновала тебя ко мне: чувствовала, наверное, что я к тебе неравнодушна.

Она задумалась на короткое время, потом как-то грустно сказала:

– А я уезжаю из Ставрополя, и больше мы никогда не встретимся. Перевожусь назад, в Москву. Вернулся из армии мой жених, зовёт меня. Осенью свадьбу сыграем. Пора за ум братьяся, немало уже глупостей наделала.

– Почему же ты Тане не сказала, что это была шутка?

– Ты что, Таню не знаешь? Впрочем, любовь слепа. Девчонка она хорошая, но есть у неё два недостатка: обидчивость и упрямство. Пробовала поговорить с нею, да она бежит от меня как чёрт от ладана!

Нас, призывников, посадили в автобус и отправили на железнодорожный вокзал. Когда мы отъезжали от здания военкомата, я оглянулся. Мама смотрела мне вслед, вытирая слёзы. Но меня удивил грустный взгляд Нелли, которым она провожала автобус. Неужели она и вправду была неравнодушна ко мне?



Служить мне пришлось на Тихоокеанском флоте. Нелёгкая морская служба почти не оставляла времени на размышления, но иногда мне подолгу не удавалось уснуть, несмотря на усталость: перед моим мысленным взором вставала сгорбленная фигурка Тани на весеннем бульваре, и чувство непоправимой ошибки, совершённой мною, не давало мне покоя. Два раза я написал ей, но ответа так и не получил. А потом узнал, что она вышла замуж.

Шли годы. После военной службы я не вернулся домой, а нанялся матросом на рыболовецкий траулер, а через год устроился корреспондентом в городскую газету, с которой давно уже сотрудничал.

Я продолжал писать стихи и даже издал два сборника, по которым меня приняли в Союз писателей. Критика меня хвалила, мои стихотворения часто публиковались в газетах и журналах. Казалось, всё идёт так, как мне хотелось, но в последнее время меня начала мучить ностальгия. Я стал тосковать по маме, по родному городу с его палящим солнцем и бурными ливнями, белыми струями бьющими в горячий асфальт, с уютным павильоном из дерева и стекла на бульваре, где мы с друзьями один раз в месяц праздновали получение стипендии холодным шоколадным молоком и чувствовали себя при этом пирующими богачами. Как мало нужно было нам в нашей бедной юности, чтобы чувствовать себя счастливыми людьми!

И всё чаще вспоминалась мне Таня, чувство вины перед нею не давало мне покоя. Она часто снилась мне такою, какой была в те памятные годы. Теперь Таня, конечно, изменилась, стала взрослой женщиной, но я не сомневался в том, что она по-прежнему красива.

Первую свою книжку, в которой многие стихотворения навеяны были воспоминаниями о нашей любви, я посвятил Тане. Я послал ей этот сборник, но ответа не дождался.

4

Вернувшись во время отпуска в Ставрополь, я вышел прогуляться по знакомым местам. Стояла тёплая, сухая осень. Везде жгли листья, воздух был пропитан дымной горечью. В нижней части города, в районе Ташлы, сизый дым стоял длинными слоями, над которыми кое-где виднелись крыши домов и верхушки тополей. Мне было грустно: скоро осыплются последние листья и наступит унылая пора холодных туманов, серых обнажённых деревьев, долгих дождей. А в двадцатых числах декабря кончится мой отпуск, и я улечу на Дальний Восток.

В субботу, выйдя из магазина, где купил пачку сигарет, я неожиданно встретил Таню. Меня удивило то, как мало она изменилась.

Ничто не дрогнуло в её лице, когда она увидела меня. Будто перед нею был не я, а совершенно чужой человек. А ведь я втайне надеялся увидеть в её глазах если не радость, то, по крайней мере, хотя бы какой-то интерес, как-никак в прошлом мы любили друг друга.

– Здравствуй, Таня! – сказал я. – Я уже второй день хожу по городу: всё надеюсь тебя увидеть. Прийти к тебе на квартиру не решился, побоялся опять встретить ледяной приём у твоей суровой матери. Можно портфель донести? Ого, тяжёлый! Тетради твоих сорванцов?

Она кивнула.

– Мне сказали, что ты приехал. Надолго?



– Это будет зависеть только от тебя. Если захочешь, чтобы остался, я останусь.

Она промолчала.

– Скажи, как ты живёшь? – спросил я. – Слышал, будто была замужем.

– А что мне оставалось делать? Я любила тебя, несмотря на твой поступок, но слишком тяжёлую обиду ты мне нанёс, чтобы я быстро могла простить тебя. А потом ты совсем писать перестал.

– А зачем было писать, если ты так мне и не ответила? А потом, я помнил, как ты сказала, что я для тебя – никто.

– Если эти слова и вырвались у меня в такую минуту, то это не значит, что я разлюбила тебя. А когда ты после службы не захотел домой вернуться, решила, что надо устраивать свою жизнь. Ко мне давно сватался Волохов, врач-стоматолог. Помнишь его? Вот и получилось совсем по-пушкински: «Для бедной Тани все были жребии равны», и я вышла за него. Думала: стерпится-слюбится. Не слюбилося, пришлось развестись.

– Какой же я дурак! – воскликнул я. – Обиделся на тебя, как мальчишка. Как же, ведь ты этой легкомысленной подруге своей поверила, а мне нет. Да не было у меня с нею ничего, она сама впоследствии мне призналась. Я после её кофе с коньяком в какую-то яму провалился сразу. А когда утром проснулся, она стала вертеться передо мною нагишом. Я и дал от неё дёру! А когда узнал, что ты за этого Волохова вышла, понял, что теперь мне надеяться не на что.

Мы помолчали.

– Скажи, Таня, неужели в твоём сердце ничего от прежней любви не осталось?

– Остались лишь воспоминанья, – словами из оперетты ответила она. – Ты даже представить себе

не можешь, как я счастлива была с тобой! Как мечтала, что мы будем вместе до самой смерти! Как я гордилась тобой, таким умным, добрым, честным, талантливым! И что же? Всё рухнуло из-за этой распутной Нелли, которую я подругой считала.

Немного помолчав, она спросила:

– А ты женат?

– Нет, – ответил я. – Живу холостяком. Долго пытался забыть нашу любовь. А сейчас понял, что люблю тебя, как тогда любил. Приехал с тайной надеждой добиться у тебя прощения. Может, не всё ещё потеряно?

– Боюсь, что прошлого уже не вернуть, – сказала она. – Слишком много воды утекло с тех пор, слишком многое случилось в твоей и моей жизни, чтобы можно было всё исправить.

На меня будто холодным ветром пахнуло от её слов. Всё-таки какая-то, пусть слабая надежда на примирение у меня была.

Мы подошли к её подъезду. Она попрощалась и ушла. Мне стало очень грустно: я ведь так надеялся на примирение.

5

Погода в Ставрополе отличается непостоянством. В одну из ночей выпал глубокий снег, всё вокруг побелело, стало празднично-торжественным, и казалось, что зима наконец утвердилась надолго. Но потом снова потеплело и пошёл дождь. Снег превратился в серую жижу, и я три дня просидел дома, работая над повестью из жизни рыбаков.

В окна злобными порывами бил ветер, капли дождя стучали по стёклам. На стене лежали тусклые прямоугольники света от уличных фонарей, перечёркнутые качающимися тенями ветвей, а по



верхней части стен и потолку скользили серые полосы от фар автомобилей.

Поздно ночью, когда город засыпал, я, отложив рукопись, вставал из-за стола. Неодолимо тянул меня к себе свет в одиноком окне на противоположной стороне улицы. Это было Танино окно. Она засиживалась допоздна, как и моя мама, над учебными тетрадями и подготовкой к завтрашним урокам.

И давно позабытая нежность тёплой волной омывала моё сердце.

А потом однажды утром я проснулся и поразился тому, что затих беспрестанный плеск дождя, а через всю комнату протянулись жаркие полосы солнечного света. Быстро растаяли остатки снега, высох асфальт, и опять радостно загалдели воробьи, барахтаясь в сохранившихся кое-где лужах. В бездонной синеве неба не было ни одного облачка, солнце горячо отсвечивало в промытых дождём окнах домов.

Я собирался в дорогу. Так грустно было покидать родной город, расставаться с мамой и с надеждой помириться, наконец, с Таней. Помня наш последний разговор, я больше не искал встреч с нею, но почти каждое утро видел её из окна, когда она шла на работу.

И всё-таки накануне отъезда я подстерёг её утром возле двухэтажки.

– Можно, я провожу тебя до школы? – спросил я.

Она кивнула. Некоторое время мы шли молча.

– Таня, – наконец решился я. – Завтра улетаю в Москву, а оттуда – во Владивосток. Надо доделать кое-какие дела. Кроме того, летом выйдет из печати моя новая книга. А потом, к Новому году, уже окончательно вернусь в Ставрополь. Я прошу тебя: подумай, может, мы сумеем забыть всё то, что раз-

лучило нас, и опять будем вместе. Я не верю, что ты окончательно меня разлюбила. В тебе просто говорит прошлая обида. Не торопись с ответом, я подожду. Я, конечно, не ангел, были в моей жизни ошибки, за которые приходилось горько расплачиваться. Но эта расплата за то, чего я не сделал, особенно тяжела, она испортила жизнь нам обоим. А я уже не тот наивный мальчик, каким был в студенческие годы, так стоит ли нам беречь в душе прежние обиды?

– Да и я тоже хороша. Даже на книгу твою не откликнулась, слишком обидчива была.

Она замолчала.

– На всякий случай вот тебе моя визитная карточка, – сказал я. – Вдруг захочешь написать или позвонить мне.

Она взяла карточку, и что-то знакомое, давнее промелькнуло в её глазах.

– Ладно, – сказала она и положила визитку в карман пальто.

Я попрощался, и Таня, к моему удивлению, подала мне руку.

Она пошла к зданию школы, а я стоял и смотрел ей вслед. Её серое демисезонное пальто было перетянуто поясом, и я удивился тому, что она сумела через годы сохранить тонкую девичью талию и прежнюю лёгкую походку. Мне так хотелось, чтобы она хоть раз оглянулась, но она, не оборачиваясь, прошла мимо играющих во дворе детей и скрылась за дверью школы.

На следующий день я улетел в Москву с робкой надеждой в душе, что, может, отгадет её сердце. Мы с нею достаточно молоды и ещё можем вернуть утраченное счастье. Немало обид и разочарований было в моей жизни, так не пора ли судьбе смягчиться и улыбнуться мне наконец? Ведь не должен же



человек за один неосторожный шаг, сделанный в юности, расплачиваться потом всю жизнь. Всякое случается с нами на нашем жизненном пути, даже ненависть порой перерастает в любовь. Не могла же Таня навеки вычеркнуть из сердца всё, что было между нами в те счастливые дни.

Наша вчерашняя встреча не прошла для меня бесследно. Её слова: «да и я тоже хороша» и «слишком обидчива была» сказаны были не даром, она наверняка жалеет о нашем разрыве и подаёт мне надежду на то, что примирение возможно. Теперь я буду часто писать ей, и верю, что она не оставит мои письма без ответа.

От этих мыслей на душе стало легче. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Новое имя

Виталька

Украшенная блестящими игрушками и разноцветной мишурой, увенчанная огромной светящейся звездой, лесная принцесса стояла во всей своей красе, приковывая к себе восхищенные взгляды не только детей, но и спящих вокруг взрослых. Еще мгновение, и кто-то включил электрическую гирлянду, осветив елку ослепительными веселыми огоньками.

Открыв рот, Виталька с интересом рассматривал маленький резной деревянный домик, который стоял рядом с елкой в большом зале их детского сада. В этом домике и должен поселиться Дед Мороз. Через два дня на Землю спустится Новый год, а к ним в сад он придет уже сегодня – так сказала их директор Маргарита Филипповна, которую все дети любовно называли мамой Марго.

В обычные дни она была строга к ним, не позволяла баловаться. Но иногда старенькая мама Марго, много лет проработавшая обычной воспитательницей, приходила в детский сад очень грустная и, обняв кого-то



**ВАЛЕРИЙ
БРОДОВСКИЙ**

Проза





из детей, начинала плакать. Поплачет немного и отпустит малыша. Баба Катя, повариха, говорила: «Это оттого, ребятки, что у нее никогда не было своих собственных деток». А дядя Семен, кочегар и по совместительству завхоз, в таких случаях утверждал, что это у нее от старости сентиментальность появилась. Что такое сентиментальность, Виталька не знал, он даже выговорить такое трудное слово пока не мог, но Маргариту Филипповну любил, как и все остальные дети.

Сегодня мама Марго была особенно улыбчива и добра, и баба Катя, которая проработала с ней всю жизнь, сказала, что ее лицо светится счастьем. Как ни вглядывался Виталька в лицо старой женщины, но это самое счастье так и не разглядел – одни только глубокие морщины.

– Ну что, мой мальчик, ты рад приходу Нового года? – взъерошив волосы на его голове, спросила директриса.

– Очень рад, Маргарита Филипповна! Только я не заметил, как он пришел.

С некоторых пор Виталька считал себя уже взрослым – как-никак осенью идти в школу, поэтому единственным из всех детей называл ее по имени-отчеству, подражая старшим. Ну не мог он назвать чужую тетю мамой. «У меня своя есть», – говорил себе.

– Еще не пришел, мой хороший, – сказала пожилая женщина. – Но к обеду обязательно придет. Видишь, мы накрываем столы для Деда Мороза и Снегурочки? Они и приведут с собой Новый год. А знаешь, как он выглядит?

В прошлый раз Новым годом был Славка из соседнего двора – хвостун и забияка. Виталька не хотел видеть его снова, поэтому спросил с надеждой:

– Как? Может, он будет похож на фею?

Маргарита Филипповна рассмеялась:

– Он будет похож на вас, ребятки! Такой же маленький мальчик.

– А Дед Мороз такой прожорливый, что все это съест? – спросила, вытирая перепачканное шоколадом лицо, Лизка из параллельной группы. – Нам что, совсем ничего не оставит?

– Оставит, оставит! – рассмеялась мама Марго, погладив девочку по голове. – Вся эта еда для вас и ваших родителей. Сегодня самый лучший день в году, и все это нужно будет съесть и выпить. Сможете? А потом, ребята, у вас начнутся новогодние каникулы.

– Еще как сможем! Чур, я первая откушу торт! – закричала Лизка и побежала дальше. Каникулы Виталька любил. Он соскучился по своим родным, поэтому мечтал вдоволь пообщаться с ними. Хотелось каждый день видеть маму, с утра и до вечера играть с младшим братиком.

Многие родители стали подходить загодя: кто – помочь воспитателям и нянечкам накрыть столы, а кто – просто посидеть, посудачить о том о сем. В их деревне все друг друга хорошо знали. Взрослым было о чем поговорить.

– А что, Виталька, твой папаша придет или опять бухает? – проходя мимо тяжелой поступью медведя, спросил грузный дядя Жора, сосед, и не то хихикнул, не то хрюкнул. Его жена, маленькая тощая тетя Света, окинув мужа осуждающим взглядом, мило улыбнулась Витальке и погладила его вихры.

– Не слушай его! Дядя Жора иногда любит говорить глупости.

– Э-эх, и не стыдно тебе, дубина стоеросовая? – пристыдила мужчину дородная баба Катя, выкатившаяся с подносом из кухни. – Сам-то когда в последний раз бухал?

– Не, я в завязке, – ответил дядя Жора, виновато оглядываясь на супругу. – Светик, я же пошутил!



– Ага, в завязке! Три дня как не пьет! – помогая поварихе расставить на столе салаты, сказала тетя Света. – Ходит героем, всех выпивох осуждает. Посмотрим, насколько у самого силенок хватит. Душонка-то у наших алкашей жиденькая – вся из водки да пива.

– Да знаю я их породу, – суетилась расторопная баба Катя. – Своего похоронила из-за этой гадости. Ты же помнишь, Жорка, моего Степана Иваныча? Какой силищи мужик был! Не то, что нынешнее племя, а и тот помер. Эта змеюка проклятая никого не щадит.

– Во-во! – тетя Света запустила в мужа выловленным из салата горошком. – Он, баб Кать, сам уж на змея стал похож. Весь черный да кусачий – чисто гремучка. Как напьется, все кусь да кусь, кусь да кусь. Подкусывает, зараза!

– Да ладно тебе! Сама змея подколодная! – огрызнулся дядя Жора на супругу и переключился на разговор с другими отцами.

К назначенному времени почти все взрослые собрались. Виталька с детской завистью смотрел, как дети, окруженные своими родителями, весело щебечут в ожидании главного новогоднего чуда – подарков.

Молодая помощница поварихи, широколицая и вечно улыбающаяся Настя, увидев загрустившего Витальку, взяла его за плечики и легонько подтолкнула вперед себя:

– Так, малой, ты кого это высматриваешь? Никак родителей своих? Да придут они, придут – куда денутся? А пока помоги мне накрыть столы, а я тебе дам за это большую-пребольшую плитку шоколада. Только ты никому не говори, ладно? Это будет наша с тобой тайна.

Рыжая Настя была большая, добрая и смешная. Она никогда не унывала и потому нравилась Витальке.

– Не надо мне шоколада, – засеменял он впереди нее. – Я тебе и так помогу.

– Ишь, какой бескорыстный нашелся! – воскликнула Настя. – Ты и так вечно без десерта остаешься. У тебя его Сережка-толстяк забирает. Боишься его, что ли? – девушка на секунду присела перед ним. – Слушай, дал бы ты ему разок по башке! Нашел кого бояться!

– Ну, ты смотри, научишь мальчика! – шлепнула девушку по спине вездесущая баба Катя. – Куда ему супротив такого кабана? Вон у Сережки мордаха, как мячик.

– Тю, кабан! Видали мы таких. – Достав из тайника большую плитку, Настя вложила ее в руку ребенка. – На, пацан, лопай! Или спрячь в своем шкафчике, а когда мама придет, отдашь ей. Это тебе от меня к празднику. Поделишься с братиком.

– Не, ему нельзя, – протянул руку Виталька, не в силах отказаться от угощения в красивой обертке. – Ему врачи запретили. Ты же знаешь, какое с ним горе, – совсем по-взрослому произнес он и спрятал конфету в глубокий карман ватных штанов.

– Ох, знаю, Виталька, – поцеловав его в лоб, ответила Настя. – Кто у нас в деревне не знает? Это горе – так горе! А мать твою как жалко, несчастную! Вот уж кому досталось. Да и папку твоего, непутевого, тоже жалко. Небось с горя-то и запил. А какой мужик был!

– Его, горемычного, тоже понять можно, – донесся из-за дымящихся кастрюль голос поварахи. – Какой мужик выдержит круглые сутки видеть, как страдает его дитя? Это только мы, женщины, все стерпим. А мужики... Они слабые на такое. Вот и запил, бедолага, чтобы боль свою унять. Да только



разве ж водка кого когда спасала? Вон и моего не уберегла, а какой мужик был, какой мужик был!

– И то верно, – согласилась с ней Настя, потирая спину. – Ох, и тяжелая у тебя рука, баб Кать! Чисто мужицкая.

– А ты, девка, поработай с мое за этими кастрюлями, такая же станешь.

Деревенька, в которой жил Виталька, была крохотной, и все знали о его младшем братике, который неожиданно заболел больше года назад. Врачи поставили диагноз – менингоэнцефалит. Взрослые поговаривали, что это страшная болезнь и все может плохо закончиться. Весь последний год Виталька редко видел маму – она с его братиком все время проводила в больницах. Отец, который и раньше-то много трудился, теперь, чтобы заработать больше денег на дорогие лекарства, возвращался домой затемно. Но лекарства не помогали – братик не выздоравливал. Вскоре малыш перестал говорить и что-либо понимать. Соседи судачили – у мальчонки, мол, сгорел мозг. Виталька представлял в голове брата большой огонь, в пламени которого плавился какой-то мозг, и ему становилось страшно. Он ведь даже свечи коснуться боялся – сразу становилось горячо руке. Осунувшаяся от горя мать, когда на короткое время выписывалась из больницы, часто плакала, глядя, как исхудал и пообносился Виталька.

В последнее время отец все чаще и чаще приходил с работы пьяным. Поначалу он тихо ложился спать, а утром так же тихо снова уходил. Но постепенно его характер изменился. Он стал пить почти каждый день, а когда возвращался домой, устраивал скандал. Однажды Виталька попал под его горячую руку и с тех пор, издали завидев пьяного отца, старался укрыться от его глаз. Закончив скандалить с мамой, отец выходил во двор, садился на крылечко с дымя-

щейся сигаретой в руке и начинал петь страшно заунывную песню о черном вороне, который летает над ним и хочет забрать. Маленькое сердечко Виталика сжималось от страха и боли. Только когда сморенный усталостью и водкой отец заваливался спать, он покидал свою норку и укладывался с матерью.

Иногда к ним заходили пожилые соседи или просто знакомые и принимались стыдить отца, упрашивали не мучить себя и семью. «Хороший ты человек, – говорил кто-нибудь. – Душа-парень, но слабый! Убьет тебя рано или поздно змий проклятый!» В такие минуты отец всегда сожалел о своей слабости, клялся, что это в последний раз, но на завтра все повторялось. Виталька страшно боялся пьяного отца, но еще больше он боялся этого самого змея, который мог убить его любимого папку...

Праздник начался к обеду, когда к ним в сад наконец прибыл Дед Мороз. Все без труда узнали в нем Маргариту Филипповну. Снегурочкой, как и в прошлом году, была Настя, а Новым годом – Василек Кочетков, первоклассник, которого для этого специально отпустили из школы. Чудесный праздник начался у елки, а потом взрослые и дети уселись за столы, и веселье продолжилось. Виталькины родители так и не появились. Сидевший рядом с ним толстый Сережка, сын дяди Жоры, наевшись любимого салата «Оливье», вдруг двинул его локтем под ребро.

– Ты чего? – спросил Виталька, потирая бок.

Поглаживая свой кулак, Сережка красноречиво поглядел на своих дружков Толика и Генку, сидевших справа от него.

– Ты что-то хочешь сказать? – перевел он снова взгляд на Витальку. – Или мне показалось?

– Я – нет! А ты чего дерешься? – забеспокоился Виталька. Сережка слыл самым сильным в их садике.



– Как? Тебе нечего сказать? – Сережка украдкой посмотрел в сторону большого стола, где сидели родители. Увлечшись выпивкой и закусками, взрослые не обращали на них никакого внимания. – Как говорит мой папачос: «Если настоящий мужик не трус, ему всегда есть что сказать!»

Он любил копировать поведение отца, считая его самым крутым у них в деревне. Виталька не на шутку испугался гоношистого соседа, рядом с которым всегда были его друзья – такие же задиристые и драчливые пацаны.

– Ну и че, твой папик не пришел? – продолжал приставать Сережка. – Снова бухает? Смотри, пацан, посадят твоего папашу за пьянство, и будешь ты сыном зека, – захихикал толстяк, а вслед за ним и вся его свита. – Так мой папачос говорит. А ты знаешь, кто такие зеки?

Виталька не знал, кто это, но понял, что его отца ждет что-то плохое.

– Ты сам сейчас станешь зеком, – процедил он сквозь зубы, сжимая в ярости свои кулачки. Уж чего-чего, а оскорбления в адрес отца он стерпеть не мог.

– А ты че, побить меня хочешь? – провоцируя, Сережка еще несколько раз ткнул его в бок. – Ну давай, покажи, как дерется сын зека!

– Ах ты, гад! – вскочил Виталька и неожиданно для себя принялся мутузить опешившего соседа. – Гад! Гад! Сам ты зек! И папачос твой – зек недобитый! Два жирняка! На! На...

Он не был сильным и смелым, и лишь страх заставил наносить удар за ударом. И один оказался удачным – Виталька заехал своим кулачком Сережке прямо по глазу. Издав истошный вопль, тот вскочил из-за стола и убежал. Оба его дружка стремглав кинулись за ним. Виталька еще не знал, что с этой минуты для всех остальных детей он стал

новым авторитетом. Поймав на себе возмущенный взгляд мамы Марго, он захныкал:

– Сережка сам полез...

Увидев покрасневший глаз своего сына, дядя Жора вскочил на ноги:

– Ах ты, щеня! Да я те щас уши пообрываю! – заорал мужик, надвигаясь своим огромным телом на ребенка.

Невесть откуда появившаяся баба Катя схватила Виталика в охапку и угрожающе подняла увесистый кулак:

– Но-но, горлопан! Я те дам! Уши он пообрывает, бугай! Забыл, как я те самому еще недавно их вытягивала?

– А че он...

Сережкин отец хотел еще что-то сказать, но повариха решительно заслонила от него мальчишку.

– Вертайся назад, гроза малолеток! А то скажу сейчас мужикам – вмиг выкинут отседа.

Растерявшаяся поначалу Маргарита Филипповна, все еще стоявшая в тулупе Деда Мороза, но без шапки и ватной бороды, покачала головой:

– Э-э! И не стыдно тебе, Георгий?

Оконфуженный дядя Жора вернулся на место.

– Ладно, чего там. Одним словом, пацаны! Сами потом разберутся промеж собой. Сегодня дерутся, а завтра помируются. Не впервой!

Наступившую паузу разрядила вся измазавшаяся пирожным Лизка:

– Ух! Вот я наелась, аж опузела! – громко икнула девчонка.

Подоспевшая Настя перехватила хнычущего Витальку из рук поварихи и потащила его в кухню.

– А ты, пацанчик, молодец! – защебетала девушка, щекоча его щеку длинной искусственной косой. – Я все видела! Здорово ты врзал этому тол-



стяку. Давно надо было. Брату своему, Егорке, расскажу. Ты ему нравишься. Он за тебя этого Сережку на куски порвет.

Виталька представил, как Настин брат, хулиганистый шестнадцатилетний Егорка, рвет на куски несчастного Сережку, и схватил девушку за руку:

– Настёнка, не говори брату! Я больше не боюсь этого жирняка. Сам вружу, если что. Не говори Егору!

– Ладно, не скажу. Слушай, а здорово ты ему фингал под глаз поставил! Теперь неделю будет улицу освещать своим фонарем.

Виталька был несказанно доволен собой. Еще бы! Его героизм оценила сама Настюха – первая красавица на их улице.

– Да я ему давно хотел залепить! – гордо выпалил он.

– Ну что, не смогли твои-то прийти, горемычный ты мой?! – чмокая в соленую от слез щечку, сказала Настя и отправила в его карман очередную плитку шоколада. – На, это мамке отвези в больницу! Пусть сама съест, а то совсем отошала от горя. Ой, горе-то какое, горе! – запричитала девушка, утирая косой выступившие на глаза слезы.

– Какое горе, Настюха? – насторожился Виталька. – Снова с братиком что?

– С чего ты взял? – девушка отвела взгляд в сторону.

– Ты сама сказала, чтобы я шоколадку маме в больницу отвез. Что с братиком?

Девушка не стала лгать:

– Да увезли их с мамкой твоей на «скорой», малец. Тетка Валька, соседка твоя, приходила. Сказала: худо ему снова.

– Так мама только недавно вернулась! – захныкал Виталька, догадываясь, что и этот Новый год он не будет встречать с матерью.

– Что ж ты, дуреха, до вечера не дотерпела? – напустилась на девушку появившаяся в дверях баба Катя. – Не дала мальцу по праздничать!

Девушка, всхлипывая, уткнулась лицом в ладони.

Позабыв о веселье, царившем у елки, Виталька выбежал на улицу. Большой двухэтажный дом барачного типа на восемь семей, в котором он жил вместе со своими родителями, стоял в нескольких сотнях метров от детского сада, и ему разрешали ходить самостоятельно, без сопровождения взрослых. Подбегая к дому, он замедлил шаг, опасаясь снова увидеть большую белую машину с красным крестом. Виталька боялся «скорую помощь», которая так часто приезжала к ним.

– А ты чего не на празднике? – заметила его в окно соседка тетя Валя. – Уже закончился?

– Да ну его! Мама дома? – осторожно спросил он, в душе надеясь, что Настя что-то перепутала.

Тетя Валя вышла к нему в общий коридор.

– Ну, иди, посиди со мной! У меня печка горит, тепло! Я тебя сейчас печеньем угощу!

– Нет, спасибо, я к себе. – Виталька полез в карман за ключом, понимая, что девушка не ошиблась. На глаза предательски наворачивались слезы, но он считал себя взрослым, и никто не должен был их видеть. – Значит, мамы нет дома?

– Поехали они... в больницу. И папа твой с ними. Просил приглядеть за тобой. Он скоро вернется. – Соседка взяла его за руку. – Пойдем ко мне! У вас не натоплено. Их ведь с утра увезли. А у меня Ташкент! Жарко! Хорошо! – она протянула ему початую пачку печенья. – Ты ешь! Я сейчас чаю с вареньем приготовлю. Посидим, почаевичаем. Глядишь, и мне весело станет.

Тетя Валя жила одна. Единственная ее дочь давным-давно уехала в другие края и не давала о



себе знать. Машинально отломив от печенья кусочек, Виталька положил его в рот, но горький от слез комочек застрял в горле. Нашупав в кармане шоколадку, он сжал ее и... заплакал, не в силах более сдерживаться...

Отец вернулся поздно вечером продрогший, с промокшими ногами – прошел пешком от трассы до дома несколько километров. Не говоря ни слова, он забрал Витальку от соседки, быстро растопил печь и принялся жарить картошку. Все это время отец молчал, но по его осунувшемуся лицу вошедшая к ним тетя Валя все поняла:

– Совсем плох?

Отец кивнул, затем посадил Витальку к себе на колени, поставил перед ним сковородку, положил вилку и кусочек черствого хлеба:

– Ешь, сынок. Ничего другого я купить не успел. Виталька достал из кармана две плитки шоколада и положил перед ним:

– И ты, папа, ешь. Это я вам оставил. Одну тебе, а другую маме с братиком. Это от Деда Мороза. Я уже много съел.

Он не заметил, как отец отвернулся, украдкой смахнув выкатившиеся из глаз на ресницы капли влаги.

– Ешь сам, сынок. Нам с тобой придется пожить некоторое время без мамы и твоего брата.

– Я знаю, – сказал Виталька, беря в руку вилку.

Он был взрослым и все понимал. Сидя на коленях дорогого ему человека, вдыхая запах его старенького свитера, насквозь пропахшего печным дымом, он мог поклясться, что ничего вкуснее этой картошки, приготовленной отцом, и кусочка вчерашнего хлеба он в жизни не ел.

– Вот я дура старая! – запричитала соседка, вытирая носовым платком мокрые глаза. – Совсем забыла! У меня же суп есть!

Она вернулась в свою квартиру и долго не возвращалась, лишь только всхлипывания доносились из-за стены.

Совсем скоро их маленькая комнатка стала заполняться людьми. Первыми пришли дядя Жора с тетей Светой вместе со своим Сережкой, у которого под глазом красовался огромный синяк. Поначалу Виталька испугался, подумав, что сейчас его снова начнут ругать.

Но Сережка добродушно обнял его за шею и протянул огромный пакет с подарками:

– На, держи! Это тебе от Деда Мороза!

– А это от нашей семьи, – сказала своим мягким голосом тетя Света, положив перед ним заводного медвежонка, державшего в лапах бочонок с медом. – Если ты его заведешь, он спляшет.

Дядя Жора деловито прошел на кухню, достал из шкафа два граненых стакана, налил в них немного водки из принесенной с собой бутылки и сказал, ни к кому не обращаясь:

– За мальчика! Дай ему Бог здоровья, и нам немного!

Быстро опорожнив стакан, он смешно крикнул и снова налил, опасаясь, что его остановят.

Отец Витальки, выпив свой, перевернул его доньшком вверх.

– Мне хватит. Завтра рано утром поеду в больницу.

– Это верно, тебе нельзя! – заметил дядя Жора и снова опустошил свой стакан. – А я ради такого дела развязал.

Тетя Света укоризненно взглянула на него:

– Хватит, Георгий! Ты обещал. Тоже мне: узелок связал, узелок развязал.

– Ну ты чего, мать? – улыбнулся ей супруг. – Я ж совсем капелюшечку! Сама понимать должна: Бога



всухую просить как-то совестно. – Мужчина в третий раз налил себе полстакана, выпил залпом, закусил конфетой из детсадовского подарка и решительно закупорил бутылку.

– Все! Это тебе, сосед, для сугрева... э... это, как его?! Я хотел сказать – для растирки, при простуде! – подмигнул он Виталькиному отцу. – А ты, малец, тоже проси Бога, чтобы даровал, значит, твоему братишке здоровье. Проси! Бог... Он детей любит и помогает.

Виталька не знал, кто такой Бог. Придавленный тяжелой рукой товарища, все еще сидевшего с ним в обнимку, он тихо спросил:

– Серый, а кто такой Бог?

– Ну ты чего, не знаешь? – Сережка с кривой ухмылкой на лице наморщил лоб и задумался. – А я сам не знаю, – честно признался он. – Среди наших соседей, кажись, таких нет.

– Бог, дети, – это очень хороший старик, – ответила тетя Света, услышавшая их разговор. – Он отец всех людей на земле. Когда станете постарше, узнаете о нем побольше. Вы его полюбите! Он очень добрый и может исполнить любое желание. Его только надо очень сильно попросить...

Потом к ним зашли еще соседи, и каждый приносил с собой чего-нибудь поесть. Взрослые интересовались у отца здоровьем сына, жалели. Посидев немного, гости разошлись.

Наутро Виталька упросил отца взять его с собой. Они долго ехали в промерзшем автобусе в большой город, а потом еще через весь город в больницу, куда вчера увезли его родных. Из окна Виталька рассматривал улицы, украшенные к Новому году огромными разноцветными гирляндами. Он радовался огням и наряженным елкам, представляя, как весело будет вечером кружить возле них детвора.

Братика они так и не увидели. Вышедшая к ним заплаканная мама сказала, что врачи запрещают родственникам находиться в реанимации. Виталик представил, как какие-то большие дядьки с суровыми лицами, в длинных белых халатах, стоят у двери в эту самую реанимацию, где лежат больные дети, и никого не пускают. Ему захотелось обратно.

На следующий день к вечеру маму с братиком привезли домой. Виталька слышал, как отец говорил соседям, что их выписали умирать. Маленький, исхудавший, отчего-то весь потемневший брат лежал с закрытыми глазами, вытянувшись вдоль детской кровати. Увидев его, перепуганный Виталька подбежал к отцу, который с отрешенным взглядом сидел у печки, и ухватился за его ногу. Через несколько часов на землю должен был прийти Новый год, но Виталька его больше не ждал. Он был взрослый и вместе с остальными ждал прихода СМЕРТИ в их дом. Он верил, что единственный, кто сможет защитить их от нее, – это отец, потому что он большой и сильный.

К ним снова стали заглядывать соседи. Пришла Настя со своим братом. Они принесли большую сосновую ветку, украшенную игрушками, и повесили над Виталькиной кроватью.

– Держи, пацан! – сказал Егорка, потрепав его за плечо. – Эти игрушки тебе. А на днях я санисамокаты пригоню. Свои! Навсегда! Владей.

Виталька обрадовался. Егоркины сани из гнутаго дерева были самыми большими и красивыми в их деревне.

Снова пришла тетя Света с Сережкой и принесла борщ, но никто его есть не стал. Мама больше не плакала. Сжав губы, она безотрывно сидела возле брата.

К ночи маленькая квартирка набилась людьми. Соседи не знали, чем могли помочь, но каждый хотел поддержать их семью.



– Ох, беда... – то и дело вздыхали в коридоре. – Видать, эта ночь последняя... Чем так дитю мучиться, скорей бы уж Господь прибрал его к себе! – донесся до него знакомый голос бабы Кати. – А коли выживет да рассудком тронется? – вторила ей другая женщина. – За что такое наказание?! Уж хай Господь не мучит дитятю...

Понимая, что эти слова больно ранят Виталика, Настя прижала его голову к себе:

– Не слушай их! – девушка сама время от времени всхлипывала. – Будешь у нас сегодня ночевать. С Егоркой ляжете.

Но Виталька отказался. Этот Новый год он наконец будет встречать со своей семьей. Ближе к полуночи соседи стали расходиться. Через несколько минут начнется праздник, и каждый хотел встретить его в своем доме. Виталька смотрел на маленькую елочку, которую родители успели на днях нарядить. Она была не такая большая, как в садике, но тоже красивая. Вдруг он вспомнил разговоры о Боге, который был всемогущ и мог исполнить все его желания. Он, конечно, верил, что в их семье всемогущим был папа, который всегда сумеет спасти их, но сейчас отец сам нуждался в помощи. Так взрослые говорили. Крепко зажмурившись, Виталька стал про себя просить: «Боженька, сделай так, чтобы мой братик не умер! Если хочешь, возьми эту елочку себе и медвежонка тоже заberi. А еще хочу, чтобы папа больше никогда-никогда не пил водку, иначе его проклятый змей заберет к себе, а мы с мамой этого не хотим. Прошу тебя...»

Незаметно он задремал. Разбудили его ружейные выстрелы на улице. Так у них в деревне отмечали приход Нового года. Отец, по-прежнему не шевелясь, безучастно смотрел в пол. Внезапно их входная дверь приоткрылась, и на пороге показа-

лась старушка. Маленькая, сгорбленная, одетая в старую мутоновую шубку, повязанную поверх крест-накрест коричневым шерстяным платком, она низко поклонилась им и, ни слова не говоря, прошла в комнатку, где у детской кровати сидя дремала мама. Увидев незнакомую женщину в странном наряде, Виталька испуганно прижался к отцу. Он был уверен, что пришла сама Смерть, которую они ждали.

– Здравствуй, доченька! Все маешься? – обратилась старушка к очнувшейся от дремы матери. – Не мучайся, дитя. Все в этом мире по велению Отца нашего Небесного – Господа Бога! Помолись за душу сынишки, а я тебе подмогну. Вместе и попросим Боженьку. Прими, Господь, душу раба твоего... – начала креститься странная старушка.

Внезапно отец Виталика вскочил на ноги и вбежал в комнату.

– Ты что это, мать, удумала? – набросился он на незваную гостью. – Чего хоронишь раньше времени? Жив еще сынок наш!

– Отпустите душу его, детки мои! – женщина вдруг стала бить поклоны во все четыре стороны, чем сильно напугала и без того перепуганного Витальку. – Не держите! Любовь ваша держит душу-то малыша. Сами измучились и дитя измучили. Не жилец он боле на свете, не жилец!

– Откуда вам знать? – отец стал теснить ее к выходу. – Вы кто, врач? Зачем пришли?

Виталька, став за спиной матери, боялся пошевелиться. Он видел, как у отца по щекам беззвучно катились слезы. Но странная старушка не собиралась покидать их комнату. Мягко отстранив мужчину, она снова подошла к кровати. Прищурившись, женщина долго и внимательно разглядывала ребенка:

– Верно говорю вам, деточки мои: не жилец он! Молитесь Богу!



Затем, повернувшись, медленно двинулась обратно. Перед самым выходом старушка достала из кармана маленький пузырек и поставила на столик.

– Возьми, дочка, это снадобье! Если дашь дитю чайную ложку – он выживет, но человеком никогда не будет. Цветочек вырастишь! Всю жизнь будете маяться с ним. Только тебе самой решать – давать зелье или отпустить его душу к Отцу нашему Небесному.

Стоя на пороге, странная старушка еще раз обернулась:

– Только вам решать, – повторила она. – Храни вас Бог! Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Ни до, ни после никто в деревне не видел ее.

Не теряя времени, мать схватила пузырек и выжидающе уставилась на отца:

– Чем мы рискуем? Врачи сказали – до утра ребенок не доживет!

Терзаемый сомнениями, не говоря ни слова, отец выбежал из дома. Виталька еще никогда не видел, чтобы у него так тряслись плечи...

Утро нового года ворвалось к ним в комнату волшебным зайчиком. Это проезжающая машина отразила стеклом яркий солнечный луч. Виталька, разбуженный ревом двигателя, открыл глаза и посмотрел в окно. Он, наверное, долго спал, так как со двора уже всю доносились озорные голоса его друзей, катавшихся с горки на санях.

Осторожно повернув голову, Виталька увидел мать, которая смотрела на него своим прежним лучезарным взглядом, каким уже давно ни на кого не глядела. Ее теплые любящие руки потянулись к нему.

– С Новым годом тебя, сынок! – произнесла она простые и такие долгожданные слова. – А братику твоему стало лучше! Можешь подойти к нему.

Виталька радостно прижался к ней. Он всегда верил, что если эту ночь они проведут все вместе, то и у него дома появится счастье. Отвернувшись к

стене, чтобы не услышала мать, мальчик прошептал: «Боженька, спасибо тебе за братика!»

Теперь он верил, что Бог поможет отцу исполнить другую его заветную мечту...

Ридикуль

Ты в некотором возбуждении идешь по узкому коридору спального вагона. Надо же, успел на поезд, а ведь из-за бесконечных дел мог опоздать. И даже билет купить удалось – почти невероятное везение в это время года! Правда, только в СВ. Ни в плацкартных, ни в купейных вагонах свободных мест не оказалось. Немного жаль, конечно. Ты со студенческих лет любишь ездить поездом, и особенно в плацкарте. Здесь так легко завести друзей (особенно после первой вместе выпитой бутылки). В поезде случаются самые необыкновенные встречи, где можно раскрыть душу первому встречному. Пройдет совсем немного времени, и с человеком, с которым еще вчера не был знаком, сегодня уже обмениваешься адресами и телефонами. Ты почти уверен: такому НЕОБЫКНОВЕННОМУ, ЧЕСТНОМУ и ПРОСТОМУ человеку, случись что, ты всегда придешь на помощь, последнее отдашь. Почему? Да потому, что ты все знаешь про него, ведь он открыл свою душу тебе, а ты ему. Вот так вот!

Да, как хороши поездки в дружной веселой компании! Перезнакомившись, все начинают доставать свои съестные припасы. Накрывается большой стол, который на каждой станции пополняется, в основном, горячительными напитками. Все становятся страшно разговорчивыми, необычайно умными и интересными собеседниками. Неожиданно замечаешь, что и ты не так прост, каким казался



себе раньше, еще вчера, еще каких-нибудь три часа назад. И ничего, что ты немного привираешь, рассказывая о своих победах в жизни, особенно на любовном фронте. Немного выдумки придает любому рассказу колорит. Сидящий справа «дембель» тоже ведь слегка приукрасил историю, как он соблазнил красавицу – дочь генерала. Совсем чуть-чуть. Но это делает его рассказ интереснее. А сидящий напротив бородач с круглым животом, который выдает себя за бывалого таежника? Хоть и во хмелю, но ты еще понимаешь, что у себя, в сибирском городке, он сидит годами в какой-нибудь скучной конторе, и все его походы в тайгу заканчиваются, в лучшем случае, редкой рыбалкой в ближайшей к городу речке. Впрочем, ты охотно слушаешь его байку о самом большом в мире грибе, который нашел именно он; о подстреленной в глаз белке – какой же он меткий! И ведь веришь! Все верят, потому что хочется верить. Потому, что всем в этот час хорошо.

А если в соседнем купе едут молоденькие практикантки... О! Какое это счастье, когда в соседнем купе едут девушки! Они, конечно, все красавицы и все свободны. Иначе и быть не может, потому что рядом едете вы – тоже самые свободные, и вообще самые-самые. Они охотно присоединяются к вашей чудесной компании и сразу же становятся лучшими в мире слушателями, потому что им уже тоже хорошо. Через время ты замечаешь, что самая красивая из них на тебя поглядывает чаще, чем на других. Нет, другие парни, конечно, тоже славные, но ты чуточку лучше, чуточку красивее, а может обаятельнее, поэтому она положила глаз именно на тебя. Тебе это приятно! Очень! Ты растешь в своих глазах и стараешься еще больше понравиться. Ты вдруг замечаешь, что рассказы о твоей необыкновенной жизни или, по крайней мере, эпизоды из нее очень

интересны этой самой Вере, или Тане, или Люде. Она просто очарована тобой. Ты ее герой! Именно о таком она мечтала с детства. Не о принце, не о миллионере, нет. О тебе. Ты удивительный, и удивляешься самому себе: «Слушай, старик, а ты, оказывается, неплохой рассказчик!» И то правда – есть что рассказать. Видишь, как тебя слушают?! Тебе немного, самую малость, становится неприятно, если кто-то из новых вагонных друзей перехватывает (после очередного тоста, естественно, за присутствующих здесь милых дам) инициативу в свои руки, но ты его тут же снисходительно прощаешь. Да ради бога, пусть говорит! Ты-то уже – о-го-го! – вон какой красавице приглянулся...

Потом будут долгие объятия в полутемном тамбуре, горячие шептания на ухо между страстными поцелуями и ее обворожительный мягкий счастливый смех. Конечно, будут и обмен телефонными номерами, и миллионные заверения в любви и вечной преданности. Вы договоритесь непременно встретиться... Но вы оба знаете, что завтра все закончится. И как пел известный певец: «Поезд пойдет своей дорогой, а каждый из вас – своей». Ваши дорожки разойдутся в разные стороны. Первое время ты будешь свято верить, что обязательно найдешь ее. Ведь именно она – твоя судьба. Вот только решишь некоторые срочные дела и... Но ее адрес и телефон будут утеряны почти сразу. Ты ведь был тогда немного пьян и теперь с некоторым облегчением говоришь себе: «Разве это моя вина, что потерял ее адрес? Это все проклятое вино». Ах, вино! Как кстати оно иногда бывает...

Сколько таких встреч было в юности! Да и потом. И совсем недавно. Несколько лет ты не ездил поездом. А сейчас в легком возбуждении идешь по коридору, отстраняясь от обгоняющих и идущих



навстречу людей. В поезде и впрямь полно народу. Нет, тебе определенно повезло, что ты взял билет именно в СВ. А вот и твое купе. Чуть помедлив, за- таив на мгновение дыхание в предвкушении не- обывкновенной встречи, решительно тянешь ручку в сторону. Дверь легко отъезжает. Ты почти счаст- лив. ОНА! Не ОН. Она сидит за столом и смотрит в окно. Похоже, села где-то раньше и уже успела пере- одеться в белые спортивные брючки и кофточку с короткими рукавами. У тебя есть несколько секунд, прежде чем незнакомка повернет голову, и ты успе- ваяшь обратить внимание, что в этом ракурсе она очень даже ничего. Ну, дальше дело техники и твое- го жизненного опыта. Уж ты-то – хм! – знаешь, как обворожить и обольстить ее. И вот ты делаешь пер- вые шаги, а она поворачивает к тебе свое лицо...

Да-а... Хорошо, что ты немного артист и сумел скрыть свое разочарование. Тебе ведь предстоит ехать с этой дамочкой какое-то время. Но как же все-таки несправедлива к тебе судьба этим вече- ром! Стоило ли из-за такой «прозы» торопиться в вагон? Эх, а душа просила поэзии! С упавшим на- строением ты кладешь в багажный отсек свой баул и вымучиваешь на лице улыбку:

– Будем знакомы? Вы до Москвы?

Она неохотно кивает, и ты понимаешь, что тебе здесь не очень-то и рады. «Нет, вы только посмо- трите! – восклицает твоя обиженная натура. – Она еще и губки поджимает! Недовольна, видите ли, моим обществом! И взгляд перевела в окно, словно я тут пустое место. Другая бы счастлива была ехать с таким мачо...»

В глубине души ты, конечно, понимаешь, что и сам не первой свежести фрукт. Подумаешь, немного за тридцать! Точнее, почти сорок. А ей, курице кра- шеной, сколько? Сорок, сорок три? Нет, все-таки ты не любишь искусственных блондинок. Темные корни

волос и обесцвеченные кончики прядей – это не твое. А эти мешки под глазами! Мадам, похоже, не прочь дерябнуть пивка или чего покрепче. С такой и целоваться не захочется. Усаживаясь напротив, ты все же обращаешь внимание, что на безымянном пальце нет обручального кольца и даже следа от него. «Понятно. Всем своим видом выдает одиночку». Вдруг улавливаешь идущий от нее тонкий аромат духов, и никакой примеси табака. «И на том спасибо! Не хватало еще всю ночь нюхать пепельницу». Сам-то ты куришь, но дымящие женщины тебе противны.

За окном сгущаются сумерки. Молчание затягивается. Ты страшно голоден и по-джентльменски предлагаешь своей попутчице:

– Может, поужинаем вместе? В ресторане, надеюсь, найдется, чем перекусить.

Она переводит на тебя внимательный взгляд и тихим голосом отказывается. «Ну и слава богу!» – с облегчением (куда с такой-то в ресторан, а то еще встретишь кого из знакомых ненароком) поднимаешься с места, но вслух произносишь:

– Очень жаль! А я схожу. С утра и маковой росинки во рту не было. Вам чего-нибудь принести?

Она снова смотрит на тебя долгим взглядом. «Чего так смотреть? И взгляд какой-то осуждающий. Да не пристаю я к тебе, больно надо».

– Если можно, минералки, – наконец произносит она и быстро опускает глаза.

– Хорошо! Будет сделано! (Да ты сама любезность.)

Так, с широкой улыбкой и выходишь в коридор. «Уф-ф!» В тамбуре долго смотришь в окно на бескрайние русские просторы. Ты невольно свыкаешься с мыслью, что эта поездка будет, пожалуй, самой скучной, и лениво бредешь к вагону-ресторану. Вообще-то ты не любитель Бахуса. Позволяешь себе расслабиться иногда, исключительно по праздни-



кам и непременно в кругу друзей, коих у тебя мало. Но сейчас ты хочешь выпить, потому как праздник, который ты себе рисовал в воображении, покупая билет на поезд, не состоялся. Так тебе будет легче.

В глубине души ты робкий. Возможно, поэтому до сих пор холост. Даже перед этой бабенкой робеешь. Конечно, твое естество пытается оправдаться: «Неправда, я настоящий мачо! И женщин у меня было много». Это верно: женщины у тебя бывали. Но это так – физиология. В тебе медленно закипает злость. На что злишься-то? Боишься признаться, что в твоей душе что-то екнуло. Задавить бы это, залить коньячком, да поскорее! Кажется, ты начинаешь понимать, что твоя случайная попутчица – это не просто влечение... это нечто другое. И вот ты уже не идешь, мчишься в ресторан. Но тебе снова не везет. Все столики заняты, и, судя по оживленным лицам сидящих за ними, в ближайшие пару часов свободных мест не появится. Похоже, сегодня совсем не твой день. Взяв у буфетчика бутылочку «огненной воды» и «нарзан» (закуски никакой, кроме высушенных на плите прошлогодних куриных окорочков и сухариков для пива), возвращаешься в свой тамбур. Проходит десять минут, еще десять, полчаса, но ты по-прежнему не решаешься войти в купе. Чего-то боишься? Или кого-то? Себя? Робеешь перед этой дамочкой? Но почему? Она же тебе не понравилась. Тебе вообще до нее нет никакого дела!

Наконец тебе надоедает это унижительное стояние в тамбуре, и ты решительно направляешься к своему купе. Тебе, конечно, неизвестно, что ОНА давно ждет. Что, как только ты направился в ресторан, женщина засуетилась перед зеркалом. Быстро сменила кофту, заново причесалась и подправила макияж. Да, ты совершенно прав: ты – не мечта ее детских фантазий. Но ей уже под тридцать (а не сорок, как ты предположил), и она никогда не была

замужем. В институте все время отнимала учеба: ей хотелось обеспечить свое будущее и будущее своих детей (она ведь искренне верила, что уже в скором времени они у нее появятся), да и надеяться, кроме как на себя, ей уже тогда было не на кого. После трагической гибели родителей у нее осталась старенькая тетя – единственное родное существо на свете. Но сейчас тетя умирает от неизлечимой болезни, и она ездила в маленький южный городок, чтобы успеть застать ее живой. И глаза у нее припухшие оттого, что несколько дней подряд плакала, жалея тетю, да и свою несложившуюся жизнь.

Поводов оказаться в одной компании с мужчиной у нее не бывает, а, значит, и встреч с мужчинами также не предвидится, ведь кроме дома, работы и магазина, она никуда не ходит. Правда, раньше раз в месяц забегала на почту, чтобы переслать тетушке немного денег, да, видно, и этого больше не будет. И вдруг эта поездка, ты... Она растеряна в этих новых для нее обстоятельствах и не знает, как себя вести. У нее нет опыта. А ты ее определенно зацепил.

Тыходишь в купе так же изящно, как и вышел, легко неся свое натренированное стройное тело. Твоя неизменная улыбка волнует ее и немного пугает. Ты галантен: предлагаешь ей выпить, и она – о, чудо! – соглашается. Правда, она очень смущена, но ты знаешь, что это игра. О, ты прекрасно это знаешь! Ты замечаешь на ее тонкой длинной шее пикантную родинку и уже догадываешься, что этой ночью будешь касаться ее своими губами. «Как это прогнозируемо! Все, как и раньше», – думаешь ты в полной своей уверенности.

«Мда, – слегка захмелев после первой же рюмки коньяка (и в самом деле не ел с утра), ты размышляешь, откровенно и беззастенчиво рассматривая ее. – Вот и кофточку сменила. Губки подкрасила. Эх, бабы-бабы! Как вы все похожи на свою праматерь



Еву – соблазнительницу и искусительницу. Впрочем, губки у нее ничего, пухленькие!» – отмечаешь ты с предвкушением, машинально разливая напиток в пластиковые стаканчики. Однако на голодный желудок выпито многовато, и Инга (так она представилась, но ты уверен, что зовут ее Света, или Лиза, или Зина) это замечает. Отставив свой стакан в сторону, она достает большой пакет и выкладывает на стол нехитрую снедь, предлагая закусить. Ей неловко за скромное угощение. «Конечно, после ресторана тебя этими котлетками и отварными яйцами не удивить», – думает она и не подозревает, дурочка, как ты на самом деле голоден. После третьего стопарика ты ешь, как изголодавшийся лев, честно признаешься, что в ресторан не попал, и просишь прощения за свой неумный аппетит, с хохотом уверяя, что поутру, как только будет первая приличная станция, возместишь все ее убытки. От этих слов она смущается, в душе сожалея лишь о том, что так мало взяла с собой еды.

«А она все-таки ничего!» – думаешь ты, глядя, как весело и искренне Инга смеется над очередной твоей забавной историей. Каким-то чутьем ты начинаешь понимать, что сальные анекдоты здесь не прокатят, а набор дежурных шуток иссяк. Раньше бы тебя потянуло пофилософствовать, так сказать, заняться вербальным эстетством. Но сейчас вдруг захотелось рассказать ей о себе, о своей никчемной жизни. Рассказать первому встречному человеку, женщине. Что-то в ее глазах есть такое, что притягивает тебя. И ты рассказываешь всю правду, первый раз в жизни ничего не придумывая. Да и зачем выдумывать, обманывать? Завтра вы разбежитесь, как всегда это бывало, и, кроме мерзопакостного чувства самообмана, в душе ничего не останется. Так стоит ли?

«Да она, определенно, классная девчонка!» Ты ловишь себя на этой мысли уже не в первый раз.

Непринужденное общение, смех преобразили ее лицо. Оно стало молодым, даже юным и... чертовски привлекательным. Нет, ты еще не настолько пьян, чтобы считать ее красавицей, но какое море обаяния! Или это коньяк так на нее подействовал? Ее щеки порозовели, в глазах появился огонек. «А она совсем не дурнушка! И как умеет слушать!»

За окном давно глубокая ночь, изредка разрываема светом редких фонарей. Твое горячее дыхание щекочет ей щеку. Ты не заметил, как сел рядом и начал обнимать. Ее тело взволнованно дрожит. Она застенчиво пытается отстраниться, но твоя настойчивость сильнее ее воли.

– Инга, я такую искал всю свою жизнь, – шепчешь ты ей на ухо. В душе тебе почти противно от своего вранья, но игра началась. Она вяло сопротивляется. Ее тело покорно поддается твоим сильным рукам. Ты стараешься быть нежным. Утопив ее лицо в своих больших ладонях, целуешь его. Какое оно горячее! Ее губы обжигают тебя, как угольки. Она почти не умеет целоваться. Сначала робко-робко, потом жадно ее губы впиваются в твои. По ее щекам почему-то катятся слезы. «А все-таки немного жаль, что завтра все закончится», – мелькает мысль, а руки тянут ее кофточку вверх. Ты, конечно, гордишься собой. Еще бы, смог заарканить еще одну! В такие минуты мужчины всегда забывают, что не они выбирают женщину, это женщина делает выбор. Впрочем, сейчас это неважно. Важно то, что ты упорный. Ничего, еще немного – и она сама скажет тебе заветное: «Да»...

Проснувшись поздно, почти днем, ты не сразу понимаешь, что в купе находишься один. Инги нет – она ушла. Твой мозг лихорадит от вопросов: куда? почему? Ведь до Москвы еще часов восемь езды. Выбежав в коридор, натыкаешься на проводника. Нет, она не перешла в другой вагон, оскор-



бившись твоим вчерашним поведением. Она сошла с поезда. Ночью, когда ты спал.

– Сам удивляюсь, – скажет тебе проводник. – Билет брала до столицы, а вышла...

Ты возвращаешься в купе. На душе гадко. Как же так? Ты ведь не обидел ее. Вернее сказать, она не позволила того, чего ты хотел. Вспоминаешь, как Инга, смущаясь, остановила тебя: «Я не могу вот так сразу. У меня еще никогда не было мужчины, но и так я не хочу». Нет так нет. Ты ведь больше не приставал к ней. Так чего же она сбежала? Что произошло? И неужели она исчезла НАВСЕГДА?! Вдруг тебя прошибает холодный пот: «Воровка! Ну конечно!» Пулей бросаешься к своему пиджаку и дрожащей рукой вытаскиваешь портмоне. Нет, все на месте, и тебе становится безумно стыдно за свое подозрение. Тупо уставившись на то место, где еще недавно сидела девушка, думаешь, что предпринять. Еще не осознавая почему, но ты не хочешь ее потерять. Неожиданно твой взгляд выхватывает выбившийся из-под багажной полки кусок ткани. Рывком подняв крышку, извлекаешь на свет цветную косынку и небольшой черный полиэтиленовый пакет. Сомнений нет – это ее вещи. От косынки исходит тот самый аромат духов. Ты ведь еще не забыл запах ее рук, ее лица. Она уходила в темноте, не включала свет и потому не заметила второпях темный пакет и сбившуюся в угол косынку.

Твое желание открыть пакет выше совестливости: там могут быть документы, по которым ее можно найти в Москве. В голове снова промелькнуло: «Знакомые женские штучки – якобы случайно забытая вещь, а тут тебе и адресок». С нетерпением раскрываешь пакет, достаешь небольшую кожаную сумочку – старомодный ридикюль с кнопкой на латунном замке, и нажимаешь на нее... Но что это? Ты не веришь своим глазам: сумочка набита драгоценностями. Это огромное богатство, но адреса нет! На

душе снова стало противно и стыдно за свое подозрение. Нет, пакет забыт не нарочно. «Но почему ты ушла? Почему, Инга?»

Теперь ты знаешь, что станешь делать: ты будешь ее искать.

...Вот уже целый месяц все свободное от работы время ты проводишь на вокзале, ищешь ее, свою Ингу. Сдавать сумку проводнику ты не стал. Зачем? Он наверняка «затеряет» ее. Докажи потом, что не ты. По этой же причине не доверился начальнику поезда и начальнику столичного вокзала. Следовало бы отнести в милицию, куда могут обратиться за пропажей, но ты этого делать не будешь. Ты сам, сам передашь Инге из рук в руки ее вещи. Тебе очень не хочется, чтобы она думала о тебе плохо. Но почему? Что тебе за дело до ее мнения? Возможно, вы вообще никогда больше не встретитесь. От этой мысли тебя передергивает. Нет, ты ее найдешь, обязательно найдешь.

Проходит еще месяц. Все это время ты помнишь каждое слово из вашего с ней разговора, вспоминаешь каждую черточку ее лица, рук, хранишь ее запах. Ты помнишь, что кроме тети, смертельно больной, у Инги никого нет. Значит, она может в любую минуту поехать к ней. Ты этого момента и ждешь. Других вариантов найти ее у тебя все равно нет. Еще ты веришь, что всякий уезжающий куда-либо москвич непременно возвращается. Конечно, надежда весьма слабая. Человек может уехать автобусом, улететь самолетом, да мало ли чем еще. В конце концов, может уехать и не вернуться. От этой мысли тебя снова бросает в пот.

Пролетают еще два месяца. Ты изменился: оступился, замкнулся. Старые знакомые едва узнают. Зато хорошо узнают многие работники вокзала. Да и милиция перестала проверять твои документы, сочувствует.

Вот и еще один поезд прибыл из твоего прошлого. На тебе та же одежда, какая была при встрече с



ней, только заметно поистрепалась. Так, по твоему мнению, Инге будет легче тебя узнать. До боли в глазах всматриваешься в толпу, пробивающуюся к выходу из вокзала. Все тщетно, Инги снова нет. Бесцельно слоняясь, бродишь вдоль перрона. Торопиться некуда: дома никто не ждет. На углу здания вокзала замечаешь одинокую женщину в траурном платье. Она стоит спиной к тебе, слегка ссутулив плечи. Ты непроизвольно останавливаешься, привлеченный ее неподвижной, но такой... знакомой, родной фигурой. Женщина в задумчивости делает несколько шагов к выходу в город и вновь останавливается. Ты чувствуешь, как учащенно забилось сердце. Ускорив шаг, настигаешь ее и, осторожно касаясь плеча, выпаливаешь давно заготовленную фразу:

– Инга, ты забыла в поезде пакет!

Вздвигнув, женщина медленно оборачивается. Она долго смотрит на тебя глубоким пронзительно тревожным взглядом. Затем, опустив глаза, тихо произносит:

– А я тетю похоронила. Теперь вот одна осталась. – Словно извиняясь, Инга смущенно улыбается, принимая пакет. – Ты все это время искал меня, чтобы вернуть?

Она поднимает глаза, полные нежности и... любви.

Ты столько времени ее разыскивал, столько хотел сказать, но сейчас растерян и, стараясь не отводить своего взгляда, так же тихо, но торопливо произносишь:

– Я хотел вернуть... давно ищу... люблю... тоже один... почему бы нам...

Она не дает тебе договорить. Коснувшись заросшей щеки, Инга осторожно и долго гладит ее.

– Бритый ты мне больше нравишься.

Затем молча берет под руку и уводит с собой...

Саженец

Лицо тёти Жени в морщинах, глаза глубоко посажены, а нос напоминает булочку, упавшую на растрескавшийся островок земли. Так она стара. Начало Великой Отечественной пришлось на её пятнадцатилетие: как раз мать подарила ей парусиновые туфельки с перемычкой и бирюзовой пуговицей. Мать она не любила, которую и никто не любил – неуживчивую казачку, с толстой седеющей косой и выдвинутым вперёд подбородком.

К моменту, когда в Кисловодск вошли немцы, мать, сколотив вторую стену в деревянном сарае, откуда легко вынималась нижняя доска, объявила Женьке, что теперь она будет жить там. Девушка редко плакала, но тут слёзы лились в три ручья:

– Почему только я одна должна прятаться! Других же не прячут!

– Потому что слышала я, что девушек и молодых женщин портят и отправляют в Германию! – отрезала мать и для острастки отхлестала её батенькиным ремнём.

– Вот вернётся отец с фронта...



**ЮЛИЯ
КАУНОВА**

Проза





Договорить мать не дала.

– Не вернётся! Похоронка на него пришла...

И так это она буднично выкрикнула, что до Женькиного сознания не сразу дошёл смысл сказанного... А прохладной августовской ночью – первой в сарае, она долго не могла унять слез, катаясь по соломенному тюфяку, накрытому лоскутным одеялом, скуля от горя, – единственная доченька любимого отца, которого она иначе как батенькой и не называла. Отец очень любил свою красавицу, особенно её смех. «Колокольчик! – шутил он. – Ишь, твой тёзка частенько поглядает через дорогу! Должно, вырастите – обженим, породнимся с Жириными». – «Батя, надо говорить – «поглядывает» и «поженим». «Ну уж, – улыбался в усы отец, – тебе виднее, ты семь классов закончила».

Теперь будущий жених, пока мать строила ей «темницу», подбирался к дому дважды:

– Не бойсь, я тебе буду картошку в золе печь, – твердо заверил Женька.

Днём мать приносила дочери молодую картошку, яблоки, армянские лавашы, что брала у соседней Саркисовых, и воду в бидоне. Женька выползала на свет, вытаскивала за собой мятую посудину, что приспособила для ночного горшка и, оглядываясь по сторонам, едва ли не в один прыжок оказывалась в уборной.

– Да никого нет на задах, – ворчала мать, – главное, впереди не показывайся, когда в прачку уйду.

Жиринов пошёл в «темницу» непрошено-незвано в конце первой недели её неволи. Она ни разу не подумала о нём, переживая смерть батеньки. Вместе поели в темноте ещё тёплой картошки, что он испёк в золе, и спать завалились.

...Не всё помнится сейчас старой женщине, о чём говорили они в свою первую ночь, но вот сло-

ва матери врезались в память, как ножи, пущенные мальчишками в ствол дерева.

– Чего-то сегодня спалось плохо: не нравятся мне фрицы-то.

– Мам, это же враги! Как они могут нравиться!

– Чего-то они ночами под окнами мелькают: согнутся и бегают.

И не понятно Женьке, как это мать сама боится, находясь в домике с запором, а за кровинку свою ни словечка – мерзнет, страшно ли ей там? – не спрашивает. И за батеньку ни слова – ни плохо, ни хорошо, а жили славно: терпел отец сварливый характер супруги, не возражал ей.

Странно это Женьке, – вот погибни вдруг Жирин и не переживёт она – любит его и он её. Одно очень не нравилось ей, что Жирин открыто похваливал немцев. Говорил, какие они чистоплотные, независимые, форма с иголочки. Принёс длинные конфеты. Она ела, а фантики рассовывала по карманам Жирина, чтобы мать не увидела их. Ругала его, – как можно хвалить врага. Парень был старше Женьки на полтора года. В сорок втором году Женьке шёл восемнадцатый год, она вспомнила, что мать в этом возрасте уже была замужем за батенькой. Жирин обещал жениться после какой-то дальней поездки и выволить её из заточения. Женька решила, что любимый уходит в партизаны. В эту ночь объятия ее были особенно страстными и нежными...

К октябрю мать натащила тёплых вещей, валенки, шаль из козьего пуха. Вместе они выкопали яму, сверху прикрыли железный лист, оставив неширокий лаз, напихали под него сучьев и попробовали затопить эту своеобразную печь. Наглотавшись дыма, выползли наружу и долго отлёживались на куче дров во второй половине сарая. Вот тут, отды-



шавшись, Женька впервые спросила, любит ли её мать и любила ли она когда-нибудь батеньку. Мать долго молчала. Ответила она просто:

– Душой чувствую, – жив мой Колька, а за тебя любого человека порубаю.

И больше ничего не сказала.

Ночами Женька, распугивая долгой вознёй мышей, слушала сквозь осенние дожди город: лаяли собаки, иногда тарахтели телеги и вдруг раздавались одиночные выстрелы. Утром спросила у матери:

– В кого стреляют по ночам?

– Лютуют фрицы, – евреи им чего-то мешают, раненых побили. В Крымах тысячами народу ихнего побили, семьями. Две семьи спаслись, у Коленевых за огородами живут. Домушку им выкопали.

– За что, мам? Может, врут люди...

И чуть не сказала, что Жирин хвалил немцев.

Мать наносила в сарай горячей воды. Женька кое-как помылась в бочке. А затем стала замачивать там партиями суконную военную форму и по светлому дню стирала, сдабривая щелочным мылом и пользуясь стиральной доской. Вода быстро остывала, мать приносила в вёдрах новую, нагретую на русской печи, забирая таз с одеждой – полоскать в доме. Женька знала, что стирали они с матерью на немцев не зря, за кое-какие продукты и тушёнку, из которой варили суп.

– Мы своих бойцов не предаём. Мы выживаем, как можем, повторяла сумрачная мать.

Женька еле выдерживала: руки покраснели, разъеденные щелочью, покрылись ранками. От запредельной усталости по ночам от холода стучали зубы, как она не куталась.

– Мама, разреши ночевать в доме, – просила она. – Ведь ни разу не приходили!

И мать сдалась. Дом Жириных находился напротив. Ночью Женька смотрела в окно и тосковала: где же ты? Но в крошечной темноте окна было не разглядеть.

И вдруг мать сказала:

– Твой-то «Огонёк» в полициях ходит.

– Какой «Огонёк»? – холодея от ужаса, спросила Женька.

– Да Женька Жирин, с кем две осени на лавочке прозябали.

– Неправда. Он же... он же комсомолец.

– Сама видела. Форму надел, мотоцикл ему дали, сапоги скрипят. Автомат на груди. Гадёныш! Брат его ругает, а он ему, – пристрелю, мол. Тут иду, а он навстречу: скалится, спрашивает: « Скоро дочка вернётся из Ростова-то?»

– Неправда! – выкрикнула Женька.

– В сарай пойдёшь! – рассердилась мать.

Жирин явился в начале января чуть свет, вошел в горницу, отодвинув рукой мать в сторону:

– А-а, дома ты...

Женька силилась рассмотреть его, но у неё ничего не получалось: большой и чёрный – весь, с головы до ног.

Мать прыгнула к дочери и закрыла её собой:

– Она с тобой не пойдёт! Хоть убей меня, но не пойдёт!

И вдруг мать шагнула к окну и встала спиной. Женька поняла, – зачем: на подоконнике стоял чужунный утюг, которым она выглаживала, грея его на плите, форму фрицев. Жирин, ничего не подозревая, повернулся к ней:

– Чего вы, тетенька, мешаете? Сейчас я небедный, к себе Женьку возьму. Один остался в отцовском доме, а мамка к брату ушла.



– Предатель! – выпалила мать, вцепившись в край стола. – Ты же участвовал в расстреле еврейских семей под Кольцо-горой, сволочь!

– Было такое, – признался, усмехнувшись, Жирин.. – Не я один расстреливал, это война, тётя.

– Люди говорят, что бедолаги так кричали от ужаса, – аж глаза лопались. И стреляли, и в газовые машины голыми загоняли с детишками. Чего вы возомнили-то о себе!

– И это было, – кивнул спокойно Жирин. И тут мать в одно мгновение метнулась от стены и ударила по голове полицая утюгом. Заливаясь кровью, тот качнулся и рухнул ничком – к ногам вскочившей на лавку Женьки:

– Мама... Ты... убила его!

...Ночью они вырыли в огороде могилу – деловито, не тратя времени на пустяки и не оглядываясь.

– Может, для себя роём, Женька? Придут сейчас, стрельнут – и поминай как звали, а в сарае-то в углу с осени саженец ореха стоит в тряпку завернутый, посадим?

– Январь, – буркнула Женька, – не примется.

– Ну и что, посадим, вместо креста. Для отвода глаз.

До ямы доволокли Жирина с трудом. Тяжелым и упитанным оказался немецкий холуй. На улице сеял неприятный мокрый снег; напротив, во дворе Жириных, лаяли собаки, Месяц и Гайка. Женька вдруг вспомнила, как Жирин рассказывал: «Хотел утопить щенков, а смотрю, один, как месяц, лежит, вытянувшись, а другой свернулся, как гайка. Пожалел, оставил». «А людей не пожалел, тварь. Вот и мы тебя не пожалели», – мелькнули мысли. Закапывали быстро. Когда рассвело, принесла Женька

саженец. Сверху мать воткнула орех – голый и тонкоствольный.

– Прими, зятёк! Немцев выбьют, выкопаем и свезём куда-нибудь, – пообещала мрачно она. И Женька впервые увидела, какие у матери большие и синие глаза: так вот за что батенька полюбил её.

Больше Женька не боялась выходить на улицу. От юной красоты остались одни огромные, полные тоски, серые глаза. Люди порой не узнавали её, встретив:

– Из беженок, видать.

Немцы вскоре ушли. Мать совсем замкнулась и не разговаривала с ней, замолчала и Женька. В мае Женька заметила на орехе листочки и оцепенела. Мать встала рядом.

– Чудно, дочка, посадили-то зимой, так не бывает, а вот у нас так есть.

Батенька с фронта не вернулся, как не ждала его мать. Как-то, прибежав домой, она выхватила из рук Женьки лопату – картошку сажали. Но не успела и ряд пройти до конца, как пошатнувшись, схватилась за сердце.

– Чего-то, дочь, стрельнуло... Коленька-а-а...

Похоронить мать помог брат Женьки Жирина – Василий. Вдвоём и помянули, присев на порожек сарая. Василий наполнил две консервные банки водкой:

– Орех у вас, смотри-ка! Когда посадили?

– Осенью.

– Смотри, казачка, орех рубить нельзя. Он во дворе хозяин, если тронешь его, замуж не выйдешь.

– А я и не собираюсь.

– Чего? Братуху ждёшь? Не жди, сгинул он, как в воду канул. Опозорил фамилию, у немцев служить стал, вот и сбежал от позора и наказания.



– Снился мне как-то, – бросила Женька. – Скинь, говорит, с груди деревянного паука.

И тут Женька покраснела и выпила водки: не сдержалась, – догадаться же можно, что корень ореха впился в грудь Жирина, как паук. Василий тоже выпил:

– Слепая у тебя любовь была к нему. Не знала ты, что он только и мечтал о богатстве.

И с той весны сорок пятого года, как умерла мать, жизнь для Женьки замкнулась непреодолимым кругом. Дважды к ней сватались, – уже расцвела и поправилась она, но что один, что другой претенденты на руку и сердце, точно избранники злого рока, погибли от несчастных случаев.

Уже под девяносто годков ей набежало, когда вздумала баба Женя рассказать свою страшную историю и ясным осенним днем повела приятельницу средних лет к ореху. Огромный ствол, великолепная крона, а земля под ними усыпана орехами.

– Ни одного ядрышка не съела я, ни одного. Ваське с супругой отдавала; дети ихние собирали, внуки. Теперь Варька Самодулина прибегает, – в дому Жириных поселилась, когда Васька помер и родные его, а я вот живу и живу. Варька мне кашу варит, полы моет, у себя в бане купает. Чудно, так и не оторвалась я от Жириных: с двух сторон пригляд – дом да орех этот...

* * *

Мой брат родился в день Победы,
В победный год, победный час...
Наперекор смертям и бедам
Жизнь у мальчишки началась.

Роддом полупустой, военный
Вдруг превратился в карнавал...
Мой брат о мире откровенно
На всю Вселенную орал!

А за окном весна журчала,
Трава зелёная росла...
И мать от радости молчала,
Что в праздник сына родила.

* * *

У времени свои права.
Притихший лес, седое небо.
Полуистлевшая трава –
Всего лишь ожиданье снега...

Когда наступит «белый» час –
Предугадать никто не может.
Но что-то назревает в нас
С предощущением мороза...

Снежинки снятся по ночам
За много дней до снегопада
И приземляются к ногам
Долготерпению в награду.

* * *

Звон колокола снится по ночам –
печальный зов души твоей, Россия,



**ТАМАРА
СУХОРУКОВА**

Поэзия





как будто бы ты в руки к палачам
низверглась от бессилья...

Зов колокола – явный знак судьбы,
пусть даже он издали лишь слышен –
не избежать брожения толпы
твоих племён, что под единой крышей.

* * *

Нас остужает ранняя усталость,
Нас осуждают старые друзья...
На целый век одно лишь и осталось:
Уверовать, что жизнь прошла не зря.

Все давние сомненья и тревоги –
Лишь тени дней, скользящих по стене...
Но бесконечны новые дороги
И призрачны, как пятна на Луне.

Утро зимнее

Зимний воздух свеж и невесом,
будто он явился к нам из чуда!
Тёмной речки белый окоём
озаряет все её запруды...

Там, на взгорье, церковь, как свеча,
куполами издали сверкая,
полдня ждёт. При солнечных лучах
красота, наверное, другая.

Родина, Россия, ты жива,
до сих пор –
воистину –
красива!..
Пусть взлетают в небо кружева
белых облаков твоих, Россия!

...Тишина. Безлюдье и простор –
и душа в объятых нежных утра.
Жизнь уже не кажется простой,
коль бесценной кажется минута.

* * *

Камышей премудрые антенны
Ловят звук летящих облаков,
Только что родившихся из пены
На краю болотных берегов.

Может, я и есть – вон та лягушка,
И царевной стать мне предстоит?
Или я – сова в лесной избушке,
С бабою Ягой кривой на «ты» ?..

...Что-то про царевича не слышно.
Может, запугал его Кощей?..
Вдоль оврага ведьма с коромыслом
Промелькнула в розовом плаще...

* * *

Тётя Таня топит баню,
баню русскую,
чтобы все мои страданья,
как суставы, хрустнули.

Ладит веник мне дубовый,
улыбается:
«Ох, и веничек суровый,
на – побалуйся!»

В бане пахнет чуть смолою –
в отрезвление,
вот грехи свои, где смою –
во спасение!..



По камням туман струится
да со всех сторон,
и душа моя стремится –
сразу выйти вон!..

Веником хлещу по телу:
и р-раз, и два!
То-то нынче пропотею,
то-то буду молода!

* * *

Грот Лермонтова, тихий и печальный –
от взоров он сокрыт листвой зелёной
В нём ветерка заблудшего случайность –
сродни шагам поэта отдалённым.

О, дай мне, Бог, возвысившись, изведать
звук чудной лиры гения бесценный,
увидеть лик, природой вдохновенный –
...и осторожно завести беседу!..

* * *

Ты приходишь ко мне, а я..
Я смотрю сквозь тебя – в себя,
Не ревнуя и не любя..
Я давно прочитала тебя.

Слышишь, ветры в ночи не спят..
Это время уходит вспять,
Обнажая, как острова,
Все поступки и все слова.

И теперь для меня они
Древним сказкам почти сродни..
Но слепому зачем – огни,
А глухому – мои соловьи?!

* * *

Сосулек свечи голубые
Ты нежно трогаешь рукой...
Они недавно ливнем были,
Туманом лёгким над рекой.

Законы естества забавны:
Ничто не исчезает вдруг...
Здесь всё – вторичное и главное –
Единый нерушимый круг!

Но сколько... сколько превращений
Таит в себе любовь твоя:
Каких обид, каких сомнений?!
Не знаешь ты?
Не знаю я...

* * *

Таинственная музыка Баха –
Загадка для всех поколений...
Ты снова замрешь не от страха –
От радостного озарения.

Глубоких пассажей звучанье
В душе – отзовется восторгом...
Святой несказанной печалью
Наполнены эти аккорды.

Пред образом встав на колени,
Ты просишь не манны – бессмертия!
В камине сгорают поленья,
Как будто сгорают столетия...

* * *

Останься, останься со мною,
Хотя б на мгновенье одно...
Я буду травой, что весною
Скрывает болотное дно...



Я буду раскованной далью,
Что так бесконечно светла...
Ты смотришь с открытой печалью
На юность, что вдруг отцвела.

Она отцвела, ну так что же:
Мы стали с годами мудрей,
А, может быть, чуточку строже,
Но только намного – добрей.

Но только намного тревожней
Над лесом сверкает гроза,
И пахнет землёй придорожной
И ветер щекочет глаза...

* * *

Нам хорошо жилось с тобой,
Ровесник мой послевоенный.
Мы не врывались в страшный бой,
Не умирали от ранений...

Война входила в нас тогда
Обрывком чёрным киноленты,
Просачиваясь, как вода.
Не щедрая на сантименты.

Бумажный глобус и портфель
Считали мы вселенной целой,
Строгая авиамодель
И покрывая краской белой.

Но стыдно было нам подчас
Глядеть в глаза отцам-солдатам
И ощущать в который раз,
Что шла без нас
война когда-то...

Мой город

В ноябре прошлого года умерла моя мать – стержень, на котором держалась семья. Через месяц после ее смерти все, жившие под нашей зеленой крышей, разлетелись по России в разные стороны, и отцовский дом, уютный, как обкуренная трубка, отдан в наймы неизвестному мне «хозяйственному» человеку. Мебель Луи Филиппа была продана, рояль – вывезен в Ростов, книжный шкаф, знавший столько моих тайн, рассыпался. И в этом очаровательном южном городе, в котором столько лет жили мои деды, составляя неизбежную и неотъемлемую принадлежность его территории, нет теперь ни одного человека, носящего мое имя. Первый раз за сто лет в Страстную Пятницу, в два часа дня, никто из нас, ничего не ев, не побежит на похороны Бога, замученного людьми и скорбно возлежащего в таинственной Плащанице; никто из нас не поцелует кровавых пяти ран, которые Он принял, чтобы искупить мир от греха, проклятия и смерти. Никто из нас в своем городе не услышит пламенного акафиста Страстям, когда жарко пылают шесть став-



**ИЛЬЯ
СУРГУЧЕВ**

Неизвестная классика





ников свеч, торопящихся сгореть, и кисея голубоватого Гроба пропитана женственным ароматом розового масла – того самого, которым когда-то Мария из Магдал омыла ноги Его и отерла их густопышными волосами своими (эти волосы так любил писать шестидесятилетний Тициан). И в Светлую Заутреню ни в одной церкви: ни в Рядской, ни в Кафедральном соборе, ни в Троицком – не будет ни одного человека, принадлежащего к нашему роду. На третий день праздника уже не принесут к нам икону Божией Матери, и отец Александр сдержанным, полновесным баритоном не запоет пасхальных тропарей, и стены дома не услышат сладких стихов, начинающихся так:

– Ангел Предстатель послан бысть рещи Богородице: «Радуйся!»

Тяжело и больно, – и в эту минуту, такой затерянный и такой далекий, я хочу, хоть мысленно, быть с тобою, мой родной, мой милый и незабываемый, с древнегреческим именем, самый для меня прекрасный и цветущий город на земле; я хочу ходить по твоим просторным улицам, по косоугору твоего пышного и прохладного бульвара, по роще, по архиерейскому лесу; я хочу в эти дни слышать голоса только твоих колоколов.

* * *

Наступила пасхальная ночь, и если прислушаться ухом, умеющим слышать, то можно уследить, как, восходя кверху, из неведомых и таинственных сфер, струятся соки по жилам деревьев, безошибочно принося каштановое – каштанам, дубовое – дубам, березовое – березам. Холодновато, но в звездах плещется уверенный и веселый свет. Прекрасно освещен кремнистый путь в Иерусалим. Мчится цугом запряженная телега Большой Медведицы.

Одиннадцать часов, и через шестьдесят минут наступит воскресенье – после весеннего равноденствия первое воскресенье библейского месяца Нисана.

Город погасил свои торговые огни: серебро, золото и медную монету переложил из одних карманов в другие, разделил между семьюдесятью тысячами хлеб, мясо, вино – и притих. Сквозь ставни прокрадываются словно по линейке отчерченные полосы желтоватого, не электрического света: усталые горожане, борясь с дремотой, привычной в этот час, застегивают тугие крахмальные воротнички, изнутри подталкивая запонку большим пальцем, завязывают узлы ярких галстуков, заводят праздничные часы с тремя крышками, жмутся в новой упругой и еще не блестящей обуви. С искушением поглядывают на обилие пасхального стола: эффектные куличи выпечены из нольной муки и распространяют запах кардамона. В углу, на большом подносе, установлена батарея: водка с еще ненарушенной белой головкой, удельное вино № 81 – красное и № 26 – белое, наливка Петра Смирнова, коньяк Шустова «Золотой колокол», Цинандали князя Андроникова, старые настойки Штритера, фруктовые воды Ланина, пиво – Калининское и Трехгорное. Скользки навощенные подошвы новых сапог, нужно осторожно ходить по праздничным плюшевым дорожкам – ощущение чистоты, обновления и заботливой прибранности к празднику. Все торопятся и нервно ждут первого удара колокола, в который зазвонит Тарас, старший звонарь Кафедрального собора. Особенно волнует непривычность и единственность службы в такой поздний час – и вдруг:

– Бо-ом!

Послышалось первое слово Тараса, сейчас самого важного и гордого человека.



– Бо-ом! – отвечает ему расстриженный монах Агафангел из Троицкого собора.

Песнь начали главные басы, основа хора, вслед за ними вступают другие голоса: баритон Рядской церкви, пудов на 800, серебристый тенорок из духовного училища, альт архиерейского старого подворья, и стоящий на горе город слышит взволнованный и торжественный концерт старых колоколов, украшенных славянской вязью, с выпуклыми буквами императоров и архиереев, с годами царствований, с упоминаниями событий, с именами жертвователей, усердных к церкви и вере – с именами купцов Чепелевых, Нестеровых, Волобуевых, вычурные могильные памятники которых так пугали меня в детстве. И да будет прославлен Бог, который возвращает мертвым слух в эту ночь: свят и благославляющ звон сооруженного Тобой колокола!

* * *

О, эти старенькие и хитренькие покойнички! У Чехова есть село, в котором дьячок на похоронах всю икру съел. Наш город известен тем, что когда-то, в семидесятых годах, принимая у себя великого князя, одного из Михайловичей, угостил его во славу торжественным обедом, да и сам, в лице своих представителей, угостился всласть, а наутро, перед отъездом князя в Тифлис, почтительно представил ему счет за все съеденное и выпитое.

– Город наш беден, – сказали представители своему гостю, немало удивленному, – еле-еле с хлеба на квас перебиваемся, и расход на обед – для нас большой расход. А потому явите Божескую милость: прикажите получить.

И роскошный, с разлитым морем обед неожиданно влетел великому князю в несколько тысяч.

Обед же, воистину, был пышный!

– Селедки дышали! – восторженно, до самой смерти рассказывал отставной клубный официант, специалист по закускам. – За спаржей в Ростов посылали! В желе свечка горела! Пирамида из разноцветных леденцов была!

– А князь много кушал?

– Где там! Индюшиное крылышко – и все. Без хлеба!

Император Александр Второй, которому ошеломленный Михайлович показывал счет, сказал, смеясь:

– Жирно, брат, ешь!

Эти купцы, получившие с князя деньги за обед, который они сами съели, выжиги, сквалыжники и алтынники, любили свой город и часто бывали большими поэтами. Это они почувствовали красоту веселых южных площадей и построили на них итальянские фонтаны, со струей на сажень. Это они поняли и взлелеяли талант архитектора Воскресенского, и на горе построили колокольню, после Троице-Сергиевой – самую изящную в России. Прелестной узорчатой оградой обнесли рощу и Бяратинский парк. Этот архитектор выстроил для них множество очаровательных особняков в стиле знаменитого русского губернского ампира и лестницу к собору в сто девяносто ступеней. Они, эти купцы, выходцы из северных губерний, свили в предгорье еще не замиренного Кавказа теплое колонизаторское гнездо, где десятками лет, среди вишневых, яблоневых и каштановых садов, с заботливой любовью, по особым наследственным рецептам культивировали в четвертных бутылках густые ароматические наливки, употребляемые во благовремени; моченые яблочки, соленые арбузы, рассольнички для оправления плохо выпавшейся головы, на-



стойки доктора Эрнеста, составленные из 38 предметов, для долголетия жизни, пуховые перинки, подушечки-думки и великолепные сорта чубастых высоколетных голубей.

И за них, за упокой их наивных и прощенных иереем, властью ему данною, душ, в эту ночь всегда бьет первый удар старший звонарь Кафедрального собора Тарас по прозвищу «Отдай рубль».

* * *

По церковному уставу в эту ночь не полагается обычной торжественной архиерейской встречи – Архиепископ Агафодор скромно подъезжает к пономарке и облачается в ризнице. Ровно в половине двенадцатого начинается полуночица, и хор серьезно и сосредоточенно поет:

– Волною морскою скрывшаго древле гонителя.

Последние минуты лежит в своем гробе Христос: ровно в двенадцать начинается крестный ход с Плащаницей, с хоругвями, с фонарями и свечами, кладущими особые выразительные тени на лица людей и блеск – на глаза. Если вы не вышли вместе с крестным ходом, а остались в опустевшей церкви, то переживаете превосходный музыкальный эффект: то четко вблизи, то все дальше и дальше, чуть слышно куда-то относясь ветром, благоговейные и встревоженные голоса, чеканящие каждый слог:

– Воскресение Твое, Христе Спасе...

В фон стройного хора вливается неопытное и нестройное подпевание молящихся.

Шествие наконец приближается к затворенным входным дверям, которые в эту минуту символизируют запечатанный надгробный камень. Что-то тихо читают, и раздается старческий дребезжащий голос архиепископа, запевающего в первый раз:

– Христос воскрес из мертвых!

Двери раскрываются: камень отвален от гроба, и хор на стремительно восходящих нотах, на тридцать вторых, гремит мажорный, торжествующий напев тех же тысячелетних слов.

Чудо совершилось: собор, как водой, наливается радостным народом. Начинается попеременное, то на правом, то на левом клиросе пение исключительного по поэтической силе пасхального канона, из которого я с особым трепетом жду ирмоса четвертого:

– Утреннюю утреннюю глубоко и вместо миро – песнь принесем Владыце...

Непонятно почему, но меня всегда волнуют эти слова:

– Вместо миро – песнь...

И эту песнь, приносимую вместо драгоценного народного миро, поет и архиерей, одетый в царские одежды, и оба клироса, и поочередно кадящие священники, и кланяющийся со свечой пышноволосый протодиакон, и народ: смешиваются дисканты с неопытными, нарочито свирепыми басами, забегают вперед, славянские слова произносят на русский лад, «о» незаконно выговаривают как «а».

В соборе разлито чувство равенства: можно целоваться и с архиереем, и с губернатором. Все светло – горят три паникадила, царские врата не закрываются и сегодня тайна пресуществления будет совершена всенародно – и эта светлость, и какая-то духовная облегченность еще больше подчеркиваются, когда вступают неожиданно минорные, древнегреческие растянутые мелодии:

– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Поют о Пасхе: великой, священной, непорочной, таинственной, открывающей верным двери райские, всечестной, о Пасхе как о Христе-Избавителе.



Люди хором дают торжественное обещание: простить друг другу все обиды, а потом, когда певцы устали и в алтаре начинаются приготовления к Литургии, на амвон выходит в скуфье младший священник, раскрывает славянскую книгу и высоким тенорком читает придвинувшейся толпе знаменитую и необыкновенно певучую пасхальную проповедь Иоанна Златоуста:

– Все! – громко раздается в затихшем храме, – богатые и бедные, цари и рабы, мудрые и простые, постившиеся и непостившиеся, – все да внидут сегодня в радость Господа Своего!

Начинается христосование, и архиерей, кстати, поздравляет губернатора с камергерским чином, пожалованным к первому дню.

Минут через двадцать в алтаре слышится протодиаконский бас, рокочущий:

– Время сотворити Господеви...

И единственный раз в году таинственная первая глава от Иоанна читается на языках: славянском, русском, греческом, латинском. А отец Давид Мчедлидзе читает ее и по-грузински.

* * *

Я бы дорого дал, чтобы теперь, по окончании обедни, за час до рассвета, спуститься по просыхающей горе на Ясеновскую улицу, открыть американским ключом двери своего дома и в столовой, вместе со слугами, разговеться пасхой и крутосваренным яйцом со следами краски на белке. А потом, слегка подрагивая от бессонницы, в непривычно легком еще летнем пальто, пойти к отцу, на Успенское кладбище.

О, это кладбище провинциального патриархального города, где все могилы известны тебе, как живые люди! Оно к великому дню вычищено, деревья –

в цвету, все холмики усыпаны фиалками и ранними тюльпанами, тихо и призрачно горят огни лампад и свечей, спрятанные в садовые фонарики: какой мир, какая отрада, какая мудрость, какая примиренность со смертью, вера в воскресение, трепет перед последним, все решающим судом, – какая печаль и воздыхание и какая мечта о жизни бесконечной!

Коротенькие песенки поют проснувшиеся озябшие птицы, и сторож Никифор – суровый инспектор мертвого городка – в новой рубаше из каленого ситца, и, когда христосуешься с ним, слышишь запах бороды, прокопченной доброй рымаренковской махоркой.

Тишина, тишина: злые люди на кладбище не ходят, и одно только приобщает вас к незасыпающей жизни и деловитости: по насыпи, огибая кладбищенскую ограду, тихо ползет со станции Кавказской будничный, пустой состав товарного поезда, и делается невыразимо жаль кондуктора, стоящего с флажком на последней площадке.

Около наших могил поставлена садовая решетчатая скамья – мы сидим на ней вдвоем с матерью. Только что мы катали красное яичко по надгробным плитам, и оно с сухим треском подпрыгивало на выпуклых буквах. Теперь мы упиваемся густым, как масло, воздухом, который посылает нам черноземная степь. От постепенно прибывающего откуда-то осторожного света кажется, что он, воздух, разжигается и меняет свой запах: начинают оживать и дышать цветы, молодая трава, над нашей головой явно просыпается молодая яблоня, невеста невестная. Вокруг нас – бесконечное царство Креста и земля, принявшая столько слез, свидетельница последних расставаний.

Наше кладбище густо заселено дедами, и только около отца есть свободное место. Мы говорим с



матерью о том, кто из нас имеет больше прав на это последнее свободное место: я или она?

– Я лягу здесь, – говорит мать, – потому что я была его женою и прожила с ним счастливо тридцать пять лет.

– А я – его сын, – возражаю я, – на это место я имею больше прав.

– Но почему? – спрашивает мать.

– Потому, что ты была его женою: прошедшее время. А я совмещаю в себе все три времени: я был, емь и всегда останусь его сыном.

– Да, но ведь в тебе течет и моя кровь.

– Я точно знаю, сколько во мне твоей крови и сколько отцовской. Отцовской больше.

– Место – мое, – говорит мать, по-женски беспечная к доказательствам.

– Нет, мое.

Мы тихо и дружески спорим, ибо знаем: как у зверей, простых и немудрых, сейчас, на заре, обострены наши чувства; мы бестрепетно постигаем таинство смерти; оно является нам в сладчайшем образе: мы относимся к нему с покорностью и радостью, ожидая желанных загробных встреч и жизни будущего века. Относимся к отцу, как к существу живому, слышащему нас и о нас радующемуся.

Как никогда в этот час утреннего прозрения человек слышит голос бессмертия и не просто верит сердцем, а умом утверждает одиннадцатый и двенадцатый члены Символа.

* * *

Под фотографическим эмалированным портретом отца выбита надпись: «Тихо скончался на пятьдесят седьмом году жизни».

И невольно думается: «А сколько же отпущено мне?»



Вспоминаю щедрые предсказания цыган, хиромантов, гадалщиков, всматриваюсь в линию жизни, под бугром большого пальца пересеченную крестом, и это меня не пугает, не тревожит, не волнует: рождается сознание силы и трудноуловимых, но уверенных постижений. Яснее всего – ощущение общности и родственности с землей, из которой взят и в которую неминуемо отойдешь. С пасхальной радостью смотришь на всю братскую тварь: на фиалки, как на своих маленьких сестер, на яблоню, как на сестру, стоящую под венцом, на каштаны, как на пышных щеголей-братьев, на легких птиц, тоже как на каких-то родственников, более мудрых, чем мы, не сеющих, не жнущих, не собирающих в житницы. Думаешь о земле: о ее мудрости и долготерпении, о ее главном и неустанном труде, о точности ее дел; о нежности, о капризах, о сердитости, о гневе, о художественной четкости, об изящном воображении, о молчаливой и приветливой покорности, с какой она принимает и укрывает своим одеялом нас, глупых и блудных детей, пловцов и путешественников, 50-60 лет занимающихся не тем, для чего посланы в мир, и не знающих ни дня своего, ни часа.

А в темно-синее воздушное пространство из какого-нибудь скрытого резервуара все больше и больше прогрессирующими количествами накачивается душистый дневной свет, бледнеют огни – и наши в садовых фонариках, и небесные. Тысячами золотых весел бороздя восточную сторону своего синего моря, очищенного от льда облаков, выплывает круг солнца, на которое сейчас безболезненно и не щурясь смотришь глазами и видишь его величие, мощь и хозяйскую строгость. Как по команде, откуда-то раздается ля-до-соль-диз петушиного пения, что в переводе на человеческие языки означает:



– На молитву, тварь! Жизнь идет своим чередом!

И, действительно, жизнь идет своим чередом: сладостно хочется спать. И думаешь: «Хоть бы попался извозчик».

Мы уходим с кладбища, у ворот нас провожает сторож Никифор: у него сегодня – прием и большой день.

Мы идем по шоссе к Тифлисским воротам, и перед нами на возвышении, как на усеченной сахарной голове, расположен город, скромный человеческий муравейник. Ясны, как на карте, линии его улиц, дорог и площадей.

Едет на паре желанный извозчик и предупреждает нас, что сегодня он работает по двойному тарифу.

Правильно. И мы с удовольствием садимся на кожаную подушку, обшитую глубоко втиснутыми пуговицами.

* * *

Одно из кантовских доказательств бессмертия души заключается в том, что человек сам ощущает собственное бессмертие и никогда не верит в свое окончательное уничтожение.

Мне казалось, что Кант – неправ, что это ощущение бессмертия – ложно, и я хотел побороть его в себе и убить. Приезжая на лето домой, в свой город, я часто и подолгу беседовал с кладбищенским сторожем.

– Почему ты такой мудрый, Никифор? – спрашивал я.

– Могилки рою, барин, – отвечал Никифор, не то посмеиваясь над моим любопытством, не то слегка презирая его.

Однажды, ранним июньским утром, я встал, захватил с собой добрую железную лопату и отправился на кладбище. Улицы были пустынные. Спали дома, сады. Кладбищенские ворота были затворены. Спал и Никифор. Я перелез через ограду, пошел к отцу, отмерил около него, на спорном месте, три аршина, и стал рыть яму – свою могилу.

Мысль моя заключалась в следующем: «Может быть, – думал я, – когда ты воочию увидишь яму, в которую, рано или поздно, опустят твое тело, мысль о бессмертии уйдет из твоего мироощущения?»

Лопата, нажимаемая ногой, влезает в упругую землю, как в паюсную икру, скоро делается жарко, в голове и руках – задор, желание искутить Бога и разгадать самую жуткую его загадку.

Часов около восьми, когда будничным колоколом зазвонили в городе к обедне, меня заметил Никифор. С головой, еще мокрой от умывания, с полосками гребня на волосах, он торопливо подошел ко мне, почти подбежал и изумленно сказал:

– Свят, свят, свят Господь Бог! Что вы делаете, барин?

– Не видишь? Могилу рою.

– Кому?

– Себе.

– Свят, свят, свят! Что вы задумали такое?

– Ничего не задумал. Хочу сам себе заблаговременно приготовить помещение.

Умные мужицкие глаза пронизали меня и, мне показалось, снисходительно поняли то беспокойное недомыслие, которое, очевидно, сквозило в моей решимости.

Никифор перешел на иронию и спросил:

– Неужто три рублика на могильщике экономите?



– Эва! – ответил я. – Вот тебе три рублика, лети к Стребкову, принеси еды и сантуринского вина. Вместе полудновать будем.

– Не помочь ли Вам?

– Э, нет.

– Мозолики на ручках натрете?

– Не твоего ума дело. Лети стрелой и зря языком не молоти. Понял?

– Что тут понимать? – ответил Никифор. – Как в аптеке.

И оставил меня в покое.

Я продолжаю свое дело, режу лопатой какие-то извилистые, тонкие корни и к полудню соприкасаюсь с камнями отцовского склепа.

– Добрый день! – говорю я ему и бастую.

Подходит Никифор с завтраком. На три рубля он накупил тарани, зеленого лука, белорыбьего балыка, московской колбасы, завернутой в серебряную бумагу. Посмотрел на мою работу ироническим оком, но одобрил.

– Первый сорт земля тут у нас, – сказал он, – ни воды тебе, ни сырости. А вы загорели уже, красненькие.

– Печет, – ответил я.

– А ну, прилягте, примерьте.

Я лег на дно.

– Как в футляре, – посмеялся Никифор. – А ну, посмотрите в небо!

Я начал смотреть в небо: из ямы оно казалось темно-синим и по-вечернему бархатным.

– Ничего не видите?

– Ничего.

– Поройте еще на аршин, а пока пожалуйста ручку, я вас вытяну. И чего умирать, когда на земле есть такая пища.

На камне была разложена снедь: никогда такой сладостной не казалась мне человеческая пища,

вино и табачный дым. Мы ели тарань с зеленым луком, и Никифор посмеивался:

– Уж сегодня с барышнями не вот-то поцелуется: лучок.

И перед лицом смертной ямы земная любовь показалась мне такой сладостной, какой до тех пор я никогда ее не чувствовал. Меня так потянуло взглянуть в глаза той, которую я тогда любил, что хотелось сейчас же бросить и лопату, и Никифора, и, закрыв глаза, бежать на юг к итальянским озерам, где в ту пору жила моя милая.

Когда все было съедено и выпито, Никифор, с серьезными, затуманившимися глазами, сказал:

– Ну, прощайте. Трудитесь. Выройте еще аршинчик, подстелите пальтецо, чтобы не простудиться, и полежите подольше, в небеса посмотрите. Интересную штуkenцию увидеть можете.

В четыре часа, когда зазвонили к вечерне и тени деревьев удлиннились, требуемый аршин был вырыт. Я расстелил непромокаемое пальто и, усталый, не без удовольствия возлег на своей вечной кровати. Небо казалось мне определенно вечерним, а, пролежав минут пятнадцать, я изумленно рассмотрел на нем и бледный, но полный обычной торжественности и четкости звездный чертеж.

Подошел Никифор с тремя досками.

– Ну, что? – спросил он. – Видны звездочки?

– Видны, – ответил я.

– Ага! – торжествуя закончил он. – То-то и оно-то! Из могилки такие вещи видны, которые не вот-то везде увидишь.

Тремя досками мы заделали могилу.

Вечером в городском саду симфонический оркестр под управлением Розенфельда играл патети-



ческую симфонию, полную скорби и смертельного ужаса, и у меня не уходила из головы мысль: «Как жаль, что Чайковский никогда не видел звезд днем! Россия могла бы иметь Моцарта!»

Теперь в могилу, в которой я не ощутил смерти, опустили мою мать: она пришла раньше меня.

* * *

Я окончательно, раз и навсегда, осознал человеческое бессмертие и со смирением жду воскресения мертвых, жизни будущего века, и эту веру всегда подтверждаю гениальным, древнееврейским словом «аминь».

Я теперь отлично понимаю, что из одного дерева делается крест и лопата. Знаю, что история – это бездонная яма, в которую валятся дни солнечные и пасмурные, ясные и дождливые, зимние и осенние: дни Авраама, Соломона, Юлия Цезаря, Наполеона, Пушкина.

И если бы у меня, перед расставанием души с телом, нашлись силы пророка и царя Давида, то я, принося вместо миро – песнь, сочинил бы благодарственный псалом, в котором возблагодарил бы Бога за все дары земные: за любовь женщин, за дружбу собак, всегда ко мне доброжелательных, за мерный маятник бесхитростного мышления, за вино, которое веселит благочестивых поэтов, за хлеб насущный, который я ел почти со всех полей земли, за деревья, укрывающие нас в зной и дождь, за табак, сокращавший досуги.

И если бы Высший Судия, приняв мою душу, захотел бы опять вселить ее в нового человека, грядущего в мир, я бы просил об одном:

– Пусть этот человек родится в моем городе!

Неиспользованная тема

1.

В Вене в хороших кафе нельзя громко разговаривать от четырех до шести: требуется тишина для людей, которые читают, пишут, играют в шахматы. То же и в Париже, в кафе артистических. В покойной и приснопамятной «Ротонде» с восемью и до закрытия вы могли делать все, чего не запрещает полицейский устав: орать, кричать, ходить на голове, но в промежутке от четырех до шести вы должны были быть европейцем – в это время там художники, артисты, писатели занимались серьезными делами вплоть до чтения рефератов. Если же около вас заводился мешающий шум, то сначала, по слову петербургских городских, этих шумливых граждан просили честию, с улыбкой, во второй раз просили честию, но без улыбки, а в третий раз просто въезжали в морду. Тогда возникала молниеносная, так называемая бриллиантовая драка, но взыскиваемая тишина так или иначе водворялась. В этих бриллиантовых драках неперенное участие принимал метрдотель Рауль, служитель традиции и порядка: маленький и щупленький человечек в хорошо сшитой визитке, но лев в бою. После драки он часа два отлеживался на диване, приводя дыхание на лад, и принимал таблетки ипотана, регулирующего биение сердечных мышц.

В одно из таких блаженных времен кое-кто из русских служителей искусства, уже действующих или только намечающихся, слушал уже сравнительно немолодого русского писателя, затронувшего интересный для нас вопрос о неиспользованных темах в литературе.



– У всякого писателя, – говорил наш гость, – есть темы, которых он по тем или иным причинам не мог осуществить. Я, например, никогда не мог использовать тем, взятых из подлинной жизни, всамделишной, даже из собственной. Выдуманные вещи живут, а вот настоящие, действительные, протокольные, не идут, хоть волком вой. А темы есть прямо толстовские.

– Расскажите.

– Да что рассказывать? Кому это интересно? В эмиграции иссякло два ручья литературы: драматический и критический. Драматический – из-за отсутствия театра, критический – из-за отсутствия людей. Есть, конечно, милостивые государи, что-то лепечущие, но это – не критики, а, как у нас в Петербурге говорили, рецензята. Ибо что такое критика? Критика – или научная дисциплина, или вульгарное отношение к искусству. В эмиграции эта вульгарщина принесла неисчислимый вред и сбила с позиции многих талантливых людей. Есть, правда, критика настоящая, непонимающая, быть может, без научной дисциплины, но чувствующая семьдесят седьмым чутьем: это – публика, платящая свинья, как говорят ратированные французы, да поди, доберись до ней – не услышишь и не увидишь. Вот в театре – дело другое. Там на одной стороне ты со своей пьесой, а на другой – две тысячи человек, которых ты на три часа запер в тесном помещении, в жаре, в толкотне, некуда ноги как следует поставить, да еще взял с каждого из них по два с полтиной. Вот тут ты повертись! За малейший пустяк тебе прописывают ижицу. И не где-то там, на газетном столбце, а тут же на месте, в оркестре, прописывают так, что вон Чехов всю ночь бегал по Петербургу. Ах, этот театр! Чехов недаром говорил, что сцена – это блестящая, шумная и ослепитель-

ная любовница, тогда как беллетристика – тихая покойная законная жена.

Писатель отпил из высокого стакана и как-то криво ухмыльнувшись, сказал:

– Недавно читал у одного эмигрантского мудреца: выучился, говорит, писать диалоги и делает пьесы. Этот болван не знает даже той простой вещи, что выучиться писать диалоги нельзя, что диалоги лежат в люльке, и что пьеса – не собрание диалогов, а сложнейшая, головоломнейшая, тончайшая шахматная задача, и от того или иного разрешения ее зависят успех и фур. И на земле я знаю только двух шахматных мастеров: Шекспир – подобный Микеланджело и Чехов – Бенвенуто Челлини. Это вы понимаете?

– Это мы понимаем, – ответили мы хором.

– Ну а вот тайна неиспользованной темы меня самого удивляет. В чем тут дело?

– В чем же тут дело? – спросили мы, придвинувшись, как в диккенсовских рассказах.

– Должно быть, дело – в шляпе, – шутливо ответил писатель.

– А может быть в том, что есть под шляпой? – дерзко спросил один из нас.

– Очень может быть, – ответил писатель. – Очень может быть. Мсье Рауль, возобновите консомацию.

2.

– Неиспользованная моя тема, – начал писатель, – заключается в следующем. В 1910 году – и покорнейше прошу заметить именно эту дату – я в городе Санкт-Петербурге выпустил первую книжку моих рассказов, в издательстве очень знатном. Кто был молодым и кто занимался писательским делом, тот знает, что такое выпустить первую книжку своих



рассказов и в окнах книжных магазинов видеть зеленые обложечки с твердо выведенными буквами своего имени и фамилии. Карьера, святая карьера, начата, и что день грядущий мне готовит? Я пришел в «Вену», и я уже был не тем, что был вчера. Я спросил остендских устриц, «Шабли» и поглядывал по сторонам. Мой пир был замечен: «У него есть монета – минимум пятьдесят колес». Я ничего не понимал в устрицах и глотал их с отвращением. Потом мне принесли вонючего рябчика с брусничным вареньем, и я демонстративно, не допив «Шабли», спросил «Бордо». На меня смотрели, меня расценивали, как на бирже, и еще не знали, что думать. Я спросил кисть винограду и кофе-машинку. Тогда ко мне подошел босяковатый поэт и попросил два рубля. Я дал ему рубль, и он был счастлив. Потом подошел Маныч, присел к столу, глядя на меня презрительно, заказал рюмку фин-шампань и спросил:

- Книжку что ль издали?
- Да, – лицемерно скромно ответил я, – издал.
- Теперь вас там похлопывают по плечу.
- Да, похлопывают, – отвечал я скромно, при-
творясь, что не понимаю насмешки.
- Что ж? Ласковое теля двух маток сосет.
- Сосет, – скромно отвечал я.
- И, небось, рублей двести авансу взяли?
- Тысчонку, – скромничал я.
- Ну, уж это вы врете, дорогой мой!
- Чего же мне врать? – кротко отвечал я. – Что
вы мой папа или опекун?
- Ну, если тысячу, так тысячу. Давайте займы
сорок.
- Пожалуй, вы не возьмете.
- Почему это я не возьму?
- А потому что я вам их не дам.
- Угу! Ну а за коньяк вы заплатите можете?

– Могу.

– До свиданья. Мы еще с вами встретимся, – угрожающе сказал Маныч.

Я должен был понять, что он припомнит мне, на поприще критическом, мой отказ, и я сделал на лице притворный испуг.

– Маныч! Два с полтиной я могу вам дать.

– Давай.

Я долго рылся в жилетном кармане и, наконец, нашел полтинник.

– Маныч, так как я очень тебя боюсь, так вот на полтинник и будь счастлив.

Маныч взял полтинник и сказал с ненавистью:

– Я буду счастлив, но ты будешь несчастлив.

– Маныч, а я плевать на тебя хочу. И на твои угрозы. Понял? Ты – дурак, Маныч. Я бы тебе дал сто рублей, если бы ты был умнее.

– В чем дело? – свирепо спросил Маныч, готовый меня с кашей съесть. – Почему я дурак?

– Это необъяснимо, Маныч, – с кротостью царя Давида ответил я. – Во всяком случае, кто глуп, так это – надолго.

– Ах так! Ну, я тебе покажу.

– Что ты мне покажешь?

– Кузькину мать в новом сарафане.

И ушел к другому столу и там что-то возмущенно рассказывал, кивая на меня головой.

Карьера началась. Я громко спросил флакон Редерера, его принесли во льду и с салфеткой, и я призвал поэта. Мы с ним по-товарищески «раздавили» толстостенный французский флакон, и поэт заунывным голосом начал читать мне стихи об улицах вечерних, об улицах проклятых и потом начал просить об оказании протекции в издательстве. Я покровительственно ответил полным согласием.



Когда я пошел к выходу, меня догнал поэт и сказал, что Маныч говорит, что я ношу парик. Я нагнул голову и сказал поэту:

– Потяни.

И он мне сделал то, что в семинариях называется иерихонской смазью.

Это уже было вне программы.

...Почему я вам рассказываю об этом, через сорок лет, в парижском кафе? Потому что Пушкин сказал: «Роман требует болтовни».

3.

Решил уехать домой, благо подходила Пасха, и захотелось дохнуть вольным воздухом Северного Кавказа. По дороге заехал в Москву. Поезд пришел рано и после петербургских зимних темнот я увидел северное русское великопостное утро. Все иное в Москве: иное время на часах, иные носильщики, иные извозчики с узенькими фаэтонами, иные газеты с объявлениями на первой странице, театральные афиши на столбах, иные воробьи – толстые, как мельники. Извозчик потянул меня до Домниковской в мое любимое шереметьевское подворье, содержащееся с берлинской чистотой. Веселый номерной притащил самовар, масла, паюсной икры и мягкие, как кукольные подушечки, калачи. Все было весело в Москве: Москва была весела, как Париж. Я поскорее зарядился кипятком и от московской мытищенской воды, от другого воздуха, от других интонаций в разговоре, от другого темпа, от других огоньков в зрачках, от другой цены на газеты – все стало иным, приблизившимся к душе, и я почувствовал, что иду по тротуару не тем шагом, что в Питере. Вынырнул по Никольской на площадь, взглянул на Кремль, накрытый солнечным светом,

постоял в очереди к Иверской, прошел мимо Большой Московской и вспомнил, что это – любимая гостиница Чехова. Потом легким московским шагом перелетел на Кузнецкий, как крадущийся кот, пробрался мимо книжных магазинов и сразу узнал бледно-зеленую обложку и, пожалуй, в первый раз сердце мое тронуло маленькое, наивное, но сладчайшее счастье. Одно секундное прикосновение такого счастья дает вам зарядку на пять лет.

И вдруг мелькнула волнительная мысль: «А почему бы тебе не подарить книжку Владимиру Ивановичу?»

Это было не то, что страшно, но страшновато, путано и сложно. Нужно вонзиться в новую, неизвестную тебе обстановку, пробиваться по каким-то неведомым ходам, держать книжку, никому не нужную, хотя все-таки в таком издательстве, что не отмахнешься... Во всяком случае, в участок тебя за это не отправят, и ты – не институтка, робеть нечего, и ты не преysкурант несешь, а книгу рассказов, одобренных таким редактором, что дай Бог всякому. В крайнем случае оставлю ее в конторе – и дело с концом.

Подъезжаю к театру, даю извозчику на чай с таким расчетом, чтобы он поблагодарил с хорошим сердцем: каждое доброе слово, сказанное ко времени, имеет громадное значение. И извозчик говорит:

– Счастливо!

И странно, это меня подбадривает, и с замиранием сердца я иду во двор, поднимаюсь по каким-то беленьким приступкам, вступаю в тепло канцелярско-театральное, вступаю к какому-то неожиданному немецкому полковнику, который меня спрашивает, по какому делу.

– Я хотел бы видеть Владимира Ивановича.



– Да, но по какому делу?

– Я из Петербурга привез ему комиссию...

Полковник видит сверток и отвечает:

– Владимир Иванович на репетиции и освобождается минимум через час.

Я помялся.

– Я бы подождал.

– Пожалуйста. В коридоре есть диванчик.

Я прошел в полукруглый коридор и сел на диван. Никого нет. На стене печатная надпись: «Владимир Иванович ведет репетицию». У меня с детства была таинственная и непонятная любовь к таинственной жизни театра, к его закулисной стороне, к бутафории, к гримировальным карандашам, к псевдонимам актеров, к двойным фамилиям: Орлов-Чужбинин, Антонов-Смельский. Кулисы, особенно во время представления, вечером, были для меня самым интересным и волнующим местом на земле. Актриса, стоящая на выходе, с носовым платком в руках, прислушивающаяся к разговору и полагающая на грудь маленькие православные крестики, и вдруг изменившая лицо, вышедшая на сильный неестественный свет, бьющий и снизу, и с боков, и сразу похорошевшая: преувеличенность грима волшебю спала, голос напружинился и зазвенел. Только что была насупленная и серьезная, и вдруг запорхала, наполнилась очарованием, сверху, снизу, с боков – огни неумолимые, проходящие насквозь, освещающие каждую складку, а вдали – тишина, темь и в этой теми – что-то враждебное, затаившееся, требовательное, заплатившее деньги.

Я посидел немного на диванчике, потом встал, воровски оглянулся, подошел к входной двери и чуть приоткрыл ее: послышались какие-то негромкие заговорщические слова. Я вошел и присел в заднем ряду. Бестолковое освещение: то пук огня, то

ничего. На сцене боком лежат параллелограммы, ромбы, какая-то геометрия. А кругом меня – гнезда для публики, пустые и беспредметные. Глаза приоткрылись, увидел, в третьем ряду вполоборота сидит Владимир Иванович, курит и что-то говорит человеку на сцене. Человек, защищая тетрадкой глаза, смотрит на него и утвердительно послушно кивает головой. У Владимира Ивановича в голосе то ноты теноровые, то барственно баритональные: то и другое наполнено тем особенным металлом, который бывает только у людей, родившихся на Кавказе.

– Дорогой мой, – вдруг ясно услышал я, – это нужно пережить, иначе получится пустое место, штамп.

Человек начал ходить по сцене с опущенной головой и что-то думал. Вид у него был утомленный, волосы сбились, лицо без грима казалось слизанным. Владимир Иванович следил за ним и поигрывал зажигалкой.

– Вы устали?

– Устал, Владимир Иванович.

– Ну, тогда подите встряхнитесь, выпейте водки, пройдитесь по Кузнецкому, а завтра посмотрим. Роль у вас пойдет.

– Спасибо, Владимир Иванович.

И Владимир Иванович пошел прямо к моей двери.

Я встал.

– А это кто?

– Это – ваш петербургский сотрудник по «Юлию Цезарю».

– Как вы сюда попали?

– С корабля на бал.

Вышли на свет. Владимир Иванович посмотрел на меня и сказал:



– Вспоминаю вас. Вы играли сенатора в сенате и потом на ростре. Вспоминаю. Ну, пойдете, я прикажу устроить вас вечером на спектакль. Сегодня – «Дядя Ваня».

И мы зашли в бюро полковника.

– Господин полковник, вот вам клиент на вечер. Если не будет свободных мест, устройте в директорскую ложу.

– Слушаю-с, – почтительно ответил полковник и заходяще взглянул на меня.

– Ну вот, – сказал Владимир Иванович, – а теперь до свидания. Спасибо за книгу. Это – первая?

– Первая.

– Всего вас насквозь, все ваши переживания вижу. Дай вам Бог. Трудную вы дорогу в жизни все-таки взяли. А сенатора вашего я помню. Он у нас в Петербурге в «Юлии Цезаре» сенатора играл. По два рубля за вечер, правда?

– Правда, Владимир Иванович.

– Ну, до свидания. Попробуйте писать пьесы. Трудная вещь, но доходная. Вон вчера Метерлинку пятнадцать тысяч выслали.

Вечером я пришел к полковнику. Он был необычайно любезен.

– Пожалуйста в директорскую.

И сам проводил меня до двери.

– После второго акта пройдите, пожалуйста, к Владимиру Ивановичу.

– Я не хотел бы его беспокоить.

– Нет, нет, он сам просил.

– Слушаю-с.

В просторной барской ложе я был один. Театр уж не казался головой без туловища: театр был наполнен, душист, оживлен, к театру пришла его душа. И, как в небе собирается гроза, так теперь здесь собиралось что-то не малое, не совсем зем-

ное. Собрались люди то злые, то добрые, то больные, то здоровые, то впечатлительные, то ко всему равнодушные – люди, далекие друг другу, чужие, быть может, из разных городов – и вот сейчас театр начнет их вырабатывать и выработает «единые усты и едино сердце». И замечательно то, что люди поддадутся, покорятся, склонят голову. В этом – заражающая сила театра, и в этом, вероятно, его главная прелесть и очарование. Кончится спектакль, рассядутся на извозчиков, хлебнут воздух – все развеется, но три часа единых уст и единого сердца все-таки где-то в глубине отсеются.

После второго акта, несравненного, единственного, завидного до слез, я зашел в директорский кабинет. Владимир Иванович, в очках, писал и, повернув ко мне голову, сказал:

– Некогда. Буду краток. Я прочитал три рассказа. Огурец. Свежий. Ну, скажите, пожалуйста, откуда это?

– Из «Оболтусов и ветрогонов».

– Хо-хо. Он знает театр. Вы подумайте!

– А это из «Вишневого сада».

– Сам Бог его ведет – он должен умереть.

– Из «Гугенотов».

– Люди добрые, да вы театральный человек. Думайте о пьесе, черт возьми. И давайте мне прочитывать. Имейте в виду, что сначала будете чепуху нести, это – труднейшее из искусств. Потом выровняется, пойдет, а потом, может быть, и мы поставим.

– Не думаю и не гадаю.

– Дорогой мой, в сумке каждого беллетриста лежит фельдмаршальский жезл. Вы – на сто процентов театральный человек. У вас абсолютный театральный слух. Вы в Александринке всю галерку просидели. Неправда?



– Правда.

– Вы хорошо начали. Не по-крохоборски. Держите вожжи прямо. И – якши олл! Простите, но, по чину Мелхиседекову, я должен бы угостить вас в «Эрмитаже» ужином, но устал, как старая коночная лошадь. Где уж? Куда уж? А это? «Как сладко спит сияние луны здесь на скамье!»

– «Ромео и Джульетта».

– Только в театре можно так сказать. Театр – это высшее, что создал человек. Ну, до свидания, сенатор. Едете на Кавказ? Привет Кавказу.

4.

Веселый спутник в дороге стоит кареты.

Мне не нужно было веселых спутников: я сам был весел. За Воронежем уже стояла настоящая весна со всей своей девственной чистотой, с высоченным небом, с теплым воздухом, с фиалками на станции, с обещающим лукавством в глазах женщин. А в Ростове – красный борщ и турецкий хлеб, вот-вот полопаются почки каштанов. На пересадке пробежался по Садовой: книжка в окнах есть, ручей течет, день грядущий готовит что-то интересное, цыганка предсказала жизни семьдесят пять. Родился от здорового мужика и здоровой мужички, все поет, чувствую землю, воду, зверей, огонь, верую в Бога, в семидневное творение Мира, в воскресение мертвых – все ясно, все постижимо и не хитро. Молюсь словами царя Давида: «Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня». И больше ничего: и сердце и душа полны.

Свою колокольню увидел за пятьдесят верст, с Изобильной, – и сердце застучало: родной дом, родные комнаты, родная крыша – ничего нет равного в мире.

На другой день забежал к Траубе:

– Почему в окне нет книги?

– Я выписал тридцать экземпляров, и в два часа все было продано. Сегодня буду телеграфировать.

Весенний ручей течет.

Но, увы! В родном городе пахло холодом. Знакомые здороваются с холодком, друзья говорят о книге как-то вскользь, отводя глаза, а когда выхожу на народное гулянье, слышу за собой:

– Вышел поэзии набираться.

И только мой сосед, настоятель армянской церкви протоиерей Ягоянц обнял меня тепло и подружески, и это несмотря на то, что всю жизнь я аккурратно обыгрывал его в тринку.

Книжку я, как говорится, преподнес только трем: Ягоянцу, моему учителю русского языка Михаилу Платоновичу и протоиерею Розалеву. Протоиерей Розалев был заштатен, стар, добр, уютен и умен. Отец чтит его безгранично и считал пророком.

И вот, прочтя книжку, протоиерей пришел к нам. В доме поднялась суета с самоваром, с малиновым вареньем, с подогретыми бубликами. Протоиерей, старенький, в очках с толстыми стеклами, сел на свое любимое место около зеркала.

– Так-то и так-то, – сказал он, обращаясь ко мне. – Я тебя крестил, я тебя и наставлять буду. Книжку твою прочел. Конечно, для наших схоластических голов пища непривычная, но все же радость ты мне дал. Затеял ты дело нешуточное. Можно лишнее сказать, в ересь впасть, но да не будет этого. Как ни крути, а ты нарекаешься на Свет Божий жить или уже нарекса: хуже нет с родней косить. Поэтому вот что, слушай меня внимательно. Отдохни дома недельку-другую и отправляйся на Афон, под Покров Пресвятыя Богородицы. Время весеннее, хорошее, путешествие интересное, Олимп уви-



дишь и потом спасибо старому попу скажешь, что надоумил. Вы согласны на мое слово, Дмитрий Васильевич?

– Ваше слово дорогого стоит, – ответил мой отец.

– Дорогого недорогого, а тысчонку отсчитай, – сказал, смеясь, отец Василий.

– Побираться не пойдем, – сказал, тоже смеясь, отец.

– И опять вот же, – продолжал отец Василий, – раз уже ты нарекся жить, так вот что. Тебе цыганка предсказала семьдесят пять лет, и это пока еще будет, а я уже прожил семьдесят с гаком и с хорошим гаком. Так верь, что-что, а опыт у меня есть, кое-что видел: и людей, и события, и приключения... А что на исповедах слышал – одному Богу ведомо. Жизнь совсем не такова, какую мы ее видим. Только священник да еще, может быть, старый врач знают кое-что отдаленное, очень отдаленное, туманное, призрачное, страшное... Так вот, забери к себе в голову и на груди печатными буквами напиши: нет ничего на свете лучше, чем царство русское. Правление – прекрасное, только слушайся и не фордыбачь. Изменять ничего не надо: все само собой изменится и переменится. Зиму насильно с полей не сгонишь, а весна все-таки придет и сгонит снега и укротит морозы. Все подвержено росту и все своевременно подрастает: и трава, и древо, и зверенок, и человек, и общество человеческое. Поспешешь, понасилуешь – людей насмешишь, понял? Не влежай: делай свое дело, к которому Господь тебя призвал – и в этом вся задача. Есть недостатки и в государстве – но где их нет? И в республиках их много, много. Я семь лет в Париже псаломщиком был и такие вещи лицезрел, что унеси ты мое горе, быстра реченька, с собой. За чужими женами не привола-

квивайся: убьют. Убьют, как пить дадут. Чти отца твоего и мать твою – и благо ти будет и долголетен будешь на земли. А будешь на Афоне – разыщи игумена Арсения и передай ему земной поклон от меня. Вот как говорил еврейский мудрец Гиллель: «Всю правду Мира можно высказать, стоя на одной ноге». Правильно. Стоя на одной ноге. Не брезгуй моими словами: наставление старца не принесет вреда. А теперь вижу: самовар пыхтит, пряники на столе. Вкусим. Чай у тебя замечательный, Дмитрий Васильевич. И откуда это ты достаешь?

– Из Кяхты, отец Василий.

5.

Через неделю отец принес десять сотенок и армянский священник Ягоянц – еще полторы тысячи, которые он собрал среди богатых прихожан на пожертвования для бедных монастырей. Отдельно четыреста принес Муратов и наказал:

– Дашь в монастыре на паникадильные свечи. Чтоб на Духов день только мои свечи в паникадилах горели. Понял?

– Чего ж не понять?

– А это вот тебе персонально.

И протянул мне коробку больших упмановских сигар.

– Каспар, – сказал я ему, – а почему тебе надобно, чтоб непременно в Духов день?

– Много будешь знать – скоро состаришься.

Провожали меня, как когда-то в университет, всей улицей, дружелюбно, весело, хотели шампанского, но потом, вспомнив Афон, сократились. Я залез в двухместное купе, и маленький подвездной составчик затрусил по направлению к станции Кавказской. Странно: и книга отошла в прошлое.



В Новороссийске я погрузился на здоровенный пароход, и мы, по спокойной соли, как называется море у Овидия, двинулись на Одест, так русские мужики называют Одессу.

6.

Мир основан на скуке. Во вселенной, в этой танцующей красавице, царствует скука. Движение звезд, миров, – движение молчаливое, бездонное, связанное законом притяжения, похожее чем-то на паутину, – после удивления, недоумения, краткого любования начинает надоедать. Облака – всегда одни и те же; туча водоносная, восходы и заходы, всегда тот же восток и всегда тот же запад: только и разница, что сегодня восходит в пять тридцать, а через месяц взойдет в шесть одиннадцать.

*На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...*

Плавают, сегодня плавают, завтра плавают, тысячу лет плавают, десять тысяч лет плавают – величественно, грандиозно, – но дальше что? И на земле – представление в четырех действиях: весна, лето, осень, зима. И всегда одно и то же содержание. Звери безропотно подчиняются этой скуке и борются против нее только сном. Человек же в борьбе с этой скукой пустился во всякие помыслы: кафе, театры, концерты, синема, мюзик-холлы, цирки, моды, карты, науки, любовь, война, кабаки, табак, гашиш, опиум, книги, охота – все это – только борьба со скукой. И когда ничто из этого не помогает, человек кончает самоубийством или садится в сумасшедший дом и делается основателем новой династии.

Овидиевская соль была шелковиста, густа и на солнце отдавала то синевой, то фиолетом. Созданный от скуки корабль шел по волнистой груди, рассекая гущину, как проволокой – мыло. На каком-то участке – выкинулась труппа дельфинов и дала представление на следу, оставляемом сзади. Через час все красоты природы осязательно наскучили. «Хоть бы потрепало». Так писатель, желая оживить свое неклеящееся сочинение, начинает усердно вставлять пейзажи.

Публика ехала сероватая: женщин, о которых можно бы помечтать, не было. Было много греческо-подданных, любовавшихся купленными в Одессе темно-синими драхмами. Запрятав драхмы, они принимались тараторить о политике: Ненезелос, Папандопулос, Папаианну. Кормили на пароходе хорошо, с паюсной икрой на закуску, садились все за табльдот с капитаном на председательском месте. Всегда неразлучно в одном углу устраивались три купца, по виду – брательники, в брюках навывпуск, к которым не привыкли. Держали курс на Салоники, где почему-то должна была быть пересадка для едущих на Афон. Выяснилось, что брательники тоже едут на Афон.

7.

Брательники не были староверами, но были постароверски молчаливы. Старшему из них было лет сорок пять, младшему – лет двадцать восемь. Можно было держать пари, что торгуют красным товаром. Таких провинциальных купцов часто видишь в Москве на Варварке, а вечером у Омона, в дешевых местах. Салфеток они не разворачивали, а оставляли их в треугольничках, которыми вытирали губы. Рыбу резали ножом и налегали на хрен. Ни с кем не



сближались и часто проверяли задний карман, на греков смотрели с презрением, кофея не вкушали и вставали из-за стола, никому не поклонившись. Каким-то образом выяснилось, что были они из города Рославля. К моему стыду, я не знал, где и в какой губернии был этот город Рославль. Почему-то мне стало казаться, что в Ярославской. На пароходе со скукой боролся только книжный киоск, но так как в нем не было моей книжки, то он показался мне неосновательным. Продавец почувствовал мое презрение и предложил мне посмотреть порнографические карточки, но я ответил ему, что это – не занятие для людей, едущих на Афон.

Утром проснулись в Салониках. Оказалось, что нашего парохода, пересадочного, еще нет и будет он часов через шесть. Тем лучше: посмотрим Салоники. Пошел по церквям: все бедненькие, православные, и святые написаны с сильно брюнетистым оттенком, духовенство – суетливое. В лавках торгуют тоже сильные брюнеты, и когда я спросил их, какой они национальности, мне с гордостью ответили: эспаньолы. Я сел на набережной, спросил мюнхенского пива и начал отыскивать на горизонте: где же Олимп?

Вижу: справа, заложивши руки за спину, медленно идут брательники, мрачные, молчаливые. Остановились около моего столика.

– Пиво вкушаете?

– Так точно. Присаживайтесь. Знатное пиво, мюнхенское.

– Вон оно чего. Никогда не пробовал.

– А вы попробуйте.

– Почему?

– Право не знаю.

– Как же это так? Кушаете, а цены не знаете?

– А вдруг сто рублей? – сказал второй брат и засмеялся.

– Не дороже денег, во всяком случае, – ответил я, подлаживаясь под купеческий тон.

Попробовали, почмокали губами, оценили:

– Пиво стоящее.

– Не чета нашему, калинкинскому, – сказал второй.

– Не чета, да и деньгам, поди, не чета. Заплати-ка ты Калинкину восемь гривен за бутылку, так он тебе тоже предоставит.

– А что вы такой мрачный? – обратился я к третьему. Тот прилип к стакану и сделал вид, что вопрос относится не к нему.

– Помрачение нашло, помрачнел, надулся, какмышь на крупу, – враждебно сказал старший брат.

Я почувствовал, что влезаю в какую-то историю семейного порядка, и тоже прилип к стакану, и, как Санчо-Пансо, минуты две смотрел на небо.

– Не хочет к папане ехать.

– К какому папане? – спросил я.

– К нашему папане, к родителю.

– А где же ваш папаня?

– На Афоне. Схимонах.

– Ваш отец схимонах?

– Так точно-с. Очень больны папаня, проститься желают. Ну, вот и пришел депеш от настоятеля, вот и едем. Захватить бы. Восемьдесят годков все-таки, пустячки-варенички. А вот он не желает. Ехал, ехал, а теперь вот белены объелся: в одну душу назад.

Ну что тут скажешь и какое мне дело?

– Вы тоже на Афон?

– Да, – ответил я.

– Значит, Бога знаете: поувещевали бы его.

– Послушайте, – сказал я, – это вопрос такой, что...

– А вы без вопросов, а вот так по совести: должен сын отца повидать в последнюю минуту?



– Серафим Саровский сказал: «Тяжек естества чин». Тяжек. Как же не повидать? Как же не проститься?

– И чего ты вмешиваешь человека в чужую историю?

– Потому вмешиваю, что, видимо, человек подходящий. Он тоже, может быть, поклониться едет Покрову. Значит, душа есть, рассудить может и тебя от греха отвлечь, и нас от стыда.

– На мне греха нет.

– А на ком же грех? На Семен Иваныче?

– Брось молот. Замололся.

– Не замололся, а будь дома, к доктору бы тебя отвел: что, мол, и как, рассуди, батюшка доктор.

Надо было слышать этот разговор, глядя на вершину Олимпа, глядя на это щедрое синевое море, не понимающее русского языка... И эта суровая, скифская речь, и тяжелый купеческий взгляд...

– Ну, пойдемте, – вдруг сказал третий, коснувшись моего рукава. – При них не скажу. А вам скажу, как попу. Все равно вас больше не увижу.

«Вот это – темка для рассказика», – подумал я, и в голове пошли работать литературные колеса. Сразу выстроились декорации, зажглась рампа, размалевался грим, поставлен был прибор для шума волн, железный лист для грома: тема начала, как говорил Чехов, обмасливать.

Мы пошли по набережной по направлению к башне.

– Во-первых, – сказал Никон (так его звали), – не говорить ничего братьям, потому что я не хочу слухов. Скажите только папане, ежеличи спросит. И попросите у него прощения. Скажите, что мне горько было не повидать его, не приложиться к его святой руке, но ничего с собой поделывать не мог, хоть тресни. Вмешался черт в мои дела. Вот они.

И он подал мне телеграмму, написанную латинскими буквами. Телеграмма была из Москвы, до востребования. Стояла одна только строка:

– Ах, я влюблен в одни глаза. Тиночка. Теночке.

– «Тиночка» – это имя, – сказал я. – А что такое «Теночке»?

– Это я знаю: декретное слово, – ответил Никон.

Оказалось вот что: в начале поста Никон из Рославля поехал в Москву за красным товаром. В Москве какая-то Клавдия Ивановна, очевидно, придворная сводница, познакомила его с актрисенкой, приехавшей из Астрахани.

Актрисенка приехала искать ангажемента на будущий сезон и прожила дотла. Все свои тряпчонки оттащила в ломбард. И была она худенькая, тощенькая – совсем не купеческий вкус. Но, когда в отдельном кабинете, после первого вступительного ужина, она, слегка подшофе, подошла к пиано, встала к нему как-то бочком и, улыбаясь чему-то милому, запела «Я влюблена в одни глаза», то в ресторане все примолкло, и цыган пришел заглянуть в щелку: «Да хто ж это поет, хай ей в пекло?». Но самое главное было не в пении (пением мы, слава Богу, в жизни не обижены), а в том, что она кому-то невидимому как-то по-сумасшедшему улыбалась, и в этой улыбке значилось: «Тебя нет, но это – ничего, я – с тобой, никогда не отлучусь от тебя, лучше погибнуть, лучше в прорубь на Москве-реке, ты – мой хозяин ныне и присно и во веки веков».

– И вот это вдарило мне в башку, – рассказывал Никон. – Света невзвидел. Задушить эту змею, хотя какая же змея: у нас с ней ничего еще не было, первый раз в ресторан пришли, и Клавдия сидит на кухне и проценты свои хочет видеть. Ни я ей, ни она мне о любви не говорили и не клялись, да и ка-



кие тут к бесу-черту клядьбы? Кому это нужно и на какой предмет? (Никон делал ударение на первом «е»). И вот я весь, как бездонная бочка, оснастил-ся ревностью. Она клянется-божится, что никого у ней нет, а если поет и улыбается, то это фантазия, мечта, Иван-Царевич, ей-богу, разрази меня гром на этом самом месте. И на меня смотрит, но уже глазами не сумасшедшими, а этакими продувными, жульническими: эх, мол, купец, за дешевую цену ты по случаю хочешь все взять. Ан, не возьмешь, дудки-с. Душу я по другой цене продам, и тут для учащихся скидок нет. Поняли? Не знаю, поняли вы или нет, но я тогда понял, что, кажется, погиб, как швед под Полтавой. И погиб. Отец, папаня, схимонах, может быть, при последнем издыхании, а я, в двух шагах от него, пру обратно в Москву, за тысячи верст, – только напомнила она мне про песню. Да, забыл сказать: когда она эту песню кончила, то цыгана это дело, видно, заело, и он заставил свою арфистку спеть тоже этот романс. Арфистка запела и неплохо запела, но все начали кричать: «Садись, где там! Три с минусом». А к нам приходили с бокалами и поздравляли, даже к ручке прикладывались, а она – как соловей: невзраченькая, да смутненькая, а глаза опять сумом наполнились, как чернилами. Тут и Клавдия с бокалом из кухни притащилась: «Да если б я знала, что ты так петь умеешь, так я б тебя в Московский Художественный театр устроила». Я как услышал, затопотал ножищами: «Вон, – кричу, – чтоб духу твоего здесь не было, а то рюмку из тебя немедленно сделаю!»

Я слушал купца Никона и думал: «Темпераментен русский человек». А рассказ в мозгу все обмасливался и обмасливался. Да не тут-то было. Это все присказка, а сказка – впереди.

– Мсье Рауль! Возобновите консомацию.

8.

Рауль возобновил консомацию. Писатель пил белое вино с виши: напиток детский, но и это, видимо, уже как-то действовало на мозг, в котором за жизнь обмаслилось уже немало вещей. После этой сцены на набережной Салоник писатель призадумался, и мы с интересом следили за его лбом, на котором, как на экране, ходили и жили своей таинственной жизнью какие-то начертания. Тиха человеческая мысль, самая высокая загадка природы.

– И вот, – встрепенувшись и словно вспомнив что-то, начал писатель, – вот процесс творчества: книга, Северный Кавказ, пароход, три купца, Салоники, вдали – Олимп. Все это было в моих возможностях. Афон, море афонское, монастыри, монахи, службы – все это шло на удочку. Но, когда я вместе с братьями и настоятелем переступил порог кельи, когда я увидел схимонаха, уже в смертной истоме лежащего на одре, его черную одежду с белыми крестами и черепами, длинную и полуседую апостольскую бороду, руки, сохшиеся, с вогнутыми ногтями и словно с того света взглянувшие на нас глаза, я понял, что это было близко к началу воскресения, и меня вдруг охватил панический потусторонний страх, как будто бы я стал свидетелем восстания Лазаря или летописца Пимена. Купцы в страхе стали на колени.

– Папаня, мы приехали к тебе. Что ты задумал? – сказал старший сын.

Старик или ничего не слышал, или ничего не понял.

Тогда настоятель зажег толстую восковую свечку и начал освещать ею головы сыновей.

– Досифей, брат Досифей, – сказал он, – се приехали к тебе с севера дети твои. Как тебя зовут? – обратился он к старшему.



– Семен, – ответил тот.

– А тебя?

– Василий, – ответил второй.

– Се приехали к тебе с твоей святой родины сыновья твои: Симеон и Василий. Помнишь ли ты их?

Старик сделал высохшим пальцем утвердительный жест и слегка повернул голову по направлению к свече. Он не узнавал детей и сделал знак, чтобы они придвинулись. Они придвинулись на коленях. Старик поднял руку, приложил ее к лицу старшего сына, погладил его по щеке и, казалось, узнал, и улыбнулся. Потом сделал то же со вторым сыном, тоже улыбнулся и сказал:

– Этот в Дарью пошел.

Я взглянул на Василия и заметил, что в его коже есть, действительно, какие-то оттенки женской нежности. Это прикосновение к телу сынов было как бы прикосновением к своей молодости, к своей прежней силе, к своему полному дыханию: у старика воскресал слух, воскресало если не зрение, то видение – вещь сильнейшая, чем зрение, происходил процесс, которого нельзя было измерить человеческими возможностями. И, наконец, старик увидел сыновей, заплакал русскими теплыми слезами и сказал:

– Детки мои, как вы выросли! И борода уже...

– И сединка, – подсказал настоятель.

– И сединка, – повторил старик, радостный оттого, что к нему снова явилась русская земля, русский земной воздух, земной свет, составленный из солнца и воздуха.

И вдруг он вспомнил:

– А где же этот?.. еще один?.. Неужто умер?..

– Папаня, – спросил старший, – это ты уж не про Никона ли говоришь?

– Да, да, про Пимена, в честь дедушки-старовера назвали... Про Пимена, – ответил старик, смешав

имена, радостный, что язык еще складывается в знакомые и старые созвучия. – Про него.

– Никон доехал до Салоник и вернулся назад.

Эти слова нужно было понять заново, и старик долго думал и шевелил губами, и, поняв, спросил:

– Почему же так?

– Не знаю, – ответил старший. – Вот барин знает. У него с Никоном секреты были.

«Секреты», – опять что-то давно забытое и отверженное, коснулось мозга и опять надо было думать, что такое секреты и откуда они, эти секреты?

– Какой барин? – спросил старик.

– Вот этот барин, – недружелюбно ответил Семен и показал на меня.

Старик посмотрел на меня, как-то поклонился глазами и сказал:

– Спаси вас, Господи!

Когда по моей просьбе все вышли из кельи, я рассказал старику все, что мне доверил Никон. Я ждал гнева, но старик тихо и счастливо и как-то даже лукаво рассмеялся и сказал:

– Не из родни, а в родню.

На какие-то мгновенья он вышел из иноческого чина, странны были на нем черепа и восьмиконечные кресты, он явно впал в отдаленно-греховное состояние...

– И вот потому я никогда не мог написать этой вещи. Тут нужен был глубоко захватывающий плуг Толстого, и потому тема осталась неиспользованной. Понятно?

– Понятно, – хором отметили мы.

9.

Старик не рассердился, напротив, на изможденном лице его появились прежние, очевидно, черты,



далекие от ангельского сана, он снова вошел в образ купца из Рославля, расспрашивал про город, про родных, про знакомых и все время думал о том, что же, какие необходимости привели его на афонскую гору?

На другой день, после обедни Преждеосвященных Даров, он опять принял нас всех вкупе с настоятелем и сказал:

– Грешный человек, я в нашем саду зарыл в разных местах три ведра золотых монет. Вот тебе план, Семен: тут ты найдешь свое ведро. Вот тебе план, Василий: тут ты найдешь свое ведро. А вот этот план – для Никона. Вот я передаю его отцу настоятелю, и он перешлет его Никону. Обязательно «заказным», правда?

Отец настоятель утвердительно кивнул головой и с поклоном принял план.

– А когда вы найдете золото, поблагодарите и этот мой монастырь, и прекрасный наш город Рославль. Принято? Понятно?

– Принято и понятно, – ответили братья.

– А теперь идите, отдохните, а я буду собираться домой.

– Куда домой? – спросил Семен.

– Дом у нас один, на очень высоком этаже, – ответил старик и показал пальцем вверх.

– Папаня, повремени, – сказал Семен, опускаясь на колени.

Рядом с ним стал Василий:

– Папаня, повремени, охота с тобой побеседовать.

– Ну что беседа? Какая беседа? Земля еси и в землю отыдеши, – говорил старик, закрыв глаза.

– Может, тебя в Рославль перевезти?

– Не смей. Не тревожь меня от этого святого места. Здесь сопричастился, здесь и пребуду. Да бу-

дет благословен Бог над вами, дети мои родные. И Никону... мое заочное... Ему трудно, ох трудно. А теперь уйдите, буду с ангелом бороться... А вот и она вошла, стоит в углу, сейчас душить будет, но мне немного надо, немного, она уже подготовила, уже нарушены кости смиренные... Ты принес Дары, отец?

– Принес, Досифей.

– Удружи.

Настоятель с маленькой чашей подошел к одру. Мы спустились на колени.

– Верую, Господи, и исповедаю, – тихонько и быстро говорил настоятель и, вместо отца, эти слова повторял Семен.

Потом я, чужой человек, вышел из кельи. Страшно расставаться душе с телом, но все-таки бороться с ангелом человеку возможно.

10.

Жизнь – совершенно необыкновенна. Жизнь, сказал бы я, – чудачка, с какими-то волшебными возможностями. Чудачка задорная, насмешливая, презрительная. Скажите, пожалуйста, с какой бы это стороны достославный град Париж мог бы иметь отношение ко всему вышеизложенному? И через какой срок! Через сорок лет, через сорок весен, через сорок зим!

И вот. Иду я не так давно по Блошиному рынку. Для меня это самое волнительное место Парижа. Завалены груды старых вещей. Вещи плачут, думают о прошлом, о старых хозяевах. Кто умер, кто разорился, и вещь, которая имела свой угол, свое тепло, выброшена. Бог весть куда. Вы смеетесь, молодой человек? Значит, вы не понимаете того, что так тонко понимал Вергилий две тысячи лет тому назад. Вергилий оставил удивительный стих: «Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt».



За этот один стих можно отдать всех остальных поэтов со всеми их потрохами.

Одним словом, иду я по Bloшиному рынку и вижу: вот стоит лицом ко мне русское деревянное блюдо, выжженное иглой, и что бы вы думали? Моя любимая песня: «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет...».

Идет боярышня, которую все зовут Метелицей, и за ней паренек в тулупчике, с воротом, расшитым жемчугом.

Из сада русских песен это, на мой вкус, самая лучшая. И рисунок сделан Елизаветой Бэм. Подпись есть. Какая-то металлическая дощечка привинчена вверху.

– Дядя! Сколько же стоит твое блюдо?

– Восемьсот франков, мсье.

Это блюдо стоит много тысяч, но дело в том, что у меня в бумажнике есть только шестьсот.

– Дядя! Бери шестьсот.

– Племянник, – отвечает дядя, – иди дальше, и ты что-нибудь найдешь на шестьсот. А это стоит восемьсот. И по глазам твоим вижу, что ты знаешь, что это стоит восемьсот.

– Конечно, стоит, – говорю. – Но дело в том, что у меня есть только шестьсот. Как на грех только что купил пачку билетов на метро.

– А тебе необходимо ездить на метро? Ты пешком не мог бы ходить?

– Слушай, дядя. Ты брось свой хохмес и отдавай за шестьсот.

– А ты – не еврей?

– Нет.

– Откуда же ты знаешь хохмес?

– Знаю, да и все.

– Ну, раз ты знаешь хохмес, бери за шестьсот и лети пулею, чтоб я не раздумал.

И я, действительно, полетел пулею, чтобы русское блюдо поскорее очутилось в черте недосягаемости.

Целый вечер я смотрел на это прекрасное русское блюдо, на котором подносили хлеб-соль. Потом меня заинтересовала почерневшая металлическая дощечка. Я взял на тряпочку состав для просветления, потер, дощечка сделалась серебряной, и я легко прочитал каллиграфическую надпись: «Благотворителям Василию, Семену и Никону Пименовичам Комаровым от благодарных граждан города Рославля. 1910 год, 3 декабря».

Всю ночь я не мог заснуть.

Невидимый режиссер устроил в этом месте паузу. Потом один из нас спросил:

– А где ж теперь это блюдо?

– У меня, – ответил писатель, – стоит на самоваре.

– А не хотите ли вы продать?

– Продать? Метелицу?

И писатель лёгоньким тенорком тихо запел:

Вдоль по улице метелица метет,

За метелицей мой миленький идет...

И мы все тихонечко, совсем тихонько, взяли:

Ты постой, постой, красавица моя,

Дай мне наглядеться, радость, на тебя...

Час для пения был незаконный, но что поделаешь, когда песня льется из души?

И действительно, сейчас же из-за колонны слышалось слащаво-вежливое:

– Господа, вы поете, как ангелы, но мы тут играем в шахматы на интерес, и вы нам мешаете.

Но писатель этого или не знал, или не слышал и продолжал петь, поворачивая в такт ладонью:

Исушила, добра молодца, меня...

И вдруг из-за колонны послышалось:



– Эй вы, певцы из Палермо! Вы продолжаете ваше концертное отделение? Или вам нужно прочистить уши гвоздем?

Вокруг нас, как ворон в своем черном сюртучке, закружил Рауль с симптомами приближающейся бури на лице.

Нам было жаль глубокоуважаемого писателя, который мог подвергнуться совершенно непредвиденной опасности, и мы сдавили свои болезненные самолюбия. Песня стихла.

– В восемь часов споем, – решили мы, а пока что возобновили консомации.

Страдивариус

1.

– У вас нет комнаты? Ну, уж это ерунда, – сказали в русском ресторане.

И, пока я доедал рис-императрис, комната мне была найдена, и ключ тюремных размеров лежал около кофе. Когда-нибудь монах трудолюбивый, который возьмется написать историю русской эмиграции, даст главе о русских ресторанах очень значительное место.

Начало августа. Жуан-ле-Пен переполнен до отказа. Вы, в вашем смешном городском костюме, как зачумленный, целый день волочились по отелям, а тут в два счета, у вас – и крыша над головой, и проточная вода, и какой-то шкапик, и чистая постель, и стол, покрытый бархатной скатертью: вы – кум королю. И все это, как говорят большевики, – по благу.

Комната выходила на маленький пустынный двор, против жили старички, муж и жена. Старички сами делают кухню и кушают на дворе, на воль-

ном воздухе. Невольно наблюдая их приготовления, вижу, что старик держит печеночный режим, а она боится расползеть. Несмотря на шестьдесят, она – еще женщина: красит вялые губки, придает волосам вздыбленный вид, носит кокетливые пеньюары. У нее – прекрасный несгорбленный рост. Все понимает, но уже по старческому быстрому пониманию: быстро, на глазок, прикидывает цену и вещам, и людям и эту цену глубоко запрятывает в голову. Глаза у нее – темные, интересной посадки, но с выцветинкой, и только на солнце видишь, что лицо – в паутине. По торжеству, спрятанному в зрачках, догадываешься, что глазами она когда-то «брала». Старичишка – простоватый: что-то и от Менелая, и от пушкинского рыбака, сбрившего усы и бороду. Едят они больше зелень, иногда – сардины, вино пьют с водой, причем старик льет воду с явным презрением, а старуха снисходительно следит за ним, чтоб не мошенничал. Иногда, придерживая бутылку над стаканом, он вопросительно прищуривается, но не получает снисхождения. После обеда она идет отдохнуть, а он, явно несытый, закуривает трубку и всегда говорит, косясь на мое окно:

– Безумен тот, кто думает, что трубку можно разжечь одной спичкой.

Сделав первые три затяжки, самые вкусные, он достает ящик с какими-то диковинными столярными инструментами и начинает работать. Он давно уже начал делать скрипку. Тело скрипки держит крепко, упирая его на грудь, и дерево режет дьявольски-острым ножом, дающим округлые стружки. Иногда лезет за справкой в старинный, века восемнадцатого, чертеж и на весь двор сопит, разглядывая его. Потом сам что-то рисует, сравнивает, удивляется, разговаривает сам с собой, разво-



дит руками, иногда сердится и сам себя посылает к чертовой матери. Этим он интригует меня выше головы: я всегда любил такие вещи, как астрология, делание таинственных скрипок, отыскание философского камня, изобретение новой карточной игры.

Иногда старик, прислонив отструганную дощочку к уху, щелкал по ней пальцем и слушал, как слушают медь, сплавленную с серебром, иногда он брал бритвенный ножичек и отстругивал крошечную стружечку и опять слушал, и опять отстругивал, а раз, обрезавши палец, всю кровь, густую, старческую выпустил на дерево, втер ее и опять слушал. И тут он оставался один на свете, как писатель в три часа ночи.

«Не иначе, как старый черт ищет секрет Страдивариуса», – думал я, завидуя его поискам и вдохновению.

Дня через три мы по-соседски переговаривались через дворик, и по некоторым неуловимым признакам я начал понимать, что в старичках есть какая-то особенная статья, что оба они мазаны особенным миром, но в чем дело – не мог уразуметь. В скрипке, в старинном чертеже, в стамеске с замысловатой ручкой – было прикосновение к такому благу, которое дается не всем. И было еще ясно, что создание скрипки – это создание не рыночной, оркестровой скрипки, а создание средневековой поэмы, мучительство, чудачество, философский камень.

От скрипки и пошло наше знакомство. Чтобы пленить старика, я соврал, что в России мне по наследству однажды достался Страдивариус.

– Где же он теперь? – спросил взволнованно старик.

– Там же в России и остался, – ответил я.

– А около него кто-нибудь есть?

– Никого, кроме ангела-хранителя.

– Если ваш ангел играет на скрипке, я хотел бы послушать, – ответил мрачно старик. И потом пустился в разговор о старинных мастерах.

– Я не понимаю, – говорил он, – почему Страдивариус затмил своих предшественников и учителей Амациусов? Из всей кременской школы его скрипки – самые маленькие. Спора нет – в них ослепительный звук, полновесный и густой. Они – очень крепки по дереву, но подставочки – слабоваты, коротки, быстро оседают и не выдерживают напора струн. Все исправления бесполезны и только портят инструмент. Я уже не говорю об Иосифе Гварнери или об Альвани: они пороку не выдумали и шли по стопам старых мастеров, в частности, по системе Николо Амати.

И тут старик отложил работу, слегка порозовел, выпрямился, мысленно поискал слов, разжег последний запас блеска в глазах и почти воскликнул:

– Но Амати! Но Амати! Самый старый и первый – Иероним Амати, создатель кременской школы. Его скрипки – круглы и красивы, собственно даже не круглы, а в совершенстве округлены. Вырезы – широки и отлично нарисованы. Особенно хорош у него 1615 год. Если кто-нибудь скажет вам, что есть что-нибудь лучше этого, плюньте ему в рожу: на суде я отвечаю за вас. У него впервые дерево запело. Потому что дерево может петь. Надо только умеючи и с молитвой подойти к нему. Дерево поет, и лес – это оперный хор. И как этот хор поет! Что Сикстинская капелла?! Ерунда! Мираж! А после Иеронима появился Николо, сам Николо.

И старик, захлебываясь, пропуская час купания, час самых благодетельных, почти вертикальных лучей, рассказывал о своих богах, называя их то Амациусами, то Амати.



– И почему это все ушло от нас? – спрашивал он, разводя руками, – как будто образованность растет, университетских кафедр как грибов в лесу, и люди набивают мозги черт его знает чем, но откуда эта тупость в мире, баснословная тупость, гомерическая тупость, непроходимая, как болото? Куда отлетел Дух Святой? Дух Святой из Кредо, из восьмого члена?

В голове старика было столько призывной страсти, что мне вдруг стало ясно, что вся наша несчастная замученная, заматавшаяся Европа запела бы «Царю Небесный», если бы знала эту греческую чудесную призывную молитву.

– А скрипки вы делаете на продажу? – спросил я.

– Вот и вы ничего не понимаете, – обидчиво и холодно ответил старик, отвернулся и вдруг закричал: – Никакие продажи меня не интересуют! Меня интересуют старые секреты, ищу исчезнувшего ума, исчезнувших догадок, исчезнувшего мастерства. Понимаете?

– Как будто понимаю, – скромно ответил я.

– Ну и это уже слава Богу. А теперь идите на море и ловите ваши вертикали.

– А может быть было бы проще копировать тех же Амациусов и Страдивариусов? – спросил я, желая возвратиться к вкусному разговору.

– Увы! – примирительно ответил старик, – копия ничего дать не может. Копия не поет. Самая точная копия молчит. Секрет в духе.

Старик подал мне кисет и бумагу и явно наслаждался, когда я неуклюже, с неровными боками, скручивал папиросу.

– А я вот, – торжествующе говорил он, – беру ту же самую бумагу и тот же самый табак и делаю не вашу холодную макарону, а конфетку...

И я завистливо думал, что и вправду в этом старом черте где-то таится настоящее, загадочное мастерство. Мастерство во всем: в манере смотреть, в манере шевелить пальцами, ломать хлеб.

– Вы мастер, – сказал я.

Он ничего не ответил, но догнал меня у калитки, пожал руку и шепнул:

– Спасибо на добром слове. Ваша рецензия мне понравилась. И я только несколько дней спустя понял, почему он взял слово «рецензия».

2.

Кругосветные плователи называют Средиземное море лужей, но все-таки лужа – большая, волна насквозь синяя, с белым гребешком и бьется сильно. Приятно идти к луже в купальном халате, чувствуешь присутствие на земле счастья, любви и в себе – древнего человека и жалеешь тех, что в Париже и с галстуками. Действительно, Дух Святой ушел из Европы.

– Царю Небесный, Утешителю, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в мя... Пошли старику силу – найти секрет. Пусть запоет дерево. Послушаем его песни.

В городке была итальянская лавочка, в которой продавали отлично приготовленную пищу: всяческие закуски, жареных цыплят, ростбифы, колэн в майонезе и тому подобное. Здесь же стояли соблазнительные плетеные фиаски с подлинным флорентийским кианти. И, когда старик начинал жаловаться своей жене на скудость и однообразие его еды, я приглашал его в ту сосновую рощицу, в которой стоит знаменитый отель «Провансаль».



«Провансаль» был переполнен богатым англосаксонским людом, который в час дня стекался на завтрак. Богатые купальные халаты, соблазнительные дамские костюмы от Диора, каша английской речи – все это стекало в столовую «Провансаль» и в рощице мы оставались одни со стариком. Развалившись в длинных цветных креслах, мы разворачивали наши свертки и начинали есть баклажанную икру, ниццкий рататуй и жареных холодных цыплят. Каждый тянул из своей фляжки терпкое вино, а в отель лакейство проносило дыни на льду и красных омаров. Но мы не завидовали: у нас тоже все было вкусно и обильно.

Потом мы засыпали, то есть вернее засыпал я. Старик бодрствовал и, когда я, проснувшись на мгновенье, замечал, что он лежит хотя и с закрытыми глазами, но не спит, то он отвечал мне:

– Вы – простофиля. Неужели вы не слышите, как деревья поют? И как в сексту им вторит море. Дорогой мой, наспитесь в гробу, а жизнь – коротка и полна чудес. Надо будет отпустить себе бороду. С бородой слышнее. Волосы бороды, ведь это – чудеснейшие антенны. И Сократ, и Платон носили бороды. И, если бы я мог носить бороду, я бы давно уже нашел секрет: уверяю вас.

– А кто мешает вам отпустить бороду?

– Кто мешает? Старуха мешает. Враги человеку домашние его. Вот кто мешает. Ей нужно, чтобы я был бритым. Считает, дура, бороду неприличным. Стойте, молчите. Ох! Вот вступило море. Море держит басовую партию. Левая сторона рояля. А у сосен листьев нет, работают колючки, и это напоминает человеческие ударные инструменты, вроде венгерских цимбал.

– Я ничего не слышу.

– Прочистите ваши уши гвоздем. Спите и не мешайте своим скифским голосом. Концерт сосен и Средиземного моря.

– Какое же это море? – сонно отвечал я, – Это же лужа.

– Молчите или иначе палкой раскрою вам голову.

Я и рад бы не спать, но сон, что называется, налезал мне на голову, сжимал ее бархатными щипцами, крутил в мозгу и показывал мне то Ивана Великого, то какую-то крысу, которая говорила мне с украинским акцентом:

– Та я ж из «Ревизора». Та я снилась городничему.

И я, вероятно, смеялся, потому что долетели слова:

– Размозжу тебе голову, Калибан треклятый!

И когда я окончательно просыпался, то видел, что все шезлонги были заняты храпевшими англосаксами, но похрапывал и мой старик, похрапывал блаженно, по-детски. Я смотрел на него и видел, что в его бритом священническом лице было что-то латинское, от бассейна средиземноморского.

Мой браслет показывал без четверти пять, а отпущены мы были только до пяти. Тогда я брал у него из рук палку и кричал ему над ухом:

– Просыпайся, Страдивариус! Иначе – по черепу.

Он просыпался, пристально смотрел на меня, секунд через десять начинал понимать обстановку, смеялся как-то особенно, и я думал: «Знакомый смех. Кто еще так смеялся? Положительно знакомый смех».

Я никогда не лезу к людям с расспросами: кто вы, и что вы, и откуда вы?

Это – неинтересно, но в старике и именно в его смехе я почувствовал и какую-то искусственность, и что-то знакомое.



Чехов был прав, когда говорил:

– Так смеются генералы в водевилях.

А старик говорил со счастливой улыбкой:

– Спать-то я спал, но плодотворно спал. Теперь я окончательно понял, где нужно соскоблить стружечку. Маленькую, легонькую, как пух, стружечку. Стружечка маленькая, а может небеса притянуть. Небеса, небеса – вот эти, смотрите ввысь.

Небеса были высокие, синие и пространные.

3.

Я любил смотреть из окна в окно, как старички собираются вечером на променады. Лампа с потолка освещала всю комнату, темноватую днем. И странное дело: не только она, но и он, мой Страдивариус, любил вертеться перед зеркалом. Иногда они спорили из-за места и отталкивали друг друга локтем. Старик приминал поля шляпы, чтобы она придавала ему лихой вид. Он делал бодрые глаза, смотрел на себя в три четверти и иногда даже старался выпустить на лоб небрежную прядь волос: увы! Седые, они уже не давали удалого вида – он понимал это и с грустью снова заправлял их под шляпу. Принарядившись, юноша выходил на двор и, постукивая палкой, терпеливо ждал свою старуху. Палка у него была с набалдашником, изображавшим гаремную женщину в роскошной позе. Портсигар его был усыпан замысловатыми монограммами и, закрываясь, щелкал на весь двор.

Старички никогда не появлялись на набережной, а всегда сидели под пинией у Грандотеля. Это был какой-то такт по отношению к шумному, беззаботному и молодому Дон-Жуан-де-Пэю. Они уже вышли из цепей моря, звездного неба, серенад и лунных путей на воде. Этот такт, это мудрое смире-

ние мне очень нравились. Как, впрочем, нравилось и то, что она густо пудрится, мажет губы кармином и все-таки не может замазать на них поперечных морщинок. Однажды на дворике, перед вечером, появился граммофон. Страдивариус, таинственно улыбаясь, вынес чемодан, полный пластинок. И как только я расположился на своей террасе с чаепитием, так сейчас же на противоположном пороге появилась старуха и кокетливо спросила:

– Не помешает ли вам наша музыка? Жизнь течет так монотонно, что немножко веселья никак не помешает.

– О, что вы! Пожалуйста.

Старик сейчас же захлопотал над машиной, как над самоваром: наставил трубу, покрутил завод и с величайшей осторожностью наложил пластинку. Граммофон начал с каких-то несуществующих в природе звуков, перешел в прыгающую хрипоту и из хрипоты выпустил тоненького, с кошачьим налетом, тенора. Тактов через пятнадцать можно было сообразить, что тенорок поет из «Перикола» первый акт, песенку о завоевателе, который молвил индианке.

Привычка к театру сразу нарисовала мне этого тенорка, затянутого в розовое трико, маслянистые усики и бреньканье на гитаре по отсутствующим струнам. Темп такой, что сбиться не может даже верблюд, тенорок перепрыгивает с ножки на ножку и ни разу не взглянет на женщину, которой он сыплет свои блестящие уверенья: он, он и только он один в мире имеет свои две минуты на сцене и ляжет костыми, но не уступит ни одной нотки ни отцу, ни матери, ни ангелу-хранителю.

Но вот он кончил, оркестр проиграл незамысловатый отыгрыш, наступила очередь Перикола. Она вступила с вкрадчивой мягкостью, зазвучал го-



лос, сделанный из драгоценного материала, и стало ясно, что ее, эту певицу, обожает дирижер, затягивающий фермато, незаконно, но для ее выигрыша; ее любит оркестр, подтягивающий и смакующий каждую нотку, ее любит и публика, ради ее имени наполняющая театр. Она – хороша, молода и сделана из любовного теста. Из высоких нот у нее, на этот раз, была только ми, но за этим ми чувствовалась еще одна целая октава, легкая и призрачно окрашенная. И как раз после этого взлета на ми произошло следующее: старуха поднялась и сказала:

– Перемени, пожалуйста, пластинку и поставь что-нибудь другое: после Розалии Ламбрехт, после Симон Жерари слушать эту вульгарную бабу невозможно. Терпеть ее не могу.

Страдивариус охотно бросился к граммофону, остановил его на полуслове, а я позволил себе заметить:

– А мне она очень понравилась. Я бы с удовольствием послушал сцену опьянения.

– Можете слушать, что угодно, у нас есть весь ее репертуар, но меня это раздражает, я пойду прилягу. В воздухе парит, пожалуй, соберется гроза.

И ушла в свою комнату.

Страдивариус вдруг развеселился и лукаво подмигнул:

– Она когда-то была влюблена в тенора и ревновала его к этой певице, – сказал он и вдруг по латыни, но с французскими окончаниями, добавил: – Индэ ира. Старые раны горят.

Страдивариус наклонился к стопке пластинок, похожих на черные блины, начал искать, нашел и опять лукаво подмигнул:

– Как раз то, что вы хотите. Сцена опьянения! – таинственно зашептал он, переменял иголку и опять пустил граммофон.

После обычного скрежетания, что-то в трубе прочистилось и из небытия снова полился тот же теплый и лукавый голос:

Ah, quell diner je viens de faire,
Et quell vin extraordinaire!..

И сцена опьянения началась.

И когда это очарование окончилось, я имел глупость сказать:

– Может быть, это на ваш французский вкус и плохо, но даю вам честное слово, что эту певицу я пошел бы пешком слушать отсюда в Лион.

Старик саркастически покривил губы и спросил:

– Не слишком ли это далеко до Лиона пешком? Может быть, сели бы в поезд?

– Если бы подвернулся поезд, сел бы в поезд.

И в это время, отдернув испанскую шаль, которой было завешено окно, появилась старуха, внезапно и странно помолодевшая.

– Не слушайте этого болвана! – с презрением сказала она, – Повторите ваши прекрасные слова.

– Какие слова? – недоуменно спросил я.

– А вот насчет Лиона. Что вы пешком пошли бы в Лион, чтобы послушать эту певицу.

– Да, – повторил я, – я пешком пошел бы в Лион, чтобы послушать эту певицу.

– А если бы она пела в Париже? – кокетливо спросила помолодевшая и похорошевшая старуха.

И тут только я заметил, что старуха прибавила и освежила свой грим.

– И в Париж пошел бы. Когда мне что-нибудь нравится, я расстоянием не стесняюсь.

– А что вы думаете о теноре? – спросила старуха.

– Разве это – тенор? – ответил я. – Это – теноришка. Тринадцать на дюжину.

Старуха рассмеялась и снова спряталась за испанскую шаль.



– Щедрая страна, эта ваша знаменитая Россия! Тенора – дешево, а долгов не платите. Всю Францию разорили, – сказал с раздражением Страдивариус и начал укладывать граммофон в специальный футляр.

Я позвал старика пить со мной чай – отказался. И вообще, был сердит: сопел, ругался, ворчал, не смотрел в мою сторону, шаркал подошвами по цементной выстилке двора и вообще был совсем чужой старик.

И тут случилась такая вещь, что мы оба окаменели.

Тихо отодвинулась испанская шаль с вышитыми мясистыми розами, и в сених показалась женщина, преобразившаяся старуха. Может быть, это была и старуха, но она вся была, как рефлекторами, освещена огнем бриллиантов, которые волшебным образом вонзили свои лучи и молодили ее потускневшую кожу, разгладили морщины, возвратили глазам их прежний задорный блеск. Было что-то жутковатое, гоголевское, в этом воскресении из мертвых, в «Лазарь, встань!». Пальцем, унизанным сверкающими камнями, старуха указывала на уши, на грудь, на запястье левой руки, и торжественно говорила:

– Сан-Петербург, Невски, Морская, Фаберже, землянишни гато, Александриски, Мариски...

И мы со стариком очумело смотрели на это представление... Потом старуха притворно-чувственно, вызвав из могилы давно забытый жест, откинула голову, замаслила счастьем глаза и запела:

*Ah, quell diner je viens de faire,
Et quell vin extraordinaire!..*

Стало ясно, что в граммофоне пела она, обаятельная когда-то Перикола. И мне поразительно вспомнился моцартовский клавесин, который я

когда-то видел в Зальцбурге, в музее. На клавише не стояла дощечка с надписью «Трогать строго воспрещается», но в музее никого не было, сторож спал в первой комнате, я нагло прикоснулся к пожелтевшей клавише и раздалось до, которое слышал когда-то сам Моцарт. За этим роялем был написан «Дон-Жуан».

И вдруг за французскими словами старуха запела по-русски:

*И вот я готова, готова, готова,
Об этом ни слова,*

Тсс! Молши, молши, молши...

Старик растерялся и стоял, как вкопанный, с граммофонной трубой в руках.

– Зачем ходить пешком в Лион, когда Лион пешком пришел к вам? – сказала старуха по обыденному и через секунду снова очутилась на сцене, простерла руки к какому-то восторженному видению и уже не нам, а себе говорила: – О, Сан-Петербург, о Зимни Буфф, о, моя единственная любовь, я уже лежу в могиле и вспоминаю тебя, и люблю... Что Париж? Что Лион? Все это – маленькие дети.

– А все-таки десять тысяч золотых франков у тебя украл твой Сан-Петербург! – сказал ядовито старик.

– Десять тысяч золотых франков? – повторила старуха, нагнулась и достала какие-то бумаги, потрясла их и порвала на мелкие части.

– Вот твои десять тысяч золотых франков!

Порванные облигации покатались по цементному двору и старуха обратилась ко мне:

– А вы, когда будете в Сан-Петербурге, скажите: «Так французская актриса ничего не жалеет для Сан-Петербурга. Все равно она его любит, и помнит, и забыть не может. Землянишни гато...».



Старуха скрылась, и вдруг через секунду на двор вылетел старенький чемодан.

– Пошел вон! – кричала она, – и чтоб мои глаза тебя больше не видели! И вот – твоя скрипка...

Старуха хотела, было, и скрипку выбросить на двор, но в последнюю минуту подумала и положила ее на подоконник.

– Возьми ее! – повелительно сказала она.

Старик взял скрипку, как ребенка, и прижал ее к груди. И сказал:

– Я уже увидел красное перед глазами. Я бы задушил ее немедленно. Моя мать на том свете еще молится за меня. Куда же я пойду теперь?

– Идем ко мне, – сказал я.

– К вам? – переспросил он с ненавистью, – Нет, к вам я не пойду.

– У меня есть диван...

– Черт с ним, с вашим диваном!..

– А куда же вы пойдете?

– Пойду на набережную, под казино. Я вас попрошу только побережь мою скрипку.

– Но почему вы на меня сердитесь?

И старик вдруг заорал:

– Тринадцать на дюжину? Тринадцать на дюжину, черт вас возьми.

И потом тоном самоубийцы добавил:

– У вас есть папиросы с полновесным никотином?

– Есть. Но вам же вредно.

– Плевать! Завтра куплю двадцать пакетов и выкурю их в один день. Буду каждый день выпивать по три литра вина и неразбавленного, черт возьми! Заберусь в «Маскоту» и буду сидеть там три дня и три ночи!

– Так это ваша супруга пела «Периколу»?

– А вы до сих пор не в состоянии были догадаться? И этот теноришка, тринадцать на дюжину,

был я, черт возьми! Я этого никогда вам не прощу. И на том свете поймаю вас за горло и буду душить, душить! Кр-ритик, черт вас возьми, кр-ритик!.. Камень бы вам на шею и в воду, в воду... В лужу!

Я повел речь об ошибках публики, о том, что и «Кармен», и «Фауст» провалились на первых представлениях, но это потом не помешало им стать любимейшими операми мирового репертуара и так далее, и так далее. Я говорил с фальшивой убедительностью, и странно: это успокаивало старика, и он согласился переночевать у меня.

Когда я просыпался, то видел: старик не спит, курит и даже в темноте взгляд его, как из маяка, излучал лучи бешенства.

4.

Когда на другой день я проснулся, старика в комнате уже не было. Выглянув осторожно в окно, я увидел, что он и старуха, в самых мирных расположениях, оба сидят на своем обычном месте, кушают маленькими глоточками кофе и старуха говорит:

– Ну что он понимает этот метек? Чего ты это так близко принимаешь к сердцу? Он должен есть сальные свечи и больше ничего,

– А ты ела сальные свечи, когда гастролировала в Петербурге? – спросил старик.

– Нет, не могла. С души воротило. А ты с твоим голосом, с твоим тембром мог бы быть Мазини, Тамберликом, но надо правду сказать: тебе не везло.

– Да, мне не везло, – ответил старик и вздохнул, – мне никогда не везло!

– Все на свете ерунда! – подумал я словами из русского ресторана.

Кстати, откуда пришло в наш язык это слово? Может быть, от латинского герундия, герундива?



Четырнадцать стариков

В Сен-Клу, в нижнем парке, где в сентябре месяце строится ярмарка, есть скромная красная будка, на которой прибита вывеска: «Игра в шары!».

Неподалеку от этой будки, между деревьями, на расчищенной дорожке в эти шары играют старички. Похожи они на тех старичков, которые тоненькими тенорками поют во втором действии «Фауста». Игроков и постоянных зрителей всегда бывает четырнадцать. Заскакивают, конечно, и случайные зеваки, как-то: загулявший рабочий с воспаленными глазами и крепким перегаром изо рта. На такого старички смотрят с завистью:

– Почки и печень в исправности.

Иногда заходит влюбленный юноша с блуждающими глазами, потрясенный тем, что она не пришла на свидание.

Тогда старички живо говорят между собой:

– Экий дурак!

– А все-таки жаль, что нам такой глупости уже не испытать.

– Просил бы вас говорить только о себе.

– А вы, Шевалье?

– Я о себе не люблю разговаривать.

– Не рисуйтесь, Шевалье, вам 63 года.

– У моего отца в 65 лет был ребенок.

– Тогда у вас лошадиная порода, Шевалье.

Весь мир составлен, как театральная труппа: любовники, комики, герои-резонеры, простаки, благородные отцы, неврастеники. Все умирает и отмечается. Не умирает только одна страсть: игра.

Одного старичка, того, что пощеголеватее, красит усы, носит белые брюки, зовут Шевалье, другого – Жозефом, третьего – Коко и т. д. Думаю, что все это знаменитые французские рантье. Всю жизнь

они, как Коперник, трудились, нажили к 55 годам капитал или пенсию и теперь живут на проценты, играют летом в шары, пьют виши и смиренно ждут смерти. Это – трупы, отпущенные в отпуск.

Один из них, по моим догадкам, служил в управлении железных дорог, ибо всегда ужасается катастрофам и ругает министров общественных работ. Другой был чиновником Лионского Кредита: всегда предсказывает денежные курсы. Третий торговал в лавке: развязен... Четвертый занимался аптечным делом: от него пахнет клеенкой. Пятый – домовладелец: во время игры к нему приходил сборщик, чтобы получить страховку.

Домовладелец – это Коко.

Маленький, седенький, шустренький, чистенький, одетый в синий костюмчик, он был игроком самым слабым, но игру любил до самозабвения – перед тем, как пустить шар по земле, он страшно волновался, долго прицеливался, озабоченно менял места и если не попадал, то всегда был потрясен внутренней бурей: красный, как рак, садился на свой стул, чмокал беззубыми челюстями и всячески старался скрыть свое волнение.

Но, увы, партнеры были безжалостны, подтруниванье шло невыносимое, и тогда Коко яростно огрызался:

– Пожалуйста, без критики, – говорил он, – не забывайте, что из моих святых Сильвестров можно сделать девять недель.

И отворачивался в сторону, явно страдая. Он был похож на поэта, которому возвратили рукопись.

Старики, как и дети, жестоки.

Особенно жесток был партнер в канотье, с деревянной ногой. Он был самый молодой среди них, ветеран боксерского восстания: когда какой-нибудь шар прикасался к другому, он непременно заводил песенку о петушке и курочке.



В начале этого рассказа была допущена фигура умолчания: в числе постоянных зрителей игры почти всегда бывал и я.

Что делать? Одна талантливая актриса говорила мне, что она не любит Сен-Клу, ей кажется, что и самый парк – нарочитый, и воздух в нем нарочитый и т. д. Но я, не мудрствуя лукаво, люблю этот огромный сад, люблю отсутствие в нем фруктовых деревьев, люблю очаровательную поляну, на которой когда-то стоял охотничий павильон короля, люблю фонтаны, твердо вырезанные в земле талантливой рукой, люблю и этих стариков, разгоряченных недавним завтраком и таинствами игры.

Уже остыли темпераменты, плохо работают желудки и печени, пошаливает сердце. Вид проходящих женщин не волнует, вина без виши пить нельзя, волосы присыпаны мукою, коллекция виденных лиц – огромна, память перегружена, ревность смешна. Остался один страх: не умереть с голода. Поэтому старички бережливы и скуповаты. Кому платить за проигранную партию – забота.

Прислонившись к дереву, покуривая, я смотрю и на скромного Жозефа, и на достойного, породистого Шевалье, и на мученика Коко, и даже запомнил мотив песенки о курочке и петушке.

Неприятно видеть старика глупого, но невыразимо очаровательно – видеть старика, которого волнуют превратности, искусство и счастье игры.

Однажды Коко сделал на редкость неудачный косолапый удар: шар его стукнулся о дерево.

Кто-то крикнул:

– Зажгите спичку.

Другой поддержал:

– Зажгите свечку.

Третий сказал невыносимую вещь:

– Ему нужен целый костер из сухой соломы.

С Коко сделалось почти дурно, он выпил кофе, которое всегда носил с собой в термосе, вытер глаза и продолжать игру отказался, пояснив, что в желчном мешке у него со вчерашнего дня проходят камни, и он поэтому не может отвечать за правильный прицел.

Произошло замешательство: не хватало игрока. Компанию охватило уныние. Началось совещание. К совещавшимся подошел Коко и что-то посоветовал. Я заметил, что Жозеф и Шевалье одновременно и как будто нечаянно взглянули на меня. В результате с большой и доверчивой улыбкой ко мне подошел Коко.

– Monsieur, – сказал он, вежливо снимал каскетку и показывал свою серебряную голову, – я и мои друзья, хотя и незнакомы с вами, но часто имеем удовольствие видеть вас наблюдающим нашу игру. Сегодня со мной случилось несчастье. Вчера на ночь я забыл принять обычную дозу прованского масла, и сегодня в желчном пузыре у меня началось беспокойство камней. Не играете ли вы в шары, и если да, то не согласитесь ли вы заменить меня на сегодняшний день?

Я ответил.

– Monsieur, я никогда не играл в эту игру, я не знаю ее правил, но если случилось такое несчастье, то вы сами понимаете, как жесток тот человек, который не приходит на помощь.

Коко пожал мне руку, и уже в частном порядке я ему посоветовал принимать масло парафиновое, но он ответил, что это средство им уже испытано и не дает положительных результатов.

– Температура у меня, – добавил он, – утром тридцать шесть один, в полдень тридцать семь три, а к вечеру тридцать шесть восемь. Вот тут и живи.

– Туберкулез? – насмешливо сказал кто-то.



– Туберкулез, не туберкулез, – ответил Коко, – а жить трудно. Голова несвежая и усталость.

– Ищут, ищут тебя, Коко, на том свете.

– Пожалуйста, без критики, – огрызнулся Коко, смиренно сел на свой полотняный стул и снова потянул из горлышка.

Я не знал игры и вообще мало был подготовлен к этому действию, как любят говорить передовые русские режиссеры, но почтенный и медлительный Шевалье в белых, слегка соскочивших брюках, был изысканно вежлив и указывал, во что нужно целиться.

– Мы попали в трудное положение, – объяснил он, – следовало бы выбить отсюда вот этот шар, – и пальцем, на котором были ясные следы домашнего маникюра, он показал мне, какой шар нужно выбить.

Я промерил расстояние на глаз, стал в боевую позу, взвесил в руке чугунный биток, размахнулся, почувствовал на себе взгляды насмешливых иностранных глаз и впился в это покатое расстояние. Намеченный шар трахнулся о загородку.

– О-о! – вырвалось из всех французских сердец, – это удар!

Создалось неловкое молчание. Ко мне подошел Шевалье и опять, самым вежливым образом осведомился:

– Вы действительно никогда не знали этой игры? У меня была своя тайна, но я не хотел раскрывать ее сейчас.

– Уверяю вас: никогда! – без какой бы то ни было лжи ответил я.

Игра продолжалась, и на девять ударов, мне положенных, я промазал всего два, «о-о» раздавалось все менее и менее доверчиво, но Коко смотрел на меня, как на кудесника, пришедшего из неведомых стран.

По окончании игры мы сидели в кафе и пили аперитивы. Из разговоров я понял: мне не верили. Самое меньшее, если предположить: я сам когда-нибудь держал будку и там наловчился.

Я сказал, поклявшись, что у нас в России не знают такой игры.

– Но откуда же у вас такой бросок? Такой глаз? – задавал мне настойчиво вопросы Шевалье.

– А, может быть, у меня прирожденный талант? – попробовал я отшутиться.

– Э, *mon vieux*, талант без работы дает малые результаты, а за вашими плечами чувствуется лет пять практики.

И тогда только я сказал ему о том, о чем сам очень смутно и только в последние минуты стал догадываться.

– Мне кажется, – сказал я, – что это от многолетней игры на русском бильярде...

– На русском бильярде? – недоуменно спросил Шевалье и подлил себе воды из сифона, – разве есть разница между вашими бильярдами и нашими?

О, счастливая, беззаботная юность! Только тот, кто прожил студентом Российского Императорского Университета, знает, что такое настоящая юность! Столовка на Десятой линии, Зоологический сад, Народный дом, где за два пятака мы слушали Тартакова и Клементьева, ресторан «Яр» с шестью венскими бильярдами, чайная «Манджурия», трактир Чванова с органом, утренняя очередь у Маринки, первые аккорды увертюры к «Тангейзеру» в потемневшем и примолкшем зале, лучший в Европе оркестр в 120 человек, где первую скрипку играет Ауэр, а за первым пультом виолончели сидит Вержбилович, и тихонько, сгорбившись на своем кресле, умиряет тромбонистов Направник. Четвертый ярус за 37 копеек в Александринке, несравненные



актеры, чудесная русская речь, старый буфетчик в сводчатом фойе, наивная музыка Галкина в длинных антрактах... Конка в Галерную Гавань и паромный перевоз к Мытнинской набережной. Самые роскошные в мире набережные, и он, чудесный, петровский, старый университет, девятая аудитория, библиотекарь по фамилии Эпимах, навощенный подлинного коридора, и швейцар, знавший ваше имя и отчество, и песня: «Там, где Крюков канал»... и Варьете, и невидимые волнующие нити, протянутые к Бестужевским курсам, и отъезд на Рождество домой с тарифной скидкой в один целковый, и борщ в Рязани, и белые таинственные ночи, и извозчицы «Пожалте», и слегка влажная от снега «Биржевка», и линия серебряных огней над Невским в ясный морозный вечер...

И вот я, как мог, чужими гундосыми словами, начал рассказывать старым французам из Сен-Клу о русском бильярде.

Несмотря на то, что я всеми силами души презираю здешний карамбольный бильярд, карликовый, узенький, ничтожный, как коробка спичек, построенный весь из расчета на аккуратность, прилизанность и осторожную ловкость, тем не менее, покривив душой, я сделал ему несколько холодноватых комплиментов. Затем я перешел к описанию русского бильярда, которому отдал немало своих студенческих досугов. Со сдержанным волнением я говорил о его величине, об этих великолепных шести аршинах длины, на которых не вот-то допнешься и сыграешь без машинки, о торнтоновском сукне без ворса, о вязаных лузах с цветными махрами, о силе и оттяжке резиновых бортов, о безукоризненном аспиде досок, выдержавших проверку самого капризного ватерпаса. Потом я перешел к играм: в шесть шаров, к ботифону и в частности к

нашей знаменитой пирамиде. Я рассказывал, как пятнадцать слоновых блестящих шаров, при помощи треугольника, устанавливаются на одном конце бильярда и как сразу обнаруживается доблесть или ничтожество игрока, делающего первый удар. Я говорил об эластичности, легкости и мягкой отчетливости шара слонового, и о тяжеловесности и грузности мастикового, о том, сколько нужно класть свинца в ручку кия и почему это важно.

Порою мне становилось тяжело во время рассказа. В конце концов, передо мной сидел иной, чуждый нам мир, расчетливый, геометрически построенный, всегда с ровной температурой.

Когда я говорил о знаменитом дворянском ударе, Шевалье учтиво перебил меня:

– Это значит, что так играла ваша аристократия?

Надо было объяснить, что никакого классового начала здесь нет, что и сапожник, и актер, и протоиерей равно могли обладать дворянским ударом: суть была не в происхождении, а в темпераменте, риске, размахе, в вере в счастье, в высокие судьбы игрока.

Когда я говорил о том рассудительном ударе, который столь нескрываяемо презирали русские маркеры и который назывался «с молитвовкой», то, во-первых, это трудно было перевести по-французски, а во-вторых, мои собеседники переглянулись между собой и задумчивый Жозеф выразил общую мысль, сказав:

– Боже мой, до чего простирается религиозность русского народа!

Тогда я слегка разгорячился и, перейдя на примеры, показал им, что я сегодня играл с ними дворянским ударом, а они все, кроме Коко, с молитвовкой. Коко, после такого отзыва, сейчас же поближе



придвинулся ко мне, заиграл пальцами и высокомерно посмотрел на своих приятелей.

Благодаря плохому знанию языка, я так и не мог растолковать им, что обозначает: играть на себя, шар свесил ноги, что такое оттяжка, как можно клеить биток к борту, почему восьмой шар называется бабушкиным наследством.

Передо мной сидели люди, которые за свою долгую жизнь хорошо узнали, что такое человеческая любовь, человеческое счастье, человеческие отношения, долг, совесть, вера в Бога, в республику, в палату депутатов. Со мной сидели циники, которые в обычной обстановке отнеслись бы ко мне как к эмигранту, как к литератору, то есть к человеку, занимающемуся пустым делом. Я видел, как они осматривали мой костюм, мой галстук, мои башмаки, мои часы, мою шляпу, как все это они молча взвесили, рассчитали и сделали выводы. Жизнь на земле для них уже кончилась, осталось доживание и вместе с ним – жалкая робость расстаться с этим чудесным парком и воздухом, рекой, солнечным светом, шумом фонтана, страх перед темной и таинственной ямой, о которой сочинено столько вздора, – и осталось только одно подлинное чувство, которое единственно не стареет и не умирает до гроба: чувство игры. Передо мной сидели подлинные игроки, люди с тем странным и очаровательным устремлением воли, сердца и мысли, которое непонятно уравновешенным публицистам, профессорам, сочинителям биографий и содержателям вешалок. Передо мной сидели люди, привыкшие дразнить и искушать судьбу, предугадывать ее таинственные пути, взвешивать свои удачи на невидимых и капризных весах, привыкшие к погоне за той птицей, которую зовут синей. Я видел это по их слегка разгоряченным глазам, по рукам, приставленным

к уху, по особому уважению ко мне, как к собрату из неведомых и невообразимых стран, как члену одного и того же рыцарского ордена.

Потом я играл с ними еще раза два. Разобравшись в обстановке, простой и ясной, я играл уже почти наверняка. При несоответствии сил, это становится неинтересным и неэтичным... Я выбыл из круга и, убегая из парижских душных дней, приезжал после завтрака посмотреть, как работают старички. Однажды я заметил, что Коко – печален и неразговорчив. Я спросил, не болен ли он. Коко грустно ответил:

– Я не болен, но мне неловко в вашем присутствии срамить свою старость.

Тогда я прекратил свои посещения и начал ходить в парк с главного входа, мимо сторожа.

Одному своему приятелю, жившему в Вене, я написал, чтобы он доставил мне каталог фабрики Фрейберга, поставлявшего когда-то бильярд для России. Приятель отыскал каталог, отпечатанный в 1912 году, и прислал его заказной бандеролью. С этой драгоценностью я и направился в кафе, где после игры отдыхали старички. С жадностью, толкая друг друга головами, набросились они на эти велевые странички с изображением русских бильярдных. Новый мир еще более придвинулся к ним, и мы до самого обеда сидели и рассказывали друг другу истории о знаменитых игроках и карамболистах.

Когда ударил заветный час и хозяйка поставила на огонь кастрюли с супом, Коко пошел проводить меня до порога. На конторке он робко сказал мне:

– Знаете, мой русский друг? Мы были вашими союзниками тридцать лет, но мне кажется, что я только теперь начинаю смутно понимать, что такое Россия и, помолчав, добавил: – И мне кажется, что если я еще немного подумаю, то пойму, что такое русская революция.



И потом попросил подарить ему фрейберговский каталог.

– Для коллекции, – сказал он извиняющимся тоном.

Когда я протянул ему брошюрку, он попросил сделать на ней надпись, и мы вошли в закрытое помещение, чтобы попросить чернил.

Я написал на титульном листе:

– Милому Коко, представителю русского дворянского удара во Франции.

И Коко, радостный и очень довольный, пригласил меня к завтраку в следующее воскресенье.

В воскресенье выяснилось, что Коко – обладатель чудесного двухэтажного особняка, супруг очень представительной и любезной дамы с туго затянутой грудью, отец двух мужчин, уже солидных и одинаково начинающих лысеть.

Приглашение в дом неизвестного человека и притом иностранца было, очевидно, одной из причуд отца и супруга. Накормили меня отлично, но исподтишка наблюдали, умею ли я есть рыбу и как обойдусь с виноградными косточками.

Когда все прошло благополучно и самое ударное искушение с мокрой салфеткой миновало, заговорили о России. Один из лысеющих людей спросил меня, действительно ли так хороши русские театры, как о них приходится читать?

– Не только русские, – ответил я, – но и французский театр, какой был у нас в Петербурге, должен быть поставлен на втором месте после Comedie Francaise.

Не поверили. Переглянулись.

Заговорили о Петербурге.

Я сказал, что таких набережных, как петербургские, таких улиц, как Невский проспект, таких площадей, как Дворцовая и Сенатская, не вот-то много в Европе насчитаешь.

Отмолчались. Как раз в этот день в доме первый раз пустили паровое отопление. Что-то зашумело на радиаторах, слегка запахло краской, и как-то особенно почувствовался уют, прелесть дружной семьи, веками налаженные и сцепленные отношения.

И тогда заговорил сам Коко, слегка порозовевший после еды:

– А паровое отопление в России есть?

Я сказал, что парового отопления в России нет.

– Ну, а как же вы устраиваетесь с вашими холодами? – заинтересовалась хозяйка.

Я ответил:

– На время холодов, на улицах зажигают костры. Из всех домов тогда выходят люди и греются. Погревшись, идут обратно и ложатся спать.

Переглянувшись, одобрительно улыбнулись и поверили.

После кофе Коко отвел меня в кабинет, дал боковую сигару и, как заговорщик, таинственно зашептал:

– Вы знаете, я сплю плохо, и в голову лезут разные мысли. Отопление, вентиляция, телефоны – все это чепуха. Вы знаете, что я придумал.

– А что?

– Только вы никому не говорите, – и Коко придвинулся ко мне ближе, – а что если в Париже, в боковых улицах Латинского Квартала, да открыть бы нам с вами кафе, да поставить бы там три русских настоящих бильярда? Как вы думаете, пойдут дела?

– Хо-хо! – ответил я, – засыпаетесь деньгами!

– Дело не в деньгах, – шептал Коко, – а вы понимаете, мне хотелось бы поусовершенствоваться в этом прекрасном ударе...

– Правильная мысль, – поддерживал я старичка.

– Боже мой, – шептал Коко, – как я понимаю, что такое Россия, как я начинаю любить вашу страну.



Боюсь только, что дети и жена объявят меня больным и посадят в сумасшедший дом...

И глаза Коко налились тоской и истинной грустью...

Ясно, что свои тайны, самые откровенные и самые трогательные доверял мне игрок, испытатель судьбы и поэт – самая интересная и необъяснимая загадка земной жизни.

Правнук Петра Великого

– О, месье, месье! – с этими словами в мой номер ворвалась, как буря, Сесиль, повалилась на кровать, еще не убранную, и повторяла с упорным, слегка тупым, женским отчаянием: – Он уехал, месье, он уехал, он навсегда уехал из нашего отеля!..

Сесиль – горничная, которая убирает у нас второй и третий этажи, сильная, красивая и рослая девушка лет 22-23. Она бретонка, из-под Морлэ, говорит по-французски с неправильными ударениями, часто употребляет слова саксонских корней и за это, на весь коридор, ее немало ругает хозяин, пламенный и неукоснительный француз, до сих пор не прощающий нам изгнания Наполеона из Москвы.

Было часов одиннадцать утра, я мирно пил чай, дочитывал мелкие газетные объявления, и из воплей Сесиль ровно ничего не мог взять в толк.

– Что случилось?

Наш отель провел свою ночь тихо и безмятежно, полицией не обеспокоенный: значит, не было ни убийств, ни пожаров, ни внезапного обыска, ни азартной карточной игры, ни ловли мошенников. Тем не менее, девка каталась по национальной кровати вкривь и вкось, в невероятную грудку сбивая мои простыни, одеяла и подушки. В такую минуту тщетны всякие протесты, и я решил сохранять

спокойствие, пока не будет пролит свет на неизвестные мне обстоятельства. Можно предполагать, что именно это спокойствие и хорошо разыгранное безразличие вывели девку из терпения, ибо с тона жалостного она внезапно и порывисто перешла на тона угрожающие:

– Вы не понимаете? – гневно закричала она. – Вы не можете вашей русской головой понять, что он уехал? Он навсегда из нашего отеля уехал!

У нас, в отеле, шесть узкихэтажей, восемнадцать комнат, каждый день люди уезжают, и я решил, что на сей раз сбежал какой-нибудь неотразимый завоеватель моей доверительницы, дерзко оскорбивший священные обеты, и никак не мог понять: почему именно меня она выбрала в наперсники своих сердечных дел? Подражая картавым и скрипучим хозяйским речам, я сказал ей следующее:

– Во-первых, ты не ори: я не глухой. А во-вторых, если ты хочешь разговаривать так, чтобы тебя понимали люди, то ставь ударения на последнем слоге. Брось эти свои бретонские выверты. Тут тебе, слава Богу, Париж, а не твои Морлэ, Борлэ и Пурлэ.

– Он уехал! – тупо повторила Сесиль.

– Три гроба! – воскликнул я, окончательно подражая хозяину, и хватил ладонью по столу. – Кто уехал? Мой дядя уехал?

– Нет.

– Мой дедушка?

– Нет.

– Мой крестный отец?

– Нет.

– Так чего же ты скулишь в мои одеяла, если я его не знаю?..

Сесиль встала с кровати, как оскорбленная орлица. Только одну секунду глаза ее метали орлиные молнии. В другую она прищуривалась уже ехидно, и заложила правую руку в бок.



– Вы его не знаете? – многозначительно, как следователь, спросила она, и сама же ответила: – Вы всех здесь русских чертей знаете и его в том числе. Из тридцать восьмого номера уехал, вот кто уехал!

Я мысленно увеличил число хозяйских гробов в двадцать раз. Черт из тридцать восьмого номера!

Это был самый тихий, самый скромный жилец во всей гостинице. Целый день он раскатывал по городу в такси, молчаливо раскланивался с соседями, всегда уступал дорогу на лестнице и если вы в вечерний час проходили мимо его комнаты, то неизменно слышали шум крана, плеск воды и тенорок, на высоких, почти женских нотах, напевающий: «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»

На Пасху, у заутрени, мы, еще не знакомые, вместе были в ограде и тогда я залюбовался его чистыми, ясными, верующими глазами. Был он молод, красив и высок, на знакомства не навязывался и никогда не шумел.

Окна наших номеров выходят на гладкую желтую стенку, и раз апрельским вечером я случайно увидел его отражение на ней, как на экране. Он стоял перед зеркалом, примерял шляпу, загибал ее поля, добиваясь желанного фасона, и учтиво кланялся самому себе: изучал, видимо, изящество движений. Наклонившись, он широким жестом зажег спичку, волнистыми движениями поднес ее к папиросе, пустил дым направо и налево, потом снял шляпу и, как маркиз, поблагодарил себя тремя очень вежливыми поклонами. Это было похоже на китайские тени, и я украдкой следил за ними минут двадцать.

Случайно, летней ночью, мы столкнулись с ним у подъезда. Он возвращался с работы, был в шоферской кепке и ситроеновском халате с позо-

лоченными пуговицами. Я потянулся к звонку и в это время, неожиданно, он остановил мою руку и тревожно сказал:

– Бога ради. Вы – русский, и я – русский. Я совершенно одинок. Время детское. Зайдемте в бистро и разрешите мне приветствовать вас. Что прикажете? Пикон, кассис, росси, коньяк, амуретт, пари-спор?..

Пошли. Стали у цинковой стойки. В кафе было, по-ночному, пусто. На потолке, утомительно однообразные, горели молочные фонари. Блестели цилиндрические кипятильники, кассирша пересматривала бутерброды, буфетчик в борьбе со сном, мыл бокалы. Зеркала отражали бесконечную перспективу наших фигур, кипятильников, молочных фонарей, афиш и таблиц с законами о недопустимости пьянства. Мой неожиданный компаньон долго и печально жаловался мне на трудности ремесла, на промозглость климата, на полицию, на одиночество, на мысли о самоубийстве.

– А чем занимались вы в России? – спросил я его.

– Науками занимался. Студентом был, потом поручиком.

– Ну вот, – ответил я, – значит, про Петра Великого слыхивали?

– Господи Боже!.. – смутился мой собеседник, – Я думаю...

– Петр Великий, – продолжал я, – царем был, не чета вам, студенту и поручику. А так же вот, как и вы, в халате, работал на голландской верфи, потел до сорокового пота, сбивал себе руки до крови, пил дрянной джин с мастеровщиной...

– Так-то оно так, – перебил меня компаньон, – но ведь все это он делал добровольно!

– Ну и что же? – защищался я, – Так за то же он царь был, не чета вам, поручику и студенту третьего курса...



– Второго, – осторожно поправил он.

– Тем более. Разница большая. Он учился, и вы учитесь. Учитесь любить свою страну, свой народ, свой язык, откажитесь от этого подлого преклонения перед иностранщиной, всмотритесь попристальнее в чужую жизнь, сделайте выводы... И вот по всем этим делам назоветесь потом правнуком Петра Великого.

– Правнуком?

– Ясное дело. По прямой линии. И не вы один, а все вы, русские, сейчас работающие на заводах, на верфях, на полях, на дорогах, в садах, горбом изучающие ремесла, науки, чужие нравы, чужие характеры, все вы петровцы, правнуки Петра Великого. Трудно? Ничего не поделаешь. Легкого на свете ничего нет. И Петру было трудно. Видели вы кровать, на которой он спал? Она ему до колен только доходила... В три погибели царь сгибался. Похуже вашей, двуспальной, была, смею вас уверить.

Допили дижестивы, позвонили в отель, взяли свои ключи, и разошлись на покой.

Шофер повеселел, перестал примерять шляпу и кланяться в зеркало, а когда мылся, то напевал «Было дело под Полтавой...» и мне казалось, что его жиденький тенорок переходил временами на ноты баритонального оттенка.

И вдруг такая неожиданность: покинул наш отель. Опустел тридцать восьмой номер, и Сесиль плачет, вытирая фартуком свой хорошенький задорный носик.

– А ты, случаем не беременна от него? – суровым тоном французского настоятеля, спросил я.

Вместо ответа, она протянула мне записку, сложенную в восемь раз. В записке, похожей на шахматную доску, значилось: «Переезжаю на Гобелен. Вы долго спать изволите, а потому правнук Петра Великого шлет вам сердечный письменный привет.

Так как, по вашим словам, я – царский родственник, то, по возвращении в Россию, я произведу вас в фельдмаршалы. А пока что, когда устроюсь на новом месте, приходите пить чай с халвой. Тогда позвоню. Всего.» И внизу, как под рескриптом, стояла размашистая, внушительная подпись.

Прочитав записку, я все-таки никак не мог понять, чего ревет Сесиль.

– Чего же ты плачешь? – спросил я.

– Он из-за меня, – ответила Сесиль.

Положение начинало проясняться.

– Он был влюблен в тебя?

Сесиль сделала большие глаза:

– Кто? Он? В меня? Влюблен? – и Сесиль театрально-дьяволически захохотала. – Влюбится он, бедный русский дьявол! – злобно ответствовала она. – И что он понимает в любви? – горько и гордо вымолвила Сесиль.

– Ну так почему же ты говоришь, что он уехал из-за тебя? – допытывался я.

Наступило молчание. Здесь, видимо, находился Рубикон, который нужно было перешагнуть. В душе у Сесиль боролись самые противоположные чувства, и лицо ее то заливалось краской, то как-то особенно скромно, по-девичьи, бледнело. И в тот миг, когда признание было решено, когда язык уже находил силы повернуться на самые последние слова, в глазах ее, потерявших презрительность, дерзость и задор, показались слезы.

– Я его обворовывала каждый день, – чуть слышно сказала Сесиль. – Ему надоело, и он очистил поле.

И она, ожидая, смотрела на меня в упор. И я никак не мог понять: трагедия это или комедия?

– Я у него все воровала, – торопливо, словно на исповеди, говорила Сесиль, – летом воровала клубнику, осенью – виноград и фиги, зимой – яблоки и каштановый крем. Таскала у него папиросы, и вы



думаете, две-три? Нет, он оставит на столе нераспечатанный пакет, а я распечатаю и стяну из него пятнадцать штук. Можно это заметить, как по-вашему?

– Можно, – ответил я.

– Ну вот, – торопливо и радостно, сбрасывая с души греховность, признавалась Сесиль, – купит он кило клубники, а я половину сожру. И крем-фрэш наполовину истреблю. И мелкий сахар. Можно это заметить?

– Можно.

– Ну, а если яблок у вас, скажем, десять штук лежит, самых отборных, канадских. И если я стяну пятток, можно заметить?

– Можно.

– Так чего же он молчал? Объясните мне.

– Не знаю.

Сесиль вспыхнула.

– Врете! Знаете! – решительно и отчетливо заявила она.

– Но, Сесиль, без шуток: почему же я знаю?

– Знаете... – Сесиль хитро прищурила левый глаз, подбоченилась и снова стала похожа на бретонку. – Ну, а скажите, пожалуйста, – лукавым, испытующим тоном начала она свой новый допрос, – ну, а вот, скажем, вы. Вы покупаете у Феликса Потэна литр красного вина Сан-Рафаэль. Это по нынешним временам стоит четырнадцать франков без посуды. Приносите это вино к себе домой, выпиваете рюмку, и затем оставляете его в шкафу. Бывает это или не бывает?

– Бывает, – смиренно согласился я.

– Ну, а потом, на другой день, – торжествующим, певуче-издевающимся тоном продолжала Сесиль, – вы подходите к вашему шкафу, достаете вино и видите, что там осталось всего одна треть. Это бывает?

– И это бывает, – смиренно признавался я.

– Что же вы тогда думаете? – и Сесиль, гордо от-
вернувшись, ждала ответа.

– Я думаю, это выпила Сесиль.

– Ну, и дальше? Вы злитесь?

– Злюсь, признавался я.

– Ну и дальше? Почему вы об этом не говорите
мне? Почему вы не ищите вора? Ведь вино дорогое?!
Не забудьте: четырнадцать франков, кроме посуды...

– Почему я не говорю об этом тебе? Мне неловко
об этом говорить тебе.

– Тогда, чёрт возьми, на это существует хо-
зяин! – и горячо, и негодуя учила меня Сесиль, –
Ведь это же беспорядок! Ведь это же из рук вон! Ваша
прислуга пьет, как лошадь, ваше вино, стоимостью
пятнадцать франков за литр!..

– Но послушай, Сесиль, не будь же душой, – защи-
щался я, – ведь, если я скажу хозяину, то у тебя будут
неприятности.

– Ах, так! – иронически сказала Сесиль, – Ваша
милость не любит неприятностей! Ну а там, в глуби-
не души, – Сесиль тыкала меня пальцем в третье ре-
бро, – что вы об этом думаете?

– Что я думаю? – и я начал подыскивать слова
помягче, – Ну, я думаю, девушка бедная, работающая,
устаёт, получает мало, хозяин зажиливает проценты,
кормит плохо, а Сан-Рафаэль красен, душист и густ.
Ну вот, чтобы подкрепиться, прочистить горло от
пыли, возьмет человек за горлышко, потянет и мину-
ты три смотрит на облака. Смотришь: а полбутылки
как нет.

Сесиль от моих рассуждений как-то сразу остол-
бенела. Она смотрела на меня, не моргая, странны-
ми, остановившимися глазами, и я видел, как вере-
ницы самых разнообразных мыслей, то новых, то
уже много раз передуманных, мелькают в ее пе-
пельноволосой голове.



– Вы правы, вы правы, – залепетала она, и в этом лепете было много беспомощности, бедности и очаровательной детскости. – Конечно, нищая, одна на свете... Конечно...

Поняв, что перед нею сидит не враг, она в грязном платье, в клетчатом фартуке, в полотняных туфлях и грубых чулках стояла в моей комнате, как принцесса, познавшая унижение. В ее прекрасных, как-то сразу очистившихся глазах, засветился тот особый, теплый ум, который рождается от созерцания моря и доброго света маяков, от разгадывания звездных задач, от познания тайн приливов и отливов, от осторожной хитрости рыбацких сетей, от распознавания морского воя и светлой музыки, от постоянного, векового соприкосновения с властной и влекущей опасностью смерти. от понимания ветров, влаги и зноя, – ум, испытанный суровой жизнью на протяжении столетий, который драгоценным наследством, сохранно, передается из рода в род, – ум ясный, тонкий, отчетливо слышащий, и у женщин добавленный особо существующим расположением к мягкому лукавству и к внимательной чуткости.

Принцесса пришла в мою бедную, отельную комнату на одно мгновение. Через секунду она опять обернулась Сесилью, бойкой и дерзкой, и задавала мне такой вопрос:

– А вы думаете, я не могла быть богатой? Вы думаете, я не могу ездить на собственной машине? Взгляните! – и Сесиль прошла передо мной, как модница на скачках. – Какая у меня грудь, какие щеки! И это все не покрашено, черт возьми! – Сесиль наслюлила палец, с азартом потеряла им щеки и показала мне. – А губы? Ведь, это не кармин! А брови, а ресницы? Ведь это не риммель! Разве это плохо?

– Напротив, очень хорошо, – сказал я.

– А вся фигура? А спина? А волосы?

– Сесиль! – сказал я, – Ты королева королев прошлых, настоящих и будущих.

– Нечего смяться! – отрезала Сесиль. – А нога? – и Сесиль задорно и со знанием меры приподняла свою грязную рабочую юбку. – Только одно у меня плохо: руки вот, красные, но вы не забудьте, что иная лошадь работает меньше, чем я, и вы понимаете, что если им дать отдых, отполировать и вычистить ногти, поддержать их дней пять-шесть в миндальном тесте, а на ночь заворачивать в резиновые перчатки, то и это отпадет. Не так ли?

– Правильно, – со всей искренностью соглашался я.

– Ну, так вот, вы теперь можете и то легко понять, – несколько смягчив свой пыл, продолжала Сесиль, – разве я не могла бы поступить на содержание к рыбному торговцу с улицы Клер? Его магазины имеются в восьми кварталах Парижа, он знает всю Британию, как свои пять пальцев, – вы думаете, что он не делает мне этих предложений каждую пятницу? Или вы думаете, меня не возьмут на улицу святой Апполины, в дом номер двадцать пять? Много там таких, как я? Но я британка, и пусть хозяин смеется над моим Морлэ, Борлэ и Пурлэ, – я не парижанка. Я тружусь, работаю, ночами не сплю, чтоб отворять дверь шлюхам, которыми полон весь ваш многоуважаемый Париж. И вы правы...

Тут Сесиль задумалась. Несколько мгновений порассуждала о чем-то сама с собой и, вздохнув, закончила:

– Нет, вы, все-таки, неправы. О воровстве вы должны были говорить хозяину. Если хозяин не поможет – полиции. – Сесиль опять о чем-то подумала и уже робко спросила: – И вы думаете, что тот из тридцать восьмого номера, что уехал на Гобелен, тоже меня жалел?

– Уверен в том, – ответил я.



Сесиль громко, всей грудью, вздохнула и сказала:

– Боже! Какие вы, все русские, – удивительные идиоты! – Потом вынула из серенького, замшевого кошелька несколько голубоватых бумажек, развернула их, положила передо мной на край стола и добавила: – Вот вам за ваш Сан-Рафаэль, сорок франков. По-моему, это как раз правильно, потому что я пользовалась вашим одеколоном, ела ваши соленые огурчики, яурт и бисквиты.

Я не знал, что мне делать, и ответил:

– Подай их нищему, Сесиль!

Сесиль в изумлении подняла брови и спросила:

– Чтобы нищий с ума сошел и перекусал на улице всех собак? Возьмите их, если уважаете меня. Это ваши деньги.

Она снова полезла в кошелек и из другого отделения достала стофранковую бумажку, положила ее на стол и сказала:

– А вот эти сто франков вы передайте вашему знакомому из тридцать восьмого номера. Я, быть может, никогда не увижу его, и он до самой смерти будет думать, что я воровка, отельная крыса.

И вдруг, уже потихоньку, обессиленная, Сесиль опустилась на краешек кровати, припала к ее спинке, и сквозь явные, со стыдом скрываемые слезы, добавила:

– Хоть бы поскорее задавило его автомобилем где-нибудь на крутом повороте!

И тогда наступила минута прелестного молчания.

Я встал со своего стула, отложил в сторону газету, подошел к Сесиль и сказал:

– Сесиль! А ведь по всему видно, что ты просто-напросто влюбилась как кошка в этого русского из тридцать восьмого номера!

Сесиль подняла голову, посмотрела на меня так, как будто бы стояла вдалеке и была окутана туманом.

ном, встряхнула с себя наваждение и со страхом, неуверенно, ответила:

– Вы с ума сошли!

Я решил вывести ее на чистую воду и заявил:

– Ты не говори так решительно, Сесиль! Сейчас это будет мне доподлинно известно. Ты вот говоришь, что мы, русские, странные люди, но ты еще не знаешь, что мы, почти все, колдуны.

– Быть не может!

– А вот ты сейчас увидишь!

Сесиль не без страха взглянула на меня и стала следить за мной. Я достал из шкафа электрический фонарик, сделанный в форме стило. Если этим фонариком осветить глаз, то зрачок всякого здорового человека начинает сейчас же сокращаться. Я поставил Сесиль перед зеркалом и сказал ей:

– Следи внимательно за своим зрачком.

– Слежу, недоуменно и слегка испуганно, – ответила она.

Я нажал кнопку, приставил фонарик к ее глазу, ярко осветил его и длинно загнутые, шелковистые, черные ресницы. Зрачок, вставленный в радужную синеву, начал явно таять и суживаться.

– Видишь, зрачок твой делается все меньше и меньше? – победно, с торжеством всемогущего волшебника, спросил я.

– Вижу, – робко ответила Сесиль.

– Ну так вот, – авторитетно заявил я, – ясно, как день. Это прямое доказательство, мой друг. Тут уж не соврешь. Это бывает только у влюбленных, и я тебя могу поздравить. Ты влюблена, как молодая рыжая кошка.

Сесиль была находчива. Она подумала и сказала:

– А может быть и с вами будет тоже самое? Разрешите взглянуть на ваш глаз?

– Пожалуйста, – ответил я.



Сесиль зажгла фонарик и следила через зеркало за его силой, и у самого своего уха я слышал ее тихое и легкое девичье дыхание, и чуть повыше локтя, ощущал прикосновение упругой, нерастраченной груди.

Зрачок мой обратился в маленькую, острую и тревожную точку.

– Эге-ге-ге! – торжествующе запела Сесиль, – с вашим зрачком делается тоже самое!

– Ну и что же? – спросил я.

– Значит неправда.

– Почему неправда? А я, по-твоему, не могу быть влюбленным?

– Вы влюблены?

– И еще как!

– В кого же вы влюблены?

– В кого? – спросила и ответил по-русски: – Я влюблен в ее синее небо, в золото ее церквей, в необозримые ее поля, в темные таинственные леса, в широкие дороги, в серебристый ковыль, в тихие реки, в молчаливые озера, в вечерний колокольный звон, в песню, в хитрые сказки, лукавые пословицы...

Сесиль широко раскрытыми глазами смотрела на меня, вслушиваясь в звуки чужой речи, старалась по интонации понять ее смысл и сказала тихо и примирительно:

– О да, вы любите. Это ясно. В России женщины красивы?

– И красивы, и особенны, – ответил я, – получше ваших.

Мы оба долго и серьезно молчали. Для того, чтобы загладить паузу, я тщательно запрятал среди белья свой фонарик. Каждый думал о своем. Первая заговорила Сесиль. Она начала, обращаясь к самой себе:

– Неужели я влюблена в этого босяка и иностранца? – ухмыльнулась недоверчиво, презритель-

но пожала плечами; вызвала из памяти старые дедовские заповеди и вслух повторила их: – Любить нужно только богатых: у кого есть дом, усадьба, десяток крепких сетей, пара прочных, хорошо просмоленных лодок... – и, подняв на меня свои умные, несмешливые глаза, уверенно сказала: – Мсье, ваш фонарик врет. Могу с вами поспорить, что через пять дней мой зрачок будет тверд, как камень.

– Посмотрим, – иронически ответил я.

– Уверяю вас, – тихо и отчетливо подтвердила Сесиль, – надо только сходить к мощам св. Женевьевы, пять раз прочитать «Отче наш», поставить свечу за два франка, и вся эта чертовщина рассеется, как сон. До свиданья, мсье. Благодарю вас за ваши хлопоты.

Тихонько отворила дверь и вышла.

В шесть часов вечера кто-то скребется ко мне в комнату, и я знаю, что это – Сесиль.

– Входи, Сесиль! – говорю.

Сесиль входит.

– Откуда вы знали, что это я?

– Через дверь вижу.

Комнаты час тому назад убраны, ковровые коридорные дорожки вычищены. Сесиль вымылась, расчесала на пробор волосы, слегка припудрилась кремовой пудрой, надела темно-синий костюм, чулки телесного цвета и лакированные лодочки. Она прекрасна и нежна, но уже, как нимбом, осенена той мучительной и зримой болезнью любви, которая подкралась к ней и обвеивает все ее существо женственным смирением и жертвенностью.

– Мсье! – с тяжелыми и наигранными остатками прежнего лукавства говорит она, – не желаете ли вы проверить ваше гадание у наших гадалок на ярмарке?



– Почему бы мне не желать? Очень даже желаю. Всегда полезно проверить самого себя.

И украдкой, чтобы не было разговоров, мы очередно выходим из отеля: сначала я, потом – она, садимся в автобус и переезжаем к мосту Альма.

Будний день, к тому же беспрестанно идут обильные, летние, скоро высыхающие дожди. Ярмарка в полусвернутом состоянии. У самого моста, направо, расположилась парижская карусель, налево – русская, и обе бедствуют.

Вот деревянные фигуры парижской жизни. При желании, за десять су, вы можете оседлать щеголя в клетчатом мюзикхольном костюме, кухарку, кормилицу, путешественника с собакой, лакея № 5, негра в полосатой куртке, продавщицу цветов, матроса с красным помпоном, продавца ковров, пьяного господина во фраке, повара, расклейщика афиш, апаша, сборщика податей, солдата, старика, похожего на Клемансо. Все это закружится и заскрипит, когда пронзительно и зычно заиграет орган.

Но Сесиль этим не соблазняется: она тянет к карусели русской. На ее гребне мчится резвая тройка, по бокам – русский мужичок в мятых сапожках и крестьянка в кокошнике, с георгиевским крестом на цепочке. Дальше тянется ряд панно: на тройку нападают волки, тройка лихо перелетает через прорубь, на тройках празднуют свадьбу, две тройки встретились на узкой дороге и не могут разминуться, вот русская охота, а вот французская эскадра в Кронштадте, русская – в Тулоне: флаги, объятия, радостные лица...

Сесиль рассматривает эти картинки, как очарованная, а из соседнего киоска тянет сладким, ванильным запахом вафлей, мелькают мордастые повара в белых колпаках, виднеется анатомический и патологический музей, и я за руку, как ребенка, тащу мою спутницу к тире трех мушкетёров, а впе-

реди – таинственная и невероятная женщина без головы, колесо счастья, морской демон, женщина-аккумулятор, японский бильярд. В аппарат, предсказывающий судьбу, я бросаю медную монету, стрелка начинает бешено крутиться, похожая на жало, и останавливается на изречении: «Главный нотариус из Лиона ждет тебя, чтобы поговорить о наследстве». Я говорю:

– Завтра, первым поездом, еду в Лион.

Сесиль презрительно морщится и тянет меня дальше.

Подходим к пустынному киоску. В индийской грязноватой чалме сидит тощая, желтая баба с глубокими морщинами вокруг губ, с костлявым носом и пронзительным взглядом черных, наблюдательных неодинаковых глаз: один – круглый, другой – длинный. Без слов она подает Сесиль в руку стеклянную изогнутую колбу с оранжевой жидкостью и ждет. Через минуту жидкость начинает закипать, гадалка протягивает к уху Сесиль резиновую трубку и, как в телефон, начинает шептать предсказания. Сесиль зарумянивается до ушей, слегка наклоняется и, то испуганно, то просветленно, слушает предначертания судьбы. Клиентов нет, гадалка не торопится и шепчет долго, поглядывая на оранжевую жидкость.

А небо после дождей промылось до самой предельной лазури и покрыло Париж полукруглой сенью. По реке тянутся баржи с камнем, и у руля стоит коричневый мужик в бархатных неизносимых штанах. Гудят туго натянутые проволоки Эйфелевой башни. По высокому мосту пролетает метро с зажженным и ненужным электричеством. Пароходик с выпяченной грудью, подходя к пристани, дает залихватский свисток и в сером, сыроватом облаке, как в крестильной пелене, покачивается серебряная качель молодого месяца.



После гадания мы с Сесиль пьем на тротуаре кофе. Я ни о чем не расспрашиваю, праздную свое торжество, она молчит, подолгу мешает ложечкой в бокале, пьет зло-горькую жидкость, не замечая, что сахар не положен, и, уставившись в какую-то точку, не моргая, гипнотически смотрит на середину мостовой.

Пять дней я ждал исцеления от любви, которым похвалилась Сесиль, и не дождался. Вечером пятого дня, в субботу, она рассчиталась и исчезла из отеля, не попрощавшись.

Быстро пролетело лето. Августовским вечером, приветливым, но уже холодноватым, когда «Ротонда» со своих веселых террас начинает, как улитка, вбираться в помещения внутренние, когда хочется уюта и тепла комнатного, я сидел в кафе на террасе. Ко мне подошел кривоногий и толстый мальчишка, похожий на Санчо-Пансо, и доложил:

– Там, за углом, вас спрашивает человек.

Я вышел и увидел правнука Петра Великого. После первых приветствий и расспросов он таинственно потащил меня к отдаленно стоявшему закрытому автомобилю, отворил дверцу и начал подталкивать в бок, приговаривая:

– Влезайте же, влезайте, ваше превосходство.

Ничего толком не понимая, не приглядевшись со света к темноте, я влезая в тепловатую коробку и чувствую, как нежные женские руки обвиваются вокруг моей шеи.

– Сесиль! Откуда! Какими судьбами?..

Расспросы и ответы, наполненные восторженностью и радостью. Мой фонарь был прав, и жизнь идет своим чередом. Это она, жизнь, обошла все отели на

Гобелене и отыскала предназначенного. Она живет с ним в одной комнате четвертый месяц, и я понял, что у Петра Великого скоро будет праправнук. Ну что же! Русская кровь тусклая и холодная, но смешанная с кровью иных рас, дает результаты блистательные.

– Ты помнишь мой фонарь, Сесиль?

– Ваш фонарь мне нужен, мсье. Он требует, чтобы я перешла в его веру и молилась Богу по-славянски – не сидя, а стоя. Это очень важный шаг, мсье, и все нужно очень хорошо проверить. Вы дадите мне ваш фонарь, мсье...

– С величайшим удовольствием, Сесиль. В самые ближайшие дни ты зажжешь мой фонарь, черт возьми!

И только теперь я заметил, что автомобиль мчится не по привычной дороге и эти домики с вывесками, написанными на стене, уже не Париж: кругом тускловатое освещение, много неба, лесок на горизонте.

В Рамбуе мы ужинаем, пьем превосходное белое вино и кричим ура будущему правнуку Петра Великого. И хозяйка за стойкой, узнав положение вещей, отпускает справедливые слова:

– Бог даст ребенка, Бог даст и на ребенка! Это закон, мсье!

На обратном пути за руль сажусь я.

Я ненавижу автомобиль в тесных городах, на загроуженных улицах, но за городом, на открытом просторе, обожаю его.

Металлический зверь бьет землю круглыми лапами в резиновых перчатках, ветер жжет и царапает лицо, а на небе собор осенних звезд, быть может, не знающих и не чувствующих нашей земли. Но и здесь, на этой пылинке, я чувствую, что есть Бог, постепенно раскрывающий нам свои тайны, и Его присутствие в этой молодой торжествующей любви я ощу-



щаю особенно ясно и полно. Мне смешны людские философии и мудрствования, которыми переполнен муравейник, с глупой железной башней, напоминающей Вавилонскую.

Руки сквозь тонкие перчатки скоро цепенеют, я сокращаю своего зверя до двадцати километров: и утихает злой ветер, и я опять чувствую августовскую теплоту и ласковость. О, какое успокоение, какой простор, какая правда!

Я громко начинаю петь сто первый, предначинательный псалом, самое вдохновенное создание Давида, и за моей спиной слышу такой разговор:

- Это православный Анжелюс?
- Во-первых, не Анжелюс, а Ангелюс...

Правнук знает и помнит, как правильно произносятся латинские слова.

- А во-вторых, так начинается наша вечерняя служба под воскресенье – всенощная. Повтори: всенощная.

- Все-ноч-ная.

- Правильно, почти правильно. Ставлю тебе четыре с минусом.

Плавно надвигаются на нас версальские громады.

Все тихо, прозрачно и навеки неповторимо.

- Дальше! Полный ход! – командует правнук.

И я чувствую, как от Парижа, от его жил, струится человеческое тепло.

(Подготовка текста и публикация Александра Фокина)

Гроза мира

Фантазия для юношества

Часть вторая¹

Город чудес

I

Первая неделя в Бломгоузе

Спустя неделю после поездки русских на трамвае, в одной из богато убранных комнат домов Бломгоуза задумчиво сидел в кресле средних лет господин, сосредоточенно куривший сигару. Это был доктор Руберг. Он в одиночестве раздумывал о событиях последних дней.

Нового было много. Начать хоть с того, что неизвестный миру город вел какую-то титаническую работу, результаты которой еще трудно учесть. Люди здесь не стеснялись с природой, они являлись ее полными хозяевами, обладая знанием таких природных сил, какие не снились мудрецам и техникам Америки и Европы. Обитатели Бломгоуза жили какой-то новой жизнью, где техника играла решающую роль во всем, – в общественной и семейной жизни.

¹Продолжение. Начало в № 2 2014 г.



**ИВАН
РЯПАСОВ**

***Неизвестная
классика***





Пребывание у м-ра Блома оставило у троих друзей неизгладимый след. После короткого разговора с этим поистине замечательным человеком, так умевшим влиять на окружающих, путешественникам показалось, что они знали его уже весьма долгое время, посему разговор с их стороны принял откровенный характер.

Вслед затем Блом повел своих гостей внутрь здания. Они остановились в комнате, сплошь заставленной принадлежностями химических и физических опытов, моделями невиданных машин и приборов, поблескивавших медью в лучах пробивающегося в окна солнца, искрящимися пробирками и сосудами на полках.

И здесь доктор увидел своего друга инженера в состоянии такого восхищения, каким никогда его еще не наблюдал. Николай Андреевич задавал Блomu тысячи вопросов и на все получал короткие, ясные и обстоятельные ответы. Даже Руберг, незнакомый с сутью многих технических терминов и выражений, вполне понимал все объяснения старого ученого, настолько они были естественны и просты. Это вполне законное любопытство и любознательность со стороны русских понравились мистеру Блomu, который, закрыв оконные жалюзи, проделал несколько опытов с электричеством. Так, в темноте совершенно неожиданно ярким светом загорались лампы и фонари, у которых не было ни фитилей, ни проводов. Губерг запомнил, что Березин при этом что-то говорил об опытах Тесла, а Блом утвердительно кивал головой.

На стене открылся экран перед зрителями. И вскоре они увидели движущиеся фигуры, в которых узнали Блома и самих себя. Картина исчезла, а ее место занял горный вид, как будто бы им уже знакомый. На картине появился вагон беспроволочного трамвая. Каково было удивление

русских, когда в пассажирах вагона они узнали самих себя!

Блом, впоследствии называвший все это детскими забавами, объяснял сущность явлений. Но доктор из научных объяснений на этот раз ничего не понял, тогда как инженер все время удовлетворенно кивал головой. После этих опытов посетили еще целый ряд больших и маленьких помещений. Некоторые из них, по обилию инструментов и моделей, напоминали лаборатории средневековых алхимиков, другие – научные музеи политехнических институтов.

Одна из комнат была вся уставлена часами и часовыми механизмами, из которых одни достигали величины человеческого роста, а другие – свободно умещались в коронке перстня. Комната сильно походила на часовой магазин, и Губерг не мог уяснить себе, зачем он понадобился ученому. По-видимому, такого же мнения был и студент Горнов. В противоположность им, инженер с огромным наслаждением рассматривал механизмы и особенно долго говорил с м-ром Бломом о некоем необычайно остроумном сочетании рычагов в одном из аппаратов.

Гораздо более удовлетворенным остался доктор от осмотра нижнего этажа. Оттуда доносился шум, а иногда и словно подземный гул, от которого толстые стены дрожали, как парусное полотно. Сначала русским при входе через массивную железную дверь показалось, что они попали в ад: так здесь было мрачно, шумно и суетливо. Огромные маховики ворочали целые ряды шкивов под толчком, покрытым сетью цепей, рельсовых соединений, блоков и пр. Черные фигуры рабочих в кожаных передниках, освещенные зловещим блеском раскаленного металла, казались сонмом дьяволов, собравшихся на шабаш.



В глубине помещения на двух гигантских чугунных ногах возвышалось сооружение, походившее на допотопное чудовище. Доктор узнал в нем ковочный пресс. Как раз в этот момент к нему с помощью системы блоков подвезли бесформенную глыбу горящего металла.

Ударил молот – и почудилось, что разверзлась земля, откуда вылетели, с гулом и треском, заставившим дрожать стены, целые мириады искр, подобных огненному дождю вулкана. Как зачарованные смотрели русские на работу гномов-людей около глыбы. А удары молота становились, по мере того как металл остывал, все крепче и крепче: металл на виду всех поддавался страшным ударам, меняя свою форму. Обозначилась толстая, около аршина, плита, площадью в шесть – восемь квадратных сажень. Блом пояснил путешественникам, что они видят выделку броневой плиты, могущей служить для покрытия любого дредноута. Он предлагал им взглянуть на закалку массивной плиты, но путешественники отклонили предложение под предлогом усталости от массы совершенно новых, неиспытанных впечатлений, подавляющих их своей грандиозностью.

В свое помещение под британским флагом они возвратились тем же путем, как и прибыли, т. е. на трамвае. Во время проезда им удалось заметить несколько высоких сооружений в виде решетчатых башен, назначение коих осталось невыясненным.

Вечером пришло приглашение, в котором друзей просили пожаловать к доктору Блону во дворец. Известие было принято всеми различно: студентом – с восхищением, доктором – с крайней степенью удивления, а инженером – хладнокровно, как будто он считал приглашение на обед к ученому в порядке вещей.

Дворец Блома, к которому их проводил Сигма, сверкал огнями. Ясно вырисовывались готические окна. Аллея из олеандр и акаций вела к широкому крыльцу с лестницей, украшенной мраморным парапетом и изящными вазами с экзотическими растениями.

На крыльце иностранцев встретил высокий индус в зеленой чалме. Он, приложив руку к сердцу, приветствовал их глубоким поклоном.

– Пожалуйста, сагибы, – вымолвил он, отворяя внутрь тяжелую с затейливыми украшениями дверь.

Потоки мягкого, но яркого света ударили в посетителей. Приемная представляла из себя квадратную залу со стенами, украшенными мозаичными цветами богатой индусской флоры. Широкие, мягкие диваны шли по стенам. Двери были прикрыты разноцветными индийскими тканями. Шандалы в виде фигур странных, невиданных на земле животных изливали тот мягкий свет, который так ослепил спутников.

Обладатель зеленой чалмы вел их дальше. Только после ряда комнат, богато убранных в восточном вкусе, путешественники вступили в столовую, обставленную по-европейски. Редкие цветы и граненый хрусталь украшали стол. На белоснежной скатерти стояло шесть приборов. Гнутая мебель коричневого цвета гармонировала с остальным убранством комнаты: тяжелым резным буфетом, обоями под кожу и драпри из лучшего лионского бархата. Масса цветов и тропических растений придавала столовой особый уют.

Не успели гости осмотреться, как вошел мистер Блом, одетый в удобный домашний костюм. Он приветствовал гостей любезно и даже весело. Отдав приказание подавать на стол, он с умением свет-



ского человека начал интересный разговор, в котором приняли участие Руберг и Николай Андреевич. Горнов лишь изредка вставлял несколько слов и то когда к нему обращались по-французски.

В соседней комнате послышались возня и звонкий смех. Оттуда, вслед за выскочившей маленькой обезьянкой, стремглав вылетела миловидная черноволосая девушка, которой нельзя было дать больше восемнадцати, девятнадцати лет. Увидав незнакомые лица, она как будто сконфузилась и смущенно проговорила:

– Ах, сэр, эта Биби опять шалит!

Следом за смущенной девушкой вошла стройная блондинка. Чудесный овал лица и прямой, классически правильный нос с несомненностью выдавали в ней дочь туманного Альбиона. Ее голубые глаза, подобно двум звездам мерцавшие из-под длинных ресниц, были в состоянии очаровать всякого, на кого глядели. Густые золотистые волосы ниспадали прядями на маленькие ушки. Белое платье делало ее похожей на сильфиду, явившуюся обольщать смертных своим серебристым смехом.

Все взоры обратились на нее, причем во взгляде м-ра Блома можно было прочесть глубокую нежность.

– Кэт – моя внучка, – сказал старец, беря ее за руку.

– А эта вострушка, – указал он на брюнетку. – m-elle Софи, ее компаньонка.

Между тем обезьянка успела уже вскочить на руку, а оттуда на плечо Ивана Михайловича. Софи подошла к нему, желая освободить гостя от своей любимицы. Француженка бросила на студента искрящийся смехом взгляд своих черных глаз, и им обоим сразу стало весело. Вслух же они обменялись несколькими общими фразами.

Во время обеда мистером Бломом старательно поддерживался оживленный разговор. Много говорили о политике, о разных видах спорта, о последних событиях. Наши путешественники, будучи уже три месяца отрезаны от всего мира, с некоторым недоумением слушали рассказы хозяина, бывшего в курсе политической и общественной жизни Европы, Азии и Америки.

– Каким путем вы получаете газеты, м-р Блом? – решил, наконец, задать долго мучивший его вопрос Руберг.

– Один раз в неделю, через Индию.

– Разве отсюда в Индостан путь доступнее, чем в Памир?

Блом взглянул на доктора.

– Нет, этого нельзя сказать, но, все-таки, сношения с Индией нами установлены.

– Но мне кажется, что вам известны самые последние новости, интересующие народы. Это как-то не вяжется с ожиданием европейских газет, которые должны доставляться чересчур поздно.

– Я могу ответить на интересующий вас вопрос: наиболее важные известия мы получаем по телеграфу.

– Вы связаны с остальным культурным миром телеграфом? Как же в таком случае ваше местопребывание остается под покровом тайны? Это должно бы вас выдать.

– Нет, так не случится. Телеграф беспроволочный и известен только нам.

– Вы сумели применить здесь гениальное изобретение Маркони? – вступил в разговор Николай Андреевич, до того оживленно беседовавший с мисс Кэт. – Но каким же образом вам удалось настолько усилить его действие, чтобы быть в состоянии переговариваться с Европой?



– Я должен вам на это сказать, что я не утверждал, будто мной применен телеграф Маркони.

– То есть как? Я вас что-то не понимаю.

– Очень просто. Здесь применен к делу телеграф, который мною усовершенствован и в состоянии давать волны, способные обождать вокруг всего земного шара и возвратиться обратно. Конечно, надо сознаться, что труды Герца и Маркони послужили для меня исходной точкой отправления.

Руберг и Березин, оба вперили свои взоры в этого удивительного человека, скрывавшего дарования редкого ученого.

– Как-нибудь на днях, господа, вы сами увидите мои аппараты и тогда убедитесь в истине моих слов.

– Да, беспроволочный телеграф – величайшее благодеяние людей, – произнесла мелодичным голосом мисс Кэт. – Не будь его – на «Титанике» все бы погибли.

– Как? – вскричал инженер, – вы говорите о «Титанике», величайшем судне в мире, о том, который строится в Саутгемптоне и должен был превзойти размерами «Лузитанию» и «Мавританию». Неужели он погиб? Быть этого не может!

– Да, погиб, – печально подтвердила девушка, – погиб от столкновения с ледяной горой, а вместе с ним тысячи человеческих жизней.

И она горячо, блестя глазами от волнения, принялась рассказывать гостям подробности ужасной катастрофы, в свое время потрясшей весь цивилизованный мир.

– Как славны подвиги неизвестных героев и ужасна постигшая их участь, – сказал, вздохнув, инженер. – Можно ли было предполагать, что величайшее из творений рук человеческих погибнет в волнах океана? Неужели человеку никогда не подчинить себе природу?

– Природа, как избалованная женщина, кажется то кроткой и послушной, то капризной и мстительной, – промолвил ученый. – Весь секрет умения управлять природными силами, для чего нужна несокрушимая воля и желание взять ее в руки, состоит лишь в знании того, как, когда нужно с ними обращаться.

– Это можете сказать только вы, – заметил Руберг. – Мне кажется, что вы находитесь на пути к полному подчинению себе природы и ее творческих и разрушительных сил.

– Из чего вы заключаете?

– Да хотя бы из того, что ваши инженеры одним мановением руки способны превращать в ничто камни и даже целые горы.

– А-а, – странно протянул м-р Блом. – Так это вам известно, откуда же?

– Ваши инженеры показывали, – ответил всегда осторожный Руберг.

– Кстати о творческих силах природы, – вмешался инженер, желая изменить направление разговора. – Вам, м-р Блом, все-таки удалось одну из капризных женщин заключить в стальной цилиндр и заставить возить себя с быстротой ветра.

– Вы говорите о трамвае? Что же тут удивительного. Вам, как инженеру, должно быть известно, что скорость электрического трамвая Сименс и Гальске доведена до 205 километров в час. Все дело в рельсах. Выдержат рельсы такую скорость – возможно ее достичь, не выдержат – ничего поделать нельзя. Наша заслуга здесь в том, что удалось создать рельсы из хорошего материала.

– Все это так, – согласился инженер, – но ваш трамвай не походит на остальные. Он не зависит от проволоки, я думаю даже, способен не зависеть и от рельс. Он пользуется своей собственной силой, находящейся внутри него.



– Ах, вы вот о чем! Да, мне удалось сконструировать особый аккумулятор большой силы. В этом и есть разгадка скорости вагона.

Разговор о предметах техники прервался как-то сам собою. Нашлись другие, более общие темы. Французенка, считая себя дома, старалась занимать своего соседа-студента, который, не понимая по-английски, всецело ушел в беседу с интересной брюнеткой. Ее веселая болтовня ему нравилась, французенке, в свою очередь, казалось забавным его странное произношение французских слов. Она смеялась, но безобидно. Ее веселость заразил Горнова, который тоже смеялся, сам не зная чему. К концу обеда студент и m-elle Софи сделались совсем друзьями.

Вспоминая теперь об этом, доктор Руберг улыбнулся: его молодой друг и в настоящий момент находился в апартаментах французенки.

– Совсем голову потерял парень, – заключил вслух холостяк. – Впрочем, это не вредно. Софи, кажется, славная девушка. Инженер, вот кто меня удивляет. Совсем другой сделался. Эту многовековую его меланхолию как рукой сняло, носится с Бломом целыми днями, не зная устал. И вся его задумчивость куда-то пропала. Что бы это значило? Разве на него повлияла так новая обстановка, полная интереса для всякого техника? Постой, уж не действуют ли тут прекрасные глазки мисс Кэт?.. Ну, и осел же я! Конечно, так. Эта ласковая кошечка, того и гляди, зацапает моего Николая Андреевича. Как пить дать, зацапает...

Доктор достал платок и вытер пот со лба – результат его мыслительной работы, а затем продолжал философствовать.

«Вот и остался без друзей. Надо же было тащиться в этакую даль, чтобы потерять их. Не мог

сделать умнее. Ба! Дело-то серьезнее, чем я думал. Ведь мы – пленники, хоть к нам и благоволят. Если они тут засядут со своими балаболками до конца жизни, то и я не выберусь. Одному не управиться с этим делом. Надо подумать, пораскинуть мозгами... как и что?»

Руберг задумался.

«Что из себя представляет этот Блом? Какой-то невидимый, да и весь город... Ну, скажем, что выделывают они тут стальную броню, да, спрашивается, на кой она им черт здесь, в непроходимых горах?! От медведей, что ли, защищаться? Архиглупость какая-то! – продолжал сердиться Руберг. – Даже если выработать и прочие предметы военных снаряжений. Разве они не могли выделывать их в другом месте, в тех же прекрасно оборудованных заводах Англии? Нет, надо было забраться сюда, куда и птица-то редко залетает, а не только человек. Заколдованный круг, из которого не выбраться. Дернула же нелегкая впутаться в этакую кашу. Расхлебай ее, мудрый Эдип! Живем неделю, даже к самому м-ру Блomu во дворец перебрались, а что узнали? – Ровно ничего. Мой друг восхищается их работой, обстановкой, жизненными удобствами, совершенством машин, да ведь самой-то сути, подоплеки-то всего этого он не видит и не знает. А тут еще этот бульдог с его хищным взглядом, инженер Гобартон. Как он посмотрит на нас, так мороз по коже подирает, тьфу, образина!»

И возмущенный воспоминанием об инженере, честный русак ожесточенно плюнул.

«С ним надо держать ухо востро. Сильно он мне не нравится, человек же, видимо, не без влияния. Помощник нашего старца, что чего-нибудь да стоит. Взор его как-то особенно блестит, когда он смотрит на Николая Андреевича. Я это хорошо заме-



тил, когда он был во дворце в последний раз. Уж не начинает ли он видеть в нем себе соперника? А что, ведь возможно? Мой друг далеко не дурак. В своей области не уступит всякому другому. Много видал, много изучал, всем интересуется. К тому же и сам Блом к нему чувствует некоторое тяготение. Тогда все становится понятным... Ага, я разгадал тебя, толстый бульдог!..»

И, обрадованный своими выводами, Руберг прошелся по комнате.

«Не устроил бы он ему какую пакость. Надо будет предупредить инженера. А впрочем, что предупредить. Еще взволнуется, тогда и с ним горе, способен надеть глупостей. Лучше сам буду следить за всем, особенно за моими спутниками, чтобы им не приключилось какой беды. Впрочем, птенцу ничего не грозит, а если какая опасность и угрожает, так разве лишь со стороны m-elle Софи... Ну, и пусть его... Впрочем, вот он и сам, легок на помине».

II

Тайна телеграфа

Действительно, в комнату не вошел, а ворвался студент.

– Федор Григорьевич, там прибыл м-р Блом с инженером. Они хотят ехать на станцию беспроволочного телеграфа и ждут вас в гостиной! – выпалил он сразу.

– Ну, подождут еще, если надо, а то и без меня уедут. Этот телеграф теперь мне ничуть не интересен.

– Как же не интересен, подумайте, доктор, сколько стремились, какие трудности преодолели!..

– Трудности, трудности, – передразнил доктор, – небось, вы тоже теперь преодолеваете трудности?

Юноша смешался и покраснел.

– Не краснейте, не надо. Я ведь не в укор. Она, кажется, девица славная. Если бы я был помоложе, так сам составил бы вам конкуренцию! Каково?

Довольный своей шуткой, доктор засмеялся.

– Однако, пойдем-ка, – промолвил он.

В гостиной сидели в ожидании Блом и Березин. Они встретили Руберга упреками.

– Пожалуйста, мы ждем вас полчаса, где вы запропали?

Запоздавший извинился. Все вышли. У подъезда стоял автомобиль. Он принял пассажиров. Погода стояла чудесная. Солнце сияло, лазурная даль в ущельях и горных проходах была подернута дымкой тумана. Дыхание теплого дня шло навстречу мотору, уносившему пассажиров все дальше и дальше к снеговому покрову горных вершин, тонувших в холодных поднебесьях.

Хотелось остановки, чтобы насладиться чудным видом окрестностей, покрытых зелеными деревьями, чтобы прислушаться к рокоту немолчных ручьев, рассыпавшихся жемчужинами под радостными солнечными лучами. В воздухе носились, блестя крылышками, разноцветные мухи и бабочки.

Путь шел вверх и становился все круче. Автомобиль пополз вперед, еле дыша. Внизу, далеко, неожиданно развернулась чудная панорама: окутанная прозрачной дымкой виднелась часть Бломгоуза – зелень садов, синева озера и шахматы кварталов. Автомобиль, пробежав широкий круг, повернул направо, и русские ахнули от восторга.

Впереди на каменистой горе находилась странная четырехсторонняя башня, вышиной около 150, а в основании до 100 метров. Грани ее переливались и блестели на солнце, как чешуя гигантского змея. При ближайшем рассмотрении оказалось, что эта четырехгранная пирамида состоит из четырех отдельных



башен, между которыми вертикально к земле натянуты блестящие, словно серебряные, проволоки.

– Какое гигантское сооружение, – заметил Березин. – Лишь такая станция и способна давать волны той необычайной длины, о которой говорите вы, м-р Блом.

– Да, мы сносимся непосредственно со старой Англией, где имеется приемная станция. Мое небольшое приспособление, – Блом при этом указал рукой на ряд высоких башнеобразных столбов, идущих к северо-западу, – дает возможность знать тайну сношений только нам, минуя нежелательных посредников, в виде других телеграфных станций Европы и Азии. Большая высота, на которой мы находимся, – не забывайте, что мы на высочайших точках земного шара, – у Гималаев, – тоже содействует тому, что наши сношения трудно заметить в долинных пунктах материков Старого Света.

– Года четыре тому назад, – заговорил инженер, – беспроволочные телеграфы Европы были удивлены получением отрывочных депеш странного содержания. Очевидно, это были ваши телеграммы, попавшие не по адресу?

– В них говорилось что-то о грузах, об удаче, о приступлении к чему-то, должно быть, к работам, – поспешил сказать Руберг. – Вообще было много неясностей и туманностей.

– А не говорилось, к каким работам? – чуть заметно дрогнувшим голосом спросил Блом.

– Нет, не говорилось, – ответил доктор, состроив самую невинную физиономию, какую только мог.

– Мне бы хотелось знать, как действует беспроволочный телеграф, – заявил студент. – Я совершенно не в курсе дела. Какие такие волны и куда они идут?

– Постараюсь объяснить вам в двух словах, – ответил ученый. – Электрическая волна, как и всякая

другая, будь то световая, звуковая или иная какая-нибудь, способна передаваться в пространство. В звуковых волнах можно усилить звук посредством правильного резонанса. Издающий звук камертон может вызвать колебательные движения в другом камертоне, если он настроен в один тон с первым. Так и электрические токи способны через пространство вызывать в проводнике на расстоянии колебания, которые соответствовали бы их собственным. Ученый Герц открыл, что электрические лучи не могут проникать через металлические проводники, а отражаются от них. Если поставить друг против друга параболические зеркала, то исходящие из разрядов проводника лучи отразятся на кривой поверхности металла и устремятся в другое зеркало, которое соберет их, посредством отражения, в своем фокусе. Если теперь в этот фокус поместить стеклянную трубку с железными опилками (когерер), а от нее проводник к электрическому звонку, то он начнет звонить. Следовательно, лучи из первого зеркала возбуждают электрические токи в проводнике к звонку. Но если в это время между зеркалами поместить металлическую пластинку, явление прекращается. Убирая и помещая такую пластинку, можно достигнуть различных промежутков в возбуждениях тока в стеклянной трубке. Опыты заставляют нас предположить, что тела могут действовать друг на друга на любом расстоянии. Этим воспользовались для телеграфа и целый ряд исследователей, как Маркони, Браун, Арко, стали отделять проводники и зеркала друг от друга все большим и большим расстоянием. Здесь вы видите одну из станций беспроволочного телеграфа, развивающего такую мощность герцовских волн, что они в состоянии обежать кругом всю землю.



– Это, поистине, удивительное открытие человеческого ума, – заметил доктор. – А не будет нескромным спросить, м-р Блом, для каких известий предназначается ваш телеграф? Разве ваши сведения так важны для Англии, чтобы для них явилась нужда в создании такого сооружения, как это? – кивнул Руберг головою на башню.

– Не только важны, а даже необходимы для ее спокойного существования и будущего процветания, – просто сказал м-р Блом. – Господа, мы теперь одни и это подходящий случай выяснить наши обоюдные отношения. Вы – мои пленники на честное слово. Но за время вашего краткого пребывания вы мне понравились своей энергией и благородством, чем могут похвалиться в наш век очень немногие. Вы же, любезный Березин, – обратился он к Николаю Андреевичу, – в своей области проявляете столько любознательности и знания, что из вас, в конце концов, должен выйти замечательный человек. Итак, надеясь на ваше честное слово, я думаю, что вы не станете разглашать тайн Бломгоуза, если бы даже и вышли из него («гм... это мы еще посмотрим», – подумал про себя Руберг). Мне нечего скрываться перед вами. Господа! Бломгоуз настолько важен для Англии, нашей старой Англии, что, в случае неуспехов его научных изысканий, это может изменить политическую карту Европы. Известно ли вам, что Британия в течение многих веков справедливо считалась владычицей морей? Она во все времена старалась ослаблять значение тех держав, которые могли быть опасными для английского господства на море. И вот сейчас у нее есть противник, враг серьезный и опасный – Германия. Постоянный рост ее морских сил заставляет даже таких знатоков, как адмирал Бересфорд, думать, что британскому могуществу на море настанет ко-

нец. Постоянная опасность нападения Германии на Англию создает в обществе тревожное настроение. Когда-то английское правительство заботилось о поддержании престижа своего военного флота во всех морях, омывающих берега всего мира.

Теперь эскадры, которые защищали английские интересы во всех частях мира, или удалены, или значительно сокращены. Английские морские силы сконцентрированы в водах метрополии. Шесть из тринадцати морских баз, которые были у Англии в различных морях земного шара, потеряли все свое значение. Гарнизоны остальных семи морских баз уменьшены, вооружения их сокращены. Флоты крейсеров, назначение которых состояло в том, чтобы защищать торговлю, значительно уменьшены. Вместо шестидесяти осталось только двадцать, которые не могут гарантировать достаточной безопасности торговли. Тот факт, что для увеличения сил в водах метрополии Англия должна была отозвать все эскадры, которые были у нее за границей, и оставить без достаточных сил важные пункты Средиземного моря, показывает, что морская политика не сумела гарантировать защиту империи при наличных средствах.

«Но Англия с ее торговлею, с ее высокоразвитою промышленностью не может, не должна отказаться от своего господства на море, не подвергнув страну тяжелой опасности. Однако вооружение морских сил, постройка новых и новых дредноутов поглотили и поглощают сотни миллионов фунтов стерлингов. В конце концов, нация не в состоянии будет переносить тяжесть военных вооружений. Но общественное мнение Англии не может примириться с ролью второй морской державы. Необходимо было всеми силами отстаивать свое первенство в мировом концерте. И вот, по мысли покойного ко-



роля Эдуарда, – при упоминании имени монарха м-р Блом снял шляпу, – возник Бломгоуз...»

– Чем же может помочь Бломгоуз морскому могуществу Англии!.. – воскликнул доктор, внимательно слушавший речь ученого.

– Указанием новых путей в военной защите и нападении. Мы здесь вырабатываем новые военные вооружения, производим, совершенно скрыто от глаз всего света, опыты. И то, что оказывается пригодным, немедленно вводится в Англии. Соблюдение строжайшей тайны необходимо, иначе все через шпионов, станет достоянием других держав.

– Да, – задумчиво произнес инженер, – и тайна свято хранилась до сих пор?

– Скажите лучше: продолжает храниться, м-р Березин, так как вы с товарищами в счет идти не можете.

– И вы достигли многого в смысле улучшения техники защиты и нападения?

– Вы сами удивлялись нашим средствам, – ответил м-р Блом, намекая на рухнувшую гору и разрушенный столб.

Русские всецело отдались своим мыслям, порожденным грандиозными замыслами ученого. У доктора Руберга, как и у прочих, мысли были не из веселых.

– Скажите, м-р Блом – спросил инженер, когда все сидели уже в автомобиле во время спуска с горы, – как вы попали сюда? – И он указал рукою на окрестности. – Как удалось проникнуть сюда через неприступные горы, черные пропасти, непроходимые дебри, снеговые вершины?

– Со стороны Индии эта часть уже не так неприступна, как с севера, – ответил с обычным спокойствием м-р Блом. – Но она становится, все-таки, недоступной для человеческого взора. Я избрал эту

местность, как удобнейшую и наиболее отвечающую нашим целям. Кроме того, суеверные индусы, если бы они забрались глубоко в горы и случайно увидели бы одно из моих сооружений, не осмелились бы выдать тайны, так как приняли бы все за чудесный мираж, не более.

– Так эта замечательная местность избрана вами, доктор, – спросил Березин.

– Мною. Я тоже, несмотря на свои годы, участвовал в 1904 году в военной экспедиции полковника Ионгхесбанда в Тибет. Уж и тогда ближайшей моей задачей было осмотреть подходящую для города местность.

– Так Бломгоуз основан уже давно?

– Именно не так давно, как вы полагаете. Всего четыре года. Мы думали, что город с удобством можно было бы устроить где-либо поближе к Пенджабу (Пятиречье). Для этой цели исследовались предгорья Гималаев, между реками Индом и Сетледжем, но они оказались непригодными, так как туда случайно могли заглянуть и европейцы. Потому-то было решено идти дальше на север. Место было найдено. Это и есть долины Бломгоуза.

– Каким же образом вы могли доставить сюда людей, материалы и запасы? Пространство между Бломгоузом и Пятиречьем все же огромно и для караванов недоступно.

– Вы правы. Сначала было трудно. Но расстояние от Пенджаба уже не так велико, если принять во внимание, что Бломгоуз находится как раз против большой излучины Инда к северу. По Инду можно подняться до этого места, а от него около сотни миль до Бломгоуза. Кстати, вот и он снова пред нами, – закончил м-р Блом свои объяснения.

Действительно, приближались к городу. Через минуту автомобиль стоял у подъезда.



III

Заговор обитательниц Бломгоуза

В одной из роскошно обставленных комнат дворца находились две молодые девушки, мисс Кэт и ее неразлучная подруга m-lle Софи. Кэт стояла у окна и задумчиво глядела в сад.

– И я уж давно замечаю, – говорила Софи, продолжая начатый разговор, – что ты сделалась задумчивой и грустной. Мне кажется, я открыла причину твоей грусти.

– Не говори, не говори! – живо обернулась Кэт к своей компаньонке. – Знаю, что скажешь какую-нибудь глупость.

– Глупость? Зачем непременно глупость? Можно сказать и умную вещь. Что же тут странного или невозможного, что ты...

– Замолчишь ли, несносная! – воскликнула англичанка, подбегая к Софи и зажимая ей рот рукой.

– Ну, не сердись, милая, больше не буду. Да не буду же, – говорила Софи, видя, что подруга снова намеревается сделать ее безгласной. – Право, с тех пор, как сюда прибыли русские, ты сама сделалась невозможно капризной: то разговаривай с тобой только о русских, то не говори ни слова, не знаешь, что и делать. Но я все-таки довольна: они внесли большую перемену в наше монотонное существование, за это я им благодарна. Вообще мне все прибывшие очень нравятся, особенно этот доктор, он такой веселый.

– Милая Софи, – заметила Кэт, не удержавшись от желания подразнить француженку, – ты, должно быть, ошиблась: хотела сказать не доктор, а студент.

– Ну, что же, – спокойно согласилась Софи, – пусть будет студент. Он тоже веселый и хороший.

Даже Биби его полюбила и теперь все с ним играет. Помнишь, как она прыгнула ему на плечо в тот вечер? Какая у него была тогда забавная физиономия, смущенная!..

И французенка весело засмеялась, вспомнив случай с обезьяной.

– Как ты можешь так смеяться? – томным голосом промолвила белокурая красавица с легкой гримасой досады. – Ты и с ним весела и беспечна.

– А почему бы нам не смеяться, если нам очень весело. Он очень хорошо говорит о своих приключениях в горах, а иногда рассказывает такие истории, что нельзя не смеяться. Да и когда я его вижу, мне всегда становится весело. Потом, он так забавно говорит французские слова, что просто прелесть. Мне иногда почему-то кажется, что он должен бы быть моим братом.

– Уж не мужем ли, Софи? – с улыбкою заметила Кэт. – Уж сознайся, что он тебе нравится; ты его любишь?

– Конечно, люблю, – смело тряхнула волосами французенка, – побольше, чем ты своего инженера...

– Ах, что ты! – воскликнула внучка м-ра Блома, покрывшись румянцем до корня волос. – Зачем ты так говоришь, когда знаешь, моя рука отдана другому?..

– Это пузатому-то помощнику? Нашла клад! Старый, глаза навывкате. Фи, какой противный! Тогда как у мистера Березина одни глаза чего стоят: темные, глубокие. Да я бы за такие глаза все отдала, если бы не мой Жан, – высказалась горячая французенка.

– Ты, Софи, прекрасно знаешь, что я не по своей воле отдала руку Гобартону. Зачем же ты меня мучаешь? О, если бы не дедушка, – с тоской вымолвила



несчастливая девушка, терзаемая разнообразнейшей борьбой чувств.

– Прости меня, дорогая Кэт, – мягким голосом, в котором сквозило непритворное участие, обратилась к ней Софи, – я тебя очень огорчила. Но это потому, что я тебя люблю, а старого Гобартона терпеть не могу. Глаза у него, как у степного волка.

– Я не сержусь, но мне тяжело. Ты, моя сестра, знаешь почему, – тихо проговорила Кэт, застенчиво взглянув на подругу.

– Еще бы не знать, – проговорила бойкая француженка. – Не буду, не буду! – закричала она со смехом, видя, что Кэт опять покраснела и отвернулась.

И Софи, обняв подругу, покрыла ее лицо поцелуями, а потом принялась утешать ее, как могла.

– Не печалься, дорогая. С кем не бывает несчастий? А твое поправимо. Не из таких бед выходят целыми. Времени много. Мы что-нибудь придумаем до той поры. Если сама не придумаю, так мне Жан поможет. Надо только узнать мнение русского инженера, что он думает о тебе. Я уже справлялась. Все они холостые. Даже Губерг и тот неженатый. Эх, жаль, что у нас нет здесь еще какой-нибудь знакомой подруги. Я обязательно женила бы на ней доктора.

– Хорошо тебе так говорить, когда ты свободна, ни от кого не зависишь. Что захочешь, то и делаешь. Ты всегда была самостоятельна. Еще девочкой бегала в Лондоне куда хотела. А я? Обязательно должна считаться с дедушкой, с его желаниями. Ах, если бы был жив папа!

– Милая Кэт, ты такая же сирота, как и я. Твой дед тебя меньше любит, чем свою науку. Ради чего он затащил нас в это гнездо, где ничего нет, кроме гор и куса неба? Мог бы оставить нас в Париже, где мы жили в последнее время. Я полагаю, что теперь ты ему ничем не обязана. Да ты и должна бороться за свое счастье.

– Ты думаешь, это возможно?

– И еще как возможно-то, дорогая Кэт. Не я буду, если мы не перехитрим этого толстого Гобартона.

– Милая Софи! – радостно воскликнула Кэт.

– Заключим же союз: бороться не на жизнь, а на смерть!

– Идет, – храбро заговорила Кэт. – Союз оборонительный и наступательный.

Подруги поцеловались.

– Я начну завтра же действовать, – сказала Софи.

– А я тебе помогать во всем, – заключила ее подруга.

В эту минуту постучали в дверь.

Вошел Горнов. Увидев его, француженка бросилась навстречу с радостным возгласом:

– Вот и вы. Вас-то мне и надо!

– Очень рад служить вам, m-lle, – галантно произнес молодой человек, – и вам, мисс, – поклонился он в сторону Кэт.

– Пожалуйста, без церемоний, – шутливо заметила ему Софи. – У нас будет очень важный разговор. Но сначала садитесь и рассказывайте, где вы были и что видели?

– Да, да, – оживленно подтвердила Кэт, – рассказывайте, что делали?

– Были мы, все трое, в центральном корпусе м-ра Блома. Делать ничего не делали, а лишь слушали, что нам рассказывал м-р Блом. О, он великий ученый!

– Подите вы прочь с этой ученостью, – стараясь казаться сердитой, проговорила француженка, – она нам еще до вас надоела. Если вы опять видели какие-нибудь научные затеи, лучше замолчите и слушайте меня.

– С большим удовольствием, m-lle, я готов вас слушать хоть два дня подряд.



– Без глупостей. Слушайте, вникайте, разбирайте и дайте нам дельный совет.

Тайное совещание началось. К какому заключению пришли участники совещания, читатель узнает из дальнейшего рассказа.

IV

Невидимый – ученик Фарадея

В этот день, когда в отсутствие м-ра Блома его воспитанницы решили устроить маленький заговор, трое русских, как верно сказал студент, вновь посетили центральный рабочий корпус Бломгоуза, где они несколько недель тому назад познакомились с его руководителем.

На этот раз они не видали остроглазого Гобартона. Их встретил маленький живой англичанин с веселым лицом, мистер Вилькинс. Он поклонился им, как старым знакомым.

Проводив русских до кабинета м-ра Блома, Вилькинс куда-то исчез. Старый англичанин принял всех очень милостиво. Прежде всего спросил Николая Андреевича, не желает ли он взять на себя руководство работами в одном из отделов Бломгоуза, на что последний ответил, что он сочтет удовольствием работать под одной кровлей с таким замечательным человеком, как мистер Блом.

Видимо, ученый был обрадован получением столь быстрого согласия инженера и сказал, будто он впервые видит человека с подобными знаниями. Спутники инженера тоже удостоились получить от м-ра Блома несколько комплиментов по своему адресу, впрочем, ничем не заслуженных.

Старый ученый, пригласив русских следовать за собою, подошел к правой стене большого приемного зала и нажал рукою одно из рельефных стальных

украшений. Часть стены отодвинулась, образовав отверстие, достаточное для прохода одного человека. М-р Блом знаком пригласил следовать за собою.

Русские очутились в полутемной, круглой комнате. Середину ее занимала зиявшая впадина. М-р Блом, закрыв вход, повернул незаметную кнопку в темной части помещения. Через минуту в круглом отверстии что-то тускло мелькнуло. Показались какие-то переплеты и перед взорами русских предстали медные перила, окаймлявшие уходящую вглубь винтовую лестницу.

– Господа, – сказал ученый, спускаясь по лестнице, вдруг осветившейся бледным светом, – я намерен показать вам то, что живет, греет, одухотворяет и кормит Бломгоуз. Следуйте за мной.

Глубина лестницы была около пяти сажен. С последней ступенькой шедшие увидели коридор, замыкавшийся гладкой белой стеной. Старик направился к ней и открыл ее одному ему известным способом. У путников вырвалось невольное восклицание удивления.

Перед ними находилась обширная зала, белые стены которой уходили ввысь на десяток сажен. Лившийся в несколько ярусов окон дневной свет давал возможность с отчетливостью видеть ее внутренность.

С гранитных фундаментов поднимались к потолку титанические сооружения. Необыкновенные сочетания блестящих рычагов двигались с неуловимой быстротой, стройно и бесшумно. Гигантские спирали, блестя медью, как змеи, извивались в горизонтальном направлении. Середину помещения занимало сооружение, подобное колесу. Это не было настоящее колесо, но имело с ним отдаленное сходство. В массе металла была сделана выемка в виде окружности, футов тридцати в диаметре. Центр ее



занимал вертящийся вал с толстыми спицами из белого и желтого металлов. Верхние концы спиц не были соединены между собою ободом. Но каждой спице на внутренней части окружности соответствовал кусок металла, двигавшийся в ту же сторону, что и спицы. Между последними и спицами вала не существовало осязательной связи, между тем куски скользили по окружности с быстротой, еле уловимой глазом.

От центрального механизма во все стороны мерно выбрасывались, через определенные промежутки времени, блестящие пружины, состоящие из соединенных, как ножницы, коленчатых рычагов. Вид этих сверкающих в своей неустанной беготне стальных машин слепил глаза и затемнял разум.

– Видите ли вы, господа, – сказал доктор, отойдя в сторону на возвышение, – какая сила приводит их в движение?

– Это какое-то *perpetum mode* (вечное движение), – ответил инженер, с трудом отрываясь от созерцания невиданной картины.

– Вы чуть не угадали, любезный Березин, – но «вечного движения» нет и не может быть. Однако, машины, что вы видите – единственные во всем мире. И только я, – с понятной гордостью сказал ученый, – открыл секрет, над которым много веков думают лучшие умы человечества.

Что не удалось открыть Эдисону, то удалось открыть и даже привести в действие мне, ученику Фарадея.

– Вы!.. вы ученик Фарадея, великого «отца электричества»! – вскричал инженер голосом, исходящим из глубины души. – О!.. я тогда не удивляюсь виденным чудесам науки, я преклоняюсь перед вашим гением, как преклонился бы перед гением самого Фарадея...

И инженер действительно был готов упасть на колени перед ученым. А м-р Блом, как Прометей с небесным огнем в руках, стоял недвижно на возвышении среди покорных ему механизмов, и в этот момент, будучи освещен лучами солнца, казался не простым смертным, а сверхчеловеком с лицом титана, способным перевернуть мир.

Читателю, может быть, покажется странным, что одно упоминание имени Фарадея могло произвести такое влияние на инженера, в обыкновенное время столь хладнокровного и рассудительного и несклонного поддаваться экстазу. Но нужно заметить, что Фарадей наравне с Эдисоном и Араго был одним из самых замечательных мужей прошлого века. Именно ему, а не кому другому, человечество обязано великими открытиями в области электрохимии. Исследования электромагнетизма и так называемого индуктированного электричества поглотили большую часть жизни Фарадея. Еще мальчиком он интересовался химией и физикой. Верность этим наукам он сохранил навсегда и из целой плеяды ученых того времени выдвинулся огромными открытиями, давшими человеку новое орудие в борьбе за существование: неизведанную до 1840-х годов новую силу – индуктированное электричество. На пользовании его покоится весь прогресс современной электротехники. Только открытия Фарадея дали возможность человеку превратить электричество в своего слугу.

Телеграфы, телефоны, электрическая железная дорога, электрическое освещение, передача силы на расстояние – все это сделалось возможным только после открытий Фарадея, после приложения индуктированных токов, дающих тепло, свет и движущую силу. Обрисовать значение «отца



физиков» для своего века довольно легко. До Фарадея электричество было лишь ученой забавой, после него – сделалось новой, огромной отраслью науки. Фарадей, прожив 77 лет, скончался в 1867 году, сделав в своей жизни больше, чем кто-либо другой.

Фарадей был велик в своих опытах, и видеть его ученика, как это случилось с русскими, для всякого, интересующегося прогрессом техники, значило видеть частицу его самого.

Минутное молчание было прервано голосом размягчившегося м-ра Блома:

– Мой великий учитель дал много заветов: один из них тот, что наука, прежде всего, должна облегчать человечество в его борьбе за существование. Хотя Фарадей был последователь чистой науки, но я, его ученик, всю жизнь старался применять великие научные открытия на практике, чтобы извлекать из них пользу для людей.

– Итак, вы осуществили здесь одну из великих идей «царя физиков»? – спросил инженер.

– Нет, – ответил ученый, – нет. Эта мысль принадлежит Эдисону. Впрочем, ему принадлежит постольку, поскольку и всему нашему веку. Речь идет об утилизации энергии каменного угля, без добычи его из копей. Этим вопросом в последние годы, в особенности после забастовки английских углекопов, занялись многие химики Европы, не подозревая, что я уже блестяще решил задачу и применил свое открытие на практике.

– Так вы пользуетесь для своих машин каменноугольным газом?

– Вы говорите о метане? Каменноугольным газом в Германии и Америке уже живут целые города, фабрики и заводы. Нет, мое открытие гораздо глубже и важнее, чем получение каменноугольного газа. Из-

вестно ли вам, что топливо, хотя бы каменный уголь, дает всего 10 – 15% той полезной работы, какую оно должно бы давать. Современные технические усовершенствования не в состоянии уловить всего или хотя бы половины настоящего эквивалента работы. Лишь 10-15% энергии идет на действительную работу, а 85– 90% пропадают, бесследно распыляются в воздухе, превращаются в то, что профессор Ауэрбах зовет рассеянием энергии.

– Начинаю что-то припоминать, – сказал внимательно слушавший инженер. – Вы предвосхитили идею Рамзая, предполагавшего, как пишут газеты, утилизировать каменный уголь сжиганием в пластах и собирать газ в огромные центральные коллекторы, через что он думает получить 30 % энергии. Да, это произведет колоссальный переворот в промышленности.

– Вы подошли близко к разрешению вопроса, мистер Березин, но не разрешили его. Это удалось мне и, клянусь Всевышним, только я один знаю истинный секрет утилизации каменного угля. Надеюсь, он умрет со мной, как как я вовсе не настолько жесток, чтобы через свое открытие подвергать моих братьев, английских углекопов, голодной смерти от безработицы. Нет, я не сделаю этого! – громовым голосом заключил старый изобретатель. – Эти механизмы питаются скрытой теплотой каменного угля из огромного пласта, лежащего под нами. Подобно тому, как электрический ток передается по проволоке, так и девяносто процентов энергии каменного угля течет к моей станции по проводам, находящимся в толще каменноугольных рождений. Здесь, – указал он торжественно на машины, – вы видите станцию, дающую столько энергии, которой вполне достаточно для приведения в движение всех промышленных городов Англии.



– Как! – вскричали инженер и доктор вместе, проявляя все признаки глубокого изумления: – Даже девяносто процентов?! Вы решили задачу, неразрешимую для лучших химиков нашего времени! Такое открытие граничит с чудом!

– Воочию убеждайтесь, господа, – сказал старец, делая жест в сторону механизмов.

А машины, как огромное разбуженное чудовище, по-прежнему бесстрастно двигались, мелькая своими блестящими частями, словно панцирем. Колесо без обода вращалось с изумительной быстротой, рычаги продолжали выбрасываться и сокращаться.

– Нам пора идти, – заметил м-р Блом.

Наверх поднялись в обратном порядке. Стена сомкнулась и огромнейшая из мировых станций, силовая станция английского ученого была опять скрыта от всех нескромных взоров.

В зале остановились. Доктор Руберг, до того погруженный в свои мысли, подошел к м-ру Блону и спросил:

– Так это вами подожен пласт каменного угля, милях в тридцати отсюда?

Ученый удивленно взглянул на говорившего.

– Разве вам и это известно? Вы знаете, что верхний пласт угля, к западу отсюда, горит? Мне не было нужды его поджигать, он сам воспламенился, скажу более: это далеко не соответствует моим видам. Я бы желал видеть пласт в состоянии покоя, так как мне не надо огня для извлечения энергии, нужной моей станции. Но я желал бы знать, как вы, будучи без инструментов, без приборов, определили горимость каменноугольного пласта?

– Мы видели пламя собственными глазами, – спокойно отвечал доктор. – Из этого ада мы вышли целыми только благодаря инженеру.

Пришла очередь для м-ра Блома изумляться словам доктора. Он недоверчиво взглянул на трех

друзей, думая в словах Руберга найти признаки хвастовства, но, увидев их благородные, решительные лица, предположил, что они подверглись под влиянием невиданных вещей внезапному су-масшествию.

Однако доля правды в первых словах доктора заставила его отвергнуть и это предположение.

– Вы меня мистифицируете, – проговорил м-р Блом. – Нельзя поверить, чтобы человек мог пробраться в самое пекло, где и сатане будет жарко. Я, поверьте, глубоко ценю вашу неустрашимость, ваши способности выпутываться из сложных положений, но... видеть собственными глазами пожар каменноугольного пласта – это, как хотите, превосходит всякую долю вероятия.

– Между тем, это – факт, не подлежащий сомнению, так как перед вами трое очевидцев, – начал Березин. – Мы вас можем уверить, только заставив выслушать наш рассказ.

– Жду с нетерпением, – объявил ученый, приглашая всех садиться.

Инженер начал с того, как случайно убитая саксаульная сойка дала пищу их размышлениям, со всеми подробностями передал путешествие по гроту с воздушной тягой, рассказал о гибели проводника, о виденной им страшной и величественной картине пожара огромной подземной пещеры и о вынесенных из этого кошмара впечатлениях.

Старый профессор с величайшим вниманием следил за рассказом, вглядываясь в изменявшиеся лица друзей, переживавших теперь еще раз весь ужас пребывания в пещере. Он уже не сомневался в правдивости их слов. Да, эти русские – великие герои, способные идти безрассудно на самую глубочайшую опасность. Такие люди редки, их необходимо беречь, как зеницу ока!..



– Господа, вы проявили редчайшее мужество и хладнокровие в смертельной опасности, – заговорил ученый, – что делает вам честь. Я же очень рад, что судьба столкнула меня с такими людьми, как вы. Прошу извинить мое вполне понятное при данных условиях сомнение. Усомниться мог бы всякий, а не только я, заядлый скептик.

Ученый с чувством крепко пожал руки трех друзей.

«Гм... – думал про себя доктор Руберг, – этот старец начинает мне нравиться все больше и больше. Несмотря на гениальность и кладезь всякой учености, он понимает людей». После такого рассуждения холостяк успокоился.

– Я не стану вас задерживать, – заявил м-р Блом, – попрошу остаться со мной только м-ра Березина.

Руберг и Горнов вышли, простившись с Бломом, а он вместе с инженером перешел в свой кабинет и здесь изложил перед ним свою теорию извлечения рабочей силы для центральной станции, заключив ее словами.

– Секрет должен остаться похороненным навсегда. Но я уже стар и не могу, вследствие многочисленных обязанностей по управлению Бломгоузом и производству опытов, постоянно следить за станцией. Среди моих инженеров, к величайшему сожалению, нет ни одного, который бы любил науку ради науки, а не ради карьеры и обогащения. Таким лицам я не могу доверить тайны управления станцией. Увидев вас, я подумал: вот человек, который мне нужен и которого посылает мне судьба. Я питаю надежду, что вы, любезный Березин, согласитесь заменить меня в руководстве механизмами станции.

Совершенно сбитый с толку этим неожиданным предложением, Николай Андреевич выразил

свое согласие. В беседе с преемником «царя физиков» его слух поразился одной фразой. Эта фраза, заключающаяся в словах: «обязанности по управлению Бломгоузом», напоминала Березину их допрос невидимым, и он тотчас решил потребовать от м-ра Блома объяснений.

– Позвольте, – сказал он, – задать вам один вопрос: если вы, кроме руководства техническими приемами, несете еще обязанности управителя Бломгоуза, то, что же тогда остается делать невидимому, тому, что нас допрашивал по прибытии сюда?

Старый ученый чуть заметно улыбнулся.

– Надеюсь, вы простите меня за маленькую мистификацию. Единственным хозяином и вершителем судеб Бломгоуза являюсь я, доктор Блом. Я не мог поручить никому такого важного дела, как допрос иностранцев, но не мог и показать вам своего лица, не зная вас совершенно.

Инженер понял, что его подозрения о том, что Блом и невидимый допросчик – одно и то же лицо, оправдались. Больше ему ничего не было нужно.

– Итак, я могу надеяться на вас, как на моего помощника? – задал на прощание вопрос м-р Блом.

– Вполне можете рассчитывать на мою преданность интересам науки, – серьезно ответил инженер.

V

Несчастье

К дворцу мистера Блома прилегал чудный сад, насаждения которого уходили вверх по склону горы. Природа не пожалела своих красок, чтобы сделать его живописным. Густолиственные зонтичные пальмы перемешивались с зелеными родо-



дендрами. Хинные деревья сменялись не дающими тени эвкалиптами.

Лианы и подобные им чужеродные растения обвивались вокруг стволов, создавая чудный узор для глаз. Часть сада не имела дорожек, была запущена. И там-то в ясные солнечные дни многочисленное пернатое население, воссылая хвалу Создателю жизни, наполняло сад немолчным гомоном и стрекотанием.

Среди глухой части сада показалась дородная фигура доктора Руберга. Он был не один, а со своим учеником, Горновым. Озабоченное лицо последнего показывало, что приятели говорили о чем-то серьезном.

На самом деле они наедине, не боясь быть услышанными, обсуждали вопрос большой важности: как спасти мисс Кэт от несносного жениха, а инженера уберечь от мести Гобартона?

Доктору только что сделалось известным семейное положение м-ра Блома. Он раньше знал, что старый ученый являлся единственным распорядителем всего промышленного городка, про себя полагал, что инженеру, как гостю, не должно грозить большой опасностью. Но когда увидел, что все дело осложняется еще непредвиденным соперничеством из-за женщины, тогда доктор призадумался.

– Не будет добра, коли вмешались женщины, – сказал он. – И она очень страдает от мысли, что ей придется выйти замуж за этого... бульдога?.. Впрочем, что я спрашиваю, конечно, страдает. Достаточно взглянуть на его богопротивную физиономию, чтобы понять это.

– Софи утверждает, что она очень мучается, бедняжка. Она на все согласна, даже на побег из Бломгоуза, только бы избавиться от ненавистного Гобартона.

– Фьюй! – свистнул Руберг. – Про побег-то еще вилами на воде писано. Как убежишь, скроешься отсюда, когда кругом вон какие горы, – он махнул рукой на еле видневшиеся, покрытые дымкой тумана вершины. – Жаль, что мы не птицы, а людям подняться здесь трудненько...

– Пойдите! Вот мысль, дорогой доктор – воскликнул студент с таким жаром, что Руберг вполоборота взглянул на него. – Мне Софи что-то болтала о том, будто м-р Блом имеет аэропланы или что-то в этом роде...

– Тише, – понизил голос доктор. – Деревья могут иметь уши. Вы не шутите, мой дорогой?

– Какая шутка, доктор. Я только не вслушался хорошенько, но знаю, что и мисс Кэт, и Софи летали на них.

– Э-эх, плохо, плохо, молодой человек, – с легкой укоризной заметил Руберг, – голова-то у вас занята, я вижу, более этой француженкой, чем аэропланами. Впрочем, m-lle Софи мне очень нравится, она деятельная особа и, кажется, не походит в этом отношении на свою подругу. Надо будет мне самому переговорить с ней.

– Очень хорошо сделаете. Она на это согласится с большим удовольствием.

Друзья с минуту помолчали.

– А вам не кажется странным, Федор Григорьевич, – начал опять студент, – что инженера до сих пор нет здесь? Ведь, с полчаса, как он должен был бы прийти.

– Должен бы. Но у него теперь много дела; вероятно, м-р Блом задержал. Хотя Николай Андреевич аккуратен в своих словах и обещаниях.

– Это меня и беспокоит. Не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья?



– С Березиным-то! Видно, вы еще мало его знаете? Это, доложу я вам, человек редкой неустрашимости и присутствия духа. Чем сильнее опасность, тем он бывает хладнокровнее. Он не теряется ни в каких положениях. Впрочем, нельзя не сознаться, что в переделках, подобных настоящей, мы еще не бывали, здесь кругом такие чудеса, что и во сне не увидишь.

– Я, доктор, даже начинаю бояться всех этих научных приспособлений, которые могут двигать горами и убивать. Многое виденное нами превосходит всякое вероятие, хотя бы эта станция...

– Сказать правду, мне тоже не по нутру все здешние чудеса, – признался Руберг, – а одно так мне вообще не нравится.

– Что?

– Да эти ихние пистолеты, могущие превратить в прах человека, или столб, или целое строение.

– Но ими вооружены только высшие агенты, исключительно инженеры. В их руках это оружие не может быть опасным.

– А в руках Гобартона?

Страшная мысль пронизала мозг Горнова.

– Вы думаете, он осмелится?

– Ничего не думаю. Только от такого человека можно всего ожидать...

Разговор оборвался, так как друзья подошли к террасе, соединявшей дворец с садом.

– Сагибы, – встретил их слуга, запыхавшийся от быстрого бега, – пожалуйста в главное управление, автомобиль ждет вас у подъезда.

– Что случилось, почему в управление? – разом спросили с беспокойством в голосе Руберг и Горнов.

– Вас туда просил сагиб Блом, – ответил слуга.

Через минуту друзья были внутри автомобиля. Он пыхнул и, зашумев, двинулся по направлению к красному дому, который они занимали по прибытии в Бломгоуз.

Доктор с понятным нетерпением ожидал появления дома с флагом. Три минуты показались ему вечностью. Наконец, экипаж остановился у каменного крыльца. Предчувствуя недоброе, русские двинулись внутрь апартаментов. Их самочувствие еще ухудшилось, когда на повороте они встретили инженера Гобартона, поклонившегося им с противной улыбкой. Рубергу показалось, что в глазах англичанина блеснул насмешливый огонек.

– Господа, – встретил их м-р Блом в дверях одной комнаты, – не тревожьтесь и не беспокойтесь за вашего товарища, он будет жив...

– Что, что с ним! – крикнули оба, отстраняя Блома и проникая в комнату.

Там, на кожаном диване, в одном белье, лежал Николай Андреевич. Лицо было иссиня бледное, глаза закрыты, зубы крепко сжаты. Все тело подергивалось невероятной судорогой, словно через него пропускали гальванический ток.

Доктор подбежал к расprostертому Березину и приложился ухом к его груди. Сердце билось, но работало очень неравномерно. Руберг, не понимая в чем дело, вопросительно взглянул на м-ра Блома. – Это явление сейчас кончится, м-р Руберг, – ответил старик, и голос его дрожал от внутреннего волнения. – Я принял свои меры, и наш дорогой Николай Андреевич будет спасен.

– Чему или кому мы обязаны, – почти грубо спросил русский врач, – что находим нашего друга при смерти? – Руберг сделал ударение на слове «нашего друга».



М-р Блом с некоторым беспокойством взглянул в лицо говорившего и как будто выпрямился.

– Ваш друг получил удар радиоэлектрического луча. Удар был очень силен, но не опасен для жизни. В этом виноват, конечно, я, как руководитель Бломгоуза, но большая часть вины лежит на м-ре Березине и инженере Гобартоне.

– Гобартоне? – подпрыгнул доктор: – Я тогда не удивляюсь тому, что случилось.

– Разве вы не доверяете Гобартону?

– Не имею оснований не доверять, но думаю, что без него несчастья бы не случилось.

– Могло случиться и без него. М-р Березин, не зная, конечно, того, прошел через линию сильнеешего напряжения радиоэлектрических лучей и получил заряд.

– Почему же эти опасные места не закрыты?

– Зону их действия нельзя закрыть. Это линия нашего беспроволочного трамвая.

Руберг понял все. Для него было ясно, что Гобартон подтолкнул Николая Андреевича пройти по линии напряжения тока какой-то невидимой силы.

– Я вас пригласил, доктор, – сказал ученый, – чтобы под вашим наблюдением перенести больного ко мне в дом. Смотрите, ему уже лучше.

Студент и Руберг обернулись к своему товарищу. Судороги его как будто прекратились, и на лице появился румянец, хотя глаза оставались закрытыми.

– Перенесемте его в автомобиль и доставим домой, – сказал м-р Блом. – Теперь опасаться уже нечего.

Через десять минут бесчувственный Николай Андреевич лежал в удобной постели, а около него безотлучно копошился Руберг.

VI

Среди тайн Бломгоуза

Болезнь приковала инженера к постели дней на десять. Руберг и Горнов в первое время не отходили от него ни на шаг, бессменно дежуря днем и ночью. Обитательницы дворца старого ученого, узнав о несчастье с Николаем Андреевичем, сделали все возможное, чтобы обставить его выздоровление самыми нежными женскими заботами.

Экспансивная француженка, едва узнав о случившемся, первая влетела в комнату, несмотря на противодействие Руберга. Взглянув на больного и осведомившись у Горнова о состоянии его здоровья, она упорхнула к подруге, чтобы несколько успокоить ее разгоряченное воображение, уже рисовавшее самые ужасные картины. Как только Березину сделалось лучше настолько, что он в состоянии был открыть глаза, обе девушки явились к больному и своим участием старались облегчить его положение.

Мистер Блом в этот день и в последующие посылал справляться о здоровье своего гостя, а вечерами и сам заглядывал в комнату больного. Друзья последнего, находясь почти безотлучно у Березина, узнали от него и причину происшедшего несчастья. Догадки доктора о том, что тут не обошлось без участия Гобартона, подтвердились. Березин вместе с ним прибыл на платформу из центральной станции. Вагон трамвая ушел дальше. Вместо того, чтобы идти кругом через платформу, Гобаргон предложил пройти через рельсы трамвая. Инженер, ничего не подозревая, двинулся вперед вместе с Гобартоном, но, очевидно, последний в нужную минуту успел отступить, а в тело Березина попал целый радиоэлектрический заряд. Николай



Андреевич помнил только, что его при вступлении на путь пронизали словно тысячи иголок. Ощущение было похоже на сильный разряд электричества через человеческое тело.

Он упал, и что было дальше, сказать не мог, так как ничего не помнил.

Впоследствии м-р Блом сознавался, что он лично был удивлен, что инженер сравнительно благополучно отделался. Старый ученый объяснял это лишь тем, что сила лучей была столь огромного напряжения и быстроты, что проходила тело человека без тех страшных потрясений организма, какие могла бы сделать, будучи не столь велика. Только от радиолучей на теле инженера остались как бы ожоги, прошедшие лишь через две недели.

В период полного выздоровления больного его комната сделалась как бы гостиной для всех обитателей дома. М-лле Софи и мисс Кэт проводили в ней целые часы, беседуя с Николаем Андреевичем о последних событиях всего мира, о литературе, – а с английской и французской литературой обе девушки выказывали недюжинное знакомство. М-р Березин, в свою очередь, рассказывал им о России, повествовал о русском житье-бытье, о русских нравах и обычаях, обо всем нашем укладе жизни, столь непохожем на жизнь европейцев Запада.

От Горнова девушки уже знали кое-что о приключении в пещере. Им хотелось выслушать этот рассказ из уст инженера, и они с затаенным дыханием, блестящими от страха за участь путешественников глазами, в десятый раз «слушали» рассказ Николая Андреевича о пребывании в «преддвериях ада», о страшной силе ветра и о раскаленных до бела каменноугольных пластах.

– Это гораздо ужаснее, чем полет на воздушном корабле, – сказала как-то мисс Кэт, выслушав повествование еще раз.

– А вам, мисс, разве приходилось совершать полеты на воздушных кораблях? – спросил инженер, смотря на белокурую красавицу глубоким взором черных глаз.

– Не раз приходилось, мистер Березин, – ответила она. – Мы ежегодно два раза бываем в Лондоне, где живем по неделе и по две.

– И гуляем по паркам, посещаем театры, бываем в магазинах, – заговорила француженка. – Это самые лучшие моменты нашей жизни!

– Вы, мисс, вероятно, хотите сказать, что на воздушном снаряде вы достигаете до того пункта, откуда можно попасть кратчайшим путем в Лондон? – переспросил инженер глубоко изумленным тоном.

– Да нет же, м-р Березин, – капризным голосом заговорила Кэт, сердясь на инженера за его непонятливость. – Мы вместе с Софи летали отсюда на корабле прямо в Лондон... Дедушка имеет несколько таких кораблей.

– Инженеры их почему-то называют вовсе не кораблями, а а-эро-пла-нами, – протянула шутиво Софи.

– И вы нигде не останавливались? – спросил спокойно инженер, при имени мистера Блома вспомнивший, что он имеет дело не с обыкновенными людьми, а с гениальным учеником самого Фарадея, уже приучившим его ничему не удивляться.

– Иногда останавливались, а иногда нет, прямо летели в Англию, без всяких остановок.

– Но как же вы были с провизией? И, вероятно, сильно уставали?

– Да откуда вы свалились, м-р Березин, что задаете нам такие вопросы? – засмеялась Софи. – Неужели вы не видели здешних воздушных кораблей? Там вообще нет надобности запасать провизию в узелочках, когда к услугам пассажиров есть целая столовая...



Как ни был подготовлен Березин ко всему, но при слове столовая он невольно сделал жест удивления.

– Не верите? – спросила мисс Кэт. – Ну, так я сама попрошу деда показать вам здешние воздушные экипажи. Сегодня же скажу.

– А, кстати, завтра м-р Березин может уже выходить и мы все вместе отправимся смотреть этих крылатых драконов, – оживленно закончила французенка.

Вечером того же дня м-р Блом, сидя с тремя русскими в гостиной, завел разговор о воздухоплавании.

– Кэт передавала мне, что вы очень интересуетесь воздухоплаванием, вернее, парением в воздухе, – сказал он инженеру. – Вам желательно взглянуть на имеющиеся в Бломгоузе новые типы аэропланов.

– Это наше общее желание, – за всех отвечал инженер. – Мне крайне интересно узнать, какими аппаратами подарили вы человечество, вы – царь науки в полном смысле этого слова.

– Царь науки не всегда бывает повелителем природы, – отвечал ученый. – С большими трудами, после продолжительной подготовительной работы с такими светилами науки, как Фарадей, Тиндаль, мне удалось кое-что изобрести, кое-что открыть. Не буду ложно стыдиться достигнутого успеха. Мое принадлежит мне. И, конечно, я не откажусь от своих изобретений, всецело клонящихся к пользе моего дорогого отечества. Но должен сказать, что и в сфере воздухоплавания, или летания, хотя много достигнуто, но задача летания не решена окончательно.

– Однако я слышал что-то о воздушных кораблях, совершающих такие большие рейсы, о каких

человечество еще не слышало, – осторожно заметил Березин.

– Совершенно верно. Конструкция этих кораблей – больших монопланов – принадлежит мне. Но как только техника даст двигатели, подобные моим, все государства без исключения обзаведутся такими же летательными аппаратами.

– Вы все время говорите о летательных аппаратах? Нам бы хотелось знать, подразумеваете вы под ними и дирижабли, подобные цеппелиновскому, или только говорите о всевозможного рода аэропланах?

– Я, как и мой брат, Робюр, герой фантазии Жюль Верна, признаю только аппараты тяжелее воздуха. Изменчивую воздушную стихию могут покорить приборы тяжелее ее. Громоздким дирижаблям, представляющим огромную площадь сопротивления ветру, это не под силу.

– Мне кажется, – начал Руберг, – что прежде всего аппараты тяжелее воздуха страдают отсутствием устойчивости, чего нет у дирижаблей.

– Разве вы не читали в «Титез» о морских маневрах у берегов Англии¹ в присутствии короля Георга? – отвечал вопросом на сомнение доктора Руберга м-р Блом.

– Вы говорите о грандиозных маневрах конца апреля месяца? Я видел это известие мельком. Там еще говорится о гидропланах или морских аэропланах, – отвечал за друга инженер.

– Как раз о них я и хочу говорить. Это была всемирная проба аэропланов, изобретенных здесь, в Бломгоузе. – Да, да, в Бломгоузе, – подтвердил ученый, заметив жест удивления со стороны слу-

¹Эти маневры происходили в мае 1912 г. в Снитхеде.



шателей, собиравшихся возражать. – Строитель аэропланов – Шорт является моим учеником. Он конструировал морские аэропланы. С тех пор, как к ним применены новые аппараты для придания устойчивости, человек сделался настоящим царем воздуха.

– Простите мое невежество, – сказал Руберг. – Это какой же аппарат для придания устойчивости, о котором вы упоминаете?

– Главный недостаток аэропланов состоял в том, что эти механические птицы были неустойчивы в воздухе, т.е. могли опрокидываться набок, несмотря на стабилизирующие поверхности. Последнее изобретение и состоит в том, чтобы придать аппарату такую же устойчивость, как и всякому другому кораблю. Для этого внизу, под крыльями, устраивается резервуар, в виде цилиндра, со сжатым воздухом от 300 до 500 атмосфер. Если аппарат вследствие чего-либо начинает сильно крениться в ту или иную сторону, под опускающуюся поверхность крыла дается сильная струя воздуха из резервуара, которая и поднимает опустившуюся сторону, выравнивая аэроплан.

– Это весьма остроумно, – заметил доктор. – Право, нашим соотечественникам никогда бы не додуматься до такой простой вещи.

– Напрасно обижаете своих соотечественников, мистер Руберг. Как раз ни кто иной, как русский авиатор Ефимов придумал приспособление, дающее летуну возможность подняться на аэроплане без помощи других людей.

– А зачем тут нужны были люди?

– Вероятно, вы видали, что при взлете аэроплана за хвост его держатся несколько человек.

– Да, видал, на полетах в Петербурге.

– Это громадное неудобство, особенно для военных авиаторов, вынужденных подниматься со всякого места и при всяких условиях, устранено приборчиком, придуманным Ефимовым. Весь прибор для мелких аэропланов весит около двух фунтов, а при нем не нужно людской помощи.

– Следовательно, аэроплан может взлететь с любого места?

– Вот именно. Возвратимся лучше к Шорту, – сказал инженер. – Так вы считаете теперь человека царем воздуха. Это вполне возможно, когда найдена устойчивость в воздухе. В том же известии об английских маневрах было указано, что авиаторы бросали вниз с аэропланов тяжести от 8 до 15 пудов. Это самый опасный шаг для авиатора, так как облегченный аппарат всегда делает скачок вверх и может опрокинуться.

– Насколько мне помнится, – проговорил инженер, – Шорт обещал в ближайшем будущем сбрасывать уже не 15 пудов, а даже 60-огромную тяжесть.

Старый ученый улыбнулся.

– Это обещание, господа, уже приведено в исполнение и на глазах у публики, которая, все-таки, ничего не знает.

– Как так? Где же было испытание?

– Во время тех же маневров флота. Аэропланы на самом деле сбрасывали не 8-пудовые тяжести, как было сказано газетным корреспондентом, а грузы в 60 пудов. Эта тайна не была разглашена, чтобы «не дразнить гусей», как выразился ваш талантливый баснописец.

– То есть, иностранные государства, – вставил доктор. – Умно придумано. А вы полагаете, что международные шпионы не проникнут в эту тайну?

– Тайны, выходящие из Бломгоуза, только тогда делаются известными, когда того пожелают их вла-



дельцы, – гордо произнес м-р Блом. И в словах этого истого сына своего учителя звучало столько любви и преданности родине, что произнесенная им фраза нисколько не походила ни на напыщенную, ни на трескучую.

VII

В воздухе

На следующий день наши друзья проснулись рано. Не успели они позавтракать, как слуга-индус доложил, что в гостиной их ожидает м-р Блом. Все трое поспешили одеться. М-р Блом сидел с мисс Кэт и м-лле Софи. Молодые девушки были одеты в короткие платья из серой материи, плотно охватывавшие их изящные фигурки; на ногах их красовались полу-ботфорты, а на головах – маленькие шапочки с перьями. В этих костюмах они походили на наездниц.

– Нас ждет автомобиль, – сказал Блом. – Идемте.

Все двинулись к выходу, а через пять минут, пролетев мимо озера, автомобиль был за пределами города.

По извиистой горной дороге экипаж взбирался вверх. Через несколько минут заслонившие горизонт горы отошли в стороны и образовали широкую, почти круглую долину, сажен 600 в поперечнике. Автомобиль остановился у отвесной скалистой горы.

Путешественники вышли. На большой площади, представлявшей твердый уступ скалистой горы, вершина которой поднималась чуть не до облаков, находились два больших сооружения, отчасти напоминавшие распластанных огромных птиц, с удлинненным телом.

Сзади этих чудовищ в гладкой скале виднелись гигантские створки из блестящего на солнце ме-

талла. По величине эти ворота могли быть только сооружением циклопов.

Эти сверкающие щиты на темном фоне скалы настолько бросались в глаза, что доктор прежде всего обратил внимание на них.

– Ангары, – ответил ученый, – лучше всего их было сделать в горе, а эти огромные двери сооружены из никелевой стали.

– А-а?! – изумленно протянул доктор в ответ.

При ближайшем рассмотрении чудовища оказались исполинских размеров монопланами, имеющими отдаленное сходство с Райтовскими.

– Взойдемте внутрь, – предложил м-р Блом.

По маленькой лестнице все общество взобралось в хвостовую часть машины, на корму. Из большой, просто, но изящно убранной каюты, служившей, по-видимому, столовой, в переднюю часть корабля вел коридор, освещающийся сверху через стеклянные иллюминаторы. Небольшие дверцы в стенках коридора показывали, что за ними имеются еще помещения.

В передней части аэроплана, тотчас за двойным пропеллером, находилась капитанская рубка, заполненная самыми разнообразными приборами: цилиндрами, змеевиками, рычагами, буссолью, манометрами и т. п. сложными механизмами. Три передние стенки рубки состояли из толстых стеклянных перегородок.

Посетители двинулись из рубки вправо, по одному из широчайших крыльев, огражденных перилами. Пройдя две каюты, вышли на площадку и опять наткнулись на двойной пропеллер-гигант. Лопастей его превышали тройной человеческий рост.

– На той стороне – то же самое, – просто стал объяснять гениальный ученый. – Через две каюты вы встретите такой же пропеллер, дающий возмож-



ность непрерывно оставаться в воздухе какое угодно время. А теперь пожалуйста сюда.

И м-р Блом открыл дверцу. Перед глазами была небольшая, огражденная перильцами платформа для гуляния, идущая под окнами кают от головы к хвосту. Спереди она была закрыта боковыми каютами, а сзади – стенками столовой. Через последнюю посетители вышли на платформу, окаймлявшую левый борт удивительной летательной машины.

– Теперь попробуем работу пропеллера, – сказал м-р Блом, направляясь вместе с гостями в капитанскую рубку. Там он нажал один из рычагов. Появившийся блестящий круг за стеклом перед глазами и жужжание винта возвестили, что аппарат в исправности. Поворот – и пропеллер остановился.

– Вы, стрекозы, – обратился ученый к девушкам, – пока я буду управлять полетом, займитесь гостями и пошлите мне механика. – Господа, прошу держаться крепче. Начинаем.

Снова раздалось жужжание пропеллера, пол под ногами дрогнул. Инженер, держась за какой-то выступ, взглянул через стекло. Ровная площадка исчезла и на аппарат, как-то боком со страшной быстротой двигалась каменистая громада горы. Но в тот же момент гора начала проваливаться, словно в пропасть. Перед взорами стали расстилаться другие более отдаленные пейзажи – горные склоны и покатоги, покрытые, словно щетиной, хвойным лесом.

– Скорей на палубу! – кричала француженка, схватив инженера за руку. Он взглянул на дверь: в нее выходили его друзья, вместе с мисс Кэт.

Кинув взор на старого ученого, сосредоточенно стоявшего в середине каюты с руками на рычагах, Березин бросился за француженкой «на палубу». Открывшийся вид был восхитителен.

Аэроплан поднимался все выше и выше, летя по спиральной линии, как ястреб, намеревающийся схватить свою добычу. Громады гор отходили вдаль, кругозор расширялся с каждой секундой. Вот под ногами еще раз мелькнул и в то же мгновение пропал каменистый выступ, который можно было узнать по оставшемуся там аэроплану. Как отсюда, с этих вершин, все мелко и ничтожно!.. Аэроплан казался не более ласточки. Прозрачный горный воздух как-то особенно скрашивал панораму дальних гребней гор, чуть-чуть мерещившихся своими белыми вершинами сквозь дымку прозрачной густевшей синевы.

– Смотрите, смотрите, – воскликнула мисс Кэт, крепко держась белыми ручками за перила, – вот виден наш Бломгоуз!

Все взглянули туда, куда она указывала. Среди бурых гребней гор ярким зеленым пятном вырисовывался неведомый миру город. Правая сторона его темнела от большого озера. Отдельных зданий различить было уже невозможно, но кварталы выделялись, как квадраты шахматной доски.

А аэроплан, словно огромная птица, плавно несся ввысь, как бы поднимаясь по винтовой лестнице. Уже пропали из глаз туманные очертания отдельных горных кряжей, пейзаж быстро менялся. Аппарат, вполне заслуживающий наименования воздушного корабля, круто повернул и направился на восток к высоким горным пикам с вечными снеговыми шапками. Европейцы были очарованы чудными картинами, ежеминутно представлявшимися их взору.

– Ну, как вам нравится мой «Левиафан»? – раздался позади них голос м-ра Блома.

– Я восхищаюсь его творцом, м-р Блом, – сердечно сказал инженер, протягивая руку ученому, которому тот с чувством пожал.



– Я никогда бы не подумал, что что-нибудь подобное может существовать на свете! – воскликнул доктор, обращаясь к старцу, а студент восторженно добавил:

– Вы, мистер Блом, настоящий, подлинный царь природы.

– Хорошо сказано, друг, – поощрил доктор студента. – И почему я не молод – я бы кувыркался и бегал от восторга. Здесь, в небесах, особенно легко дышится...

Прочувствованные слова русских тронули сердце старого ученого. Он благодарил всех за сочувственное отношение к его детищу.

– Становится довольно свежо, господа, – сказал ученый, – не пожалуете ли пока в кают-компанию?

Кают-компания и была та столовая, о которой мы уже упоминали. Широкие стеклянные окна на три стороны пропускали много света, давая возможность обозревать три стороны горизонта. Как только вошли внутрь каюты, разговор возобновился. Березин навел его на интересующий всех предмет – несущий их аэроплан, спросив, из какого материала построен «Левиафан».

– Главным образом из алюминия и искусственной древесины, которая свободно заменяет дерево и обладает гораздо большей, нежели оно, сопротивляемостью.

– Искусственной? – переспросили все присутствующие: – Мы что-то не слышали о таком продукте, посвятите нас в подробности.

– С удовольствием. Мы воспользовались здесь изобретением француза Л. Шарре, который в течение шести лет работал над проблемой добывания искусственного дерева и, в конце концов, разрешил ее удачно.

При массовом производстве искусственное дерево обходится гораздо дешевле настоящего. Добывается оно очень просто. Сырым материалом служит солома. Колосья при помощи специальной машины механическим путем расщепляются вертикально. Затем, к приготовленной таким образом соломе прибавляются известные химические вещества, и весь этот материал варится при высокой температуре и сильном давлении. При этом солома превращается в однородную массу и прессуется. Добытому таким путем материалу можно придать любую форму: брусков, широких досок или толстых балок какой угодно толщины и длины. Искусственная древесина тверже и обладает большей сопротивляемостью, нежели обыкновенное дерево. Ее можно распиливать, разрез чистый и гладкий.

При многократной прессовке получается материал довольно легкий, очень твердый, обладающий большей крепостью, чем все известные сорта дерева; как раз такой материал подходит для постройки воздушных аппаратов. Поэтому-то и наш аэроплан, несмотря на кажущуюся громоздкость, очень легок. Все постройки его, как и эта комната, сделаны из искусственной древесины.

– А ваши пропеллеры? – спросил инженер.

– Сделаны из того же материала, – закончил м-р. Блом.

– Следовательно, вы не боитесь потерять их? – вывел заключение Руберг.

– Случайности всегда возможны, – отвечал м-р Блом, – но это у моих аэропланов не поведет за собою несчастья.

– Как так? Разве вы можете держаться на воздухе без винтов?



– Нет, в данном случае не могу. Но вы заметили, что у меня всюду двойные пропеллеры.

– Я видел, – сказал доктор, – и хотел вас спросить, что это значит, да забыл за массой новых впечатлений.

– Это значит, что я применил к делу изобретение вашего другого талантливого соотечественника, инженера Луцкого.

– Боже мой, сколько талантов, – комически вздохнул доктор, – а мы, близорукие, и не видим и одного.

– Оно, – продолжал ученый, – состоит в том, чтобы авиатор в случае потери пропеллера имел в запасе второй. Винты пропеллеров (стержни) входят один в другой, наподобие стержней часовой и минутной стрелки в часах. Если будет сломан один пропеллер, то остается еще один, который от того же механизма всегда можно привести в действие.

– Чрезвычайно важное открытие, – согласился инженер.

– «Левиафан», как вы заметили, обладает еще двумя парами пропеллеров. Если, скажем, он потеряет два первых винта, то у него остается еще четыре.

– О, о, – заметил доктор, – целых четыре! С ними можно лететь...

– Даже предположим, что он сломает два боковых пропеллера, но с парой оставшихся он может преспокойно лететь, куда ему вздумается.

– Мистер Блом, вы гениальнейший человек в мире! – вскричал инженер.

– Допустим самое худшее, что может случиться, – продолжал развивать свою мысль ученый, – допустим, что аэроплан потерял пять пропеллеров...

– Пять пропеллеров! – крикнул доктор, задыхаясь: – Не может быть!

– Допустим, милый доктор, допустим. Тогда еще не все кончено. Потеря будет громадной, но она вовсе не будет значить, что аэроплан погиб. С помощью одного винта и кое-каких приспособлений он может благополучно спуститься на землю в избранном месте...

– Уф, – облегченно воскликнул доктор, словно освободившись от огромной тяжести, лежавшей на его груди.

– А если сломается движущая машина? – полюбопытствовал Березин.

– Этого не может быть.

– Но предположим, что несчастье лишит ее возможности действовать.

– А большой ли силы ваши двигатели? – спросил молчавший студент.

– А вы бы как предполагали? – спросил в свою очередь ученый.

– Я полагаю, – сказал инженер, – что такой корабль, как этот, может двигать машина не менее 500 лошадиных сил.

– Это чудовищно, – заметил доктор, – на всех аэропланах двигатели не могут развивать более 150 сил.

– Не чудовищнее действительности, – ответил Блом. – «Левиафан» обладает тремя двигателями по 1000 лошадиных сил каждый...

– По тысяче? Вы шутите! Да где же эти чудовищные механизмы, способные развивать такую энергию?

– Об этом, господа, мы поговорим после, – серьезно сказал м-р Блом, – а теперь выйдемте на палубу взглянуть на природу.



– Одно слово, м-р Блом, – скажите, сколько пропеллеров действует сейчас?

– Только один, передний.

– А сколько проходим в час?

– Сто километров, мы идем малой скоростью.

– Сколько же может проходить «Левиафан» большой скоростью?

– Если пустить в ход все двигатели, от 200 до 300 километров в час.

– Но это невозможная, колоссальная скорость для человека.

– Вспомните авиатора Ведрина: этот отважный летчик на маленьком аэроплане достигал скорости 170 километров в час.

Все были уже на палубе. Под ногами, в туманной дали, неясно выступали контуры горных хребтов, идущих на восток. Впереди, уже близко, виднелась блещущая вечными снегами цепь горных вершин. Прозрачная глубина воздуха наверху давала горным вершинам чуть-чуть розоватую окраску, которая ниже переходила в буро-лиловую, а еще ниже темнела крупными полосами скалистых построений. По крутизнам гор, к их подошвам, пенясь о камни, с шумом неслись бешеные потоки.

Скоро аэроплан вступил в горные проходы, искусно лавируя между отдельными горными цепями. Тенистые облака спускались под аппаратом все ниже и ниже, как будто хотели прикрыть его своей пеленой.

– Мы в Гималаях, – объявил ученый. – Советую, господа, крепче держаться, сейчас начнем подъем за облака.

Он в рупор передал приказание в капитанскую рубку. В тот же момент с шумом заработали боковые пропеллеры, палуба корабля сильно наклони-

лась в сторону хвоста и «Левиафан», как стрела из лука, понесся ввысь, словно скользя вперед по крутой горе. На мгновение панорама горных цепей и хребтов скрылась под густой простыней тумана. Кругом потемнело.

Проходили слой облаков.

Снова блеснуло солнце в ясной синеве неба. Было холодно. Дышалось с трудом. Перед взорами авиаторов высилась группа из пяти или шести снеговых вершин, переливающихся на солнце всеми цветами радуги.

– Какой чудный вид! – вскричали русские.

– Эверест, – сказал м-р Блом. – Холодно, пора спускаться.

И «Левиафан», повинувшись его указаниям, помчался на запад быстрее урагана.

– На какой высоте мы только что находились? – спросил инженер.

– На высоте 8500 метров, – ответил ученый. – Вершина Эвереста достигает 8840 метров.

– Вы не захотели подняться выше?

– Нет, потому что очень холодно и притом, вы видели, надо заставлять действовать все машины. Я этого избегаю по вполне понятной осторожности.

– Почему же необходимы все силы двигатели?

– На такой высоте, как 8 тысяч километров, упругость воздуха уменьшается вдвое и работа машин не может быть использована в полной мере.

– Мы сейчас идем обратно? – задал вопрос студент.

– Не совсем. Я хочу показать вам интересное место – воздушный провал.

– Как? Разве существуют воздушные провалы?

– Не только провалы, а даже ямы, овраги; в воздухе есть все, что хотите.



– Что же, собственно, вы называете воздушными провалами?

– Нисходящее воздушное течение, когда воздух из высоких слоев столбом стремится в низшие слои. Аэроплан, попав в такой провал, камнем летит на землю, словно у него обрезаны крылья.

– И вы думаете поднести нам такой сюрприз? – с улыбкой вмешался доктор.

– О, не беспокойтесь. Мы не упадем. «Левиафан» не совсем обыкновенное судно, для него ямы и воздушные провалы не страшны. Именно о таком аэроплане мечтал покойный Вильбур Райт.

– Что вы? Творец первого аэроплана Вильбур Райт умер?

– Телеграммы сегодня принесли мне известие, что он скончался в городе Дайтоне. Величайший из людей, гений, каких мало, скончался. Человечество должно почтить его память. Это был первый из людей, отделившийся от земли и пролетевший против ветра на аппарате тяжелее воздуха, – торжественным тоном произнес учений, обнажив седую голову.

– Вы говорите таким торжественным и печальным тоном, каким говорят лишь о близких. Вы знали покойного? – заинтересовался инженер.

– Не только знал, а и имел честь быть его другом, – грустно сказал м-р Блом. – Если бы тогда было то, что теперь есть у меня, – Вильбур летал бы на таких же аэропланах, как и мой.

– А что же не хватало для Райта?

– Моих усовершенствованных двигателей. Как Икар о своих крыльях, мечтал Вильбур о легких, удобных двигателях, но мечте тогда не суждено было сбыться.

– Что же, Вильбур Райт был механиком по призванию? – любопытно спросил студент. – Расскажите нам о нем что-нибудь.

– Это скромнейший и честнейший из людей. Он был не патентованным механиком, а просто сыном деревенского пастора около Дайтона, в штате Огайо. Жизнь Райта проходила совместно с братом его Орвилем, и нельзя рассказывать об одном, забывая о другом. В начале своей спортивной деятельности братья Райт отличались, как велосипедные гонщики. Затем они открыли свою мастерскую для велосипедов, а в 1900 году стали заниматься воздухоплаванием на планере немца Лилиенталя.

Прежде всего, они построили свой планер (аэроплан без мотора), а затем совершили полеты вдоль берега моря с песчаных дюн. В 1903 году братья Райт построили первый в мире аэроплан с бензиновым мотором. В 1905 году этот аэроплан уже был настолько усовершенствован ими, что летал 36 минут. 1908 год в жизни Вильбура Райта может считаться началом его блестящей воздухоплавательной карьеры. В этом году он со своим аэропланом приехал во Францию и рядом блестящих полетов убедил долго сомневавшуюся Европу в возможности победы над воздухом. В конце 1908 года он уже пролетал 2 часа 30 минут и достиг высоты 150 метров, что тогда считалось всемирным рекордом.

В настоящее время аппараты Райта летают через всю Америку. Вильбур Райт явился творцом первого аэроплана с искривлением крыльев. Он с полной уверенностью мог сказать про себя словами поэта: «И вот, закон стихий задавлен, на нем лежит рука моя».

– А что же дальше?

– Дальше явились разные талантливые люди, вроде Морана, Блерио, Фармана, которые стали вводить свои улучшения, совершенствовать идею, так что в Европе об аэропланах Райта и не слышно.



– Забвение – общий удел, – грустно проговорил Березин, взглядывая при этом на мисс Кэт.

– Хоть на барышень-то не нагоняйте тоски вашим минорным тоном, – шутливо заметил на это доктор. – Что это, шум как будто затих?

– Это пара пропеллеров прекратила работу, – отозвался ученый. – Мы вышли из сферы воздушных облаков.

– Вышли, вот и отлично! Я вообще недолюбиваю опасных соседств, – сострил доктор.

Все улыбнулись.

VIII

Воздушная пропасть

– Так как до провала еще далеко, а разговоры утомляют, не пожалуете ли в столовую позавтракать, – сказал м-р Блом. – Там я вас, пожалуй, ознакомлю с историей воздухоплавания вообще и авиации в частности.

– Это должно быть очень интересно! – воскликнули русские.

Ученый сдержал свое слово. Он начал с братьев Монгольфье – первых воздухоплателей, поднимавшихся на изобретенном ими шаре в 1783 году, упомянул о знаменитом Бланшаре, сделавшем за свою жизнь несколько сот подъемов на воздух и перешел к управляемым аэростатам.

Сантос-Дюмон 19 октября 1901 года первый обогнул в воздухе, на высоте 300 метров, Эйфелеву башню. Немцу, графу Цеппелину, удалось построить жесткий аэростат из алюминия. Несчастья с Цеппелинами общеизвестны. Осенью 1906 года германская публика любовалась полетом его дирижабля над Боденским озером. Однако изобретатель не счел себя удовлетворенным и вновь продолжал



совершенствовать свое детище. Теперь Германия имеет целые эскадры Цеппелинов.

С 1906 года все нации, в погоне за лучшим типом военного дирижабля, строят всевозможные машины легче воздуха десятками. Лихорадочно спешат вооружиться новыми гигантами Франция, Германия, Россия, Англия и другие крупные державы.

Гораздо подробнее мистер Блом остановился на аппаратах тяжелее воздуха. Еще на заре человечества будущий царь природы уже мечтал летать в воздухе подобно птице. Легенда об Икаре, распившем свои крылья в жарких солнечных лучах, создавалась не случайно: она всегда жила в сердце народа в виде ясно выраженного желания.

– Недаром же я слышал, – вмешался доктор, – что лет десять тому назад какой-то американский пастор открыл, будто в книгах пророка Иеремии содержатся указания на построенный этим пророком летательный аппарат. Что вы об этом думаете, м-р Блом?

– Правда это или ложь – теперь определить трудно, – продолжал ученый. – Но вот нельзя обойти молчанием опыта, о котором, как это ни странно, молчит большинство сочинений по истории авиации. По документам, хранящимся в городской библиотеке Берлина, перелет через Ламанш был произведен впервые на 34 года раньше Бланшара иезуитом Гримальди и притом не на аэростате, а на летательной машине с крыльями. Документ был опубликован в 1910 году доктором Локателли и представляет письмо из Лондона, описывающее подвиг Гримальди и его аппарат. Изобретатель разработал конструкцию аппарата в свою бытность миссионером в Индии. Аппарат имел вид гигантского орла с размахом крыльев в 22 фута. Корпус механической птицы был сделан из пробки и ме-



таллических проволок, а крылья из кожи. Как и чем приводились крылья в движение, в письме не описано, но перечисляются части двигателя: металлические кольца, шарики, цепочки, гири, сосуды с ртутью и колеса. Скорость же полета доходила до семи миль в час. Перелетев из Кале в Лувр, авиатор полетел в Лондон, а оттуда в Виндзор.

С 1850 года проблема летания по воздуху стала разрабатываться целой плеядой ученых и изобретателей. Эти аппараты, не могущие плавать в воздухе, а держащиеся в нем движением, разделяются на три разряда: вертолеты, орнитоптеры и аэропланы.

Вертолеты все прекрасно летали в виде моделей. Их винт перпендикулярен земной поверхности. Но полная беспомощность при остановке мотора у этого вида механизмов заставляет думать, что этой идеей нельзя воспользоваться для больших аппаратов. Орнитоптеры подражают полету птиц, они тоже хорошо летают в виде небольших моделей, но в размерах, достаточных для поднятия человека, пасуют, так как автоматический двигатель не в состоянии в совершенстве подражать птице, которая инстинктом знает, где нужно менять изгиб крыла, увеличивать или уменьшать его поверхность, переходить от полета к парению и проч.

Успех третьей группы летательных машин, аэропланов, всем известен. Они подражают парению птицы, когда она летит с распростертыми и, по видимому, неподвижными крыльями. Одна, две и больше плоскостей удерживают его в воздухе при движении винта, или дают возможность спускаться, подобно птице, скользящим полетом.

Крупную услугу в деле завоевания воздушной стихии оказал человечеству германский ученый Лилиенталь, сделавший более тысячи полетов на

своих аппаратах-змеях (планерах). Он и погиб при одном из таких опытов 10 августа 1896 года.

После Райтов целый ряд воздухоплатателей доказывает на деле пригодность аэроплана. Много отважных авиаторов гибнет, но их места сейчас же занимают все новые и новые лица. Такие имена, как Блерио, Куртис, Латам, Фарман, Вауазен, Шавез, Ефимов, Васильев, Ведрин, не забываются. Они популяризировали идею воздушного полета на тяжелых аппаратах по всей Европе. В настоящее время трудно найти город, где бы ни видывали летающего человека. Авиаторы стали так популярны среди всех стран мира и среди всех слоев народа, как не был популярен ни один ученый, ни один мыслитель или государственный деятель.

– Это вполне понятно, – прервал рассказчика инженер. – Человечество видит среди авиаторов исполнителей близкой всем идеи полета, подобно птице. Стремление подняться в воздух, воспарить, для большинства неисполнимая мечта. Потому авиаторы, как люди, презирующие опасность, стремящиеся оторваться от земли и взлететь чуть не к самому солнцу, дороги и близки сердцу каждого, кто хоть раз видел их полет ввысь.

– А нам, господа, пора выходить на палубу, – сказал мистер Блом, взглянув на часы. – Мы прибыли к месту.

Земля под ногами путешественников медленно ползла на восток. Пепельно-серые покатоги гор с высоты казались полосами, наведенными по полотну грязной кистью неумелого художника. Лесные оазисы являлись в виде темно-зеленых пятен. Где-то вдали еще мелькали белые вершины снеговых гор.

– Прошу держаться крепче за перила, хотя опасности нет никакой, – посоветовал всем м-р Блом. – Сейчас мы начинаем падать.



Он лично занял место в штурманской будке, смотря на барометр.

В тот же момент находящиеся на палубе почувствовали, что они валятся вниз: пол уходил из-под ног. Несмотря на вращение пропеллера, земля приближалась к зрителям со страшной быстротой, как будто несясь вверх. Рельефы гор стали обозначаться совершенно ясно. Огромное широкое ущелье неожиданно выросло перед их глазами и, казалось, хотело поглотить аэроплан. На горных склонах стали ясно выделяться отдельные деревья.

Мисс Кэт, видя, что земля приближается к ней с невероятной скоростью и как будто хочет раздавить своим стремлением всех путешественников, вскрикнула и в страхе закрыла глаза. Она бы упала, если б инженер не поддержал ее.

В то же мгновение аэроплан сильно трянуло и накренило несколько набок. С шумом заработала пара боковых пропеллеров, «Левиафан», не долетев до земли каких-нибудь 20 сажен, понесся в сторону и, как потревоженный охотником орел, стал подниматься ввысь.

Испуг внучки м-ра Блома скоро прошел. Она очень мило поблагодарила инженера за его услугу. Старый ученый, узнав о случае со своей дорогой девочкой, выразил сожаление, что испытание вышло таким сильным и чуть на самом деле не закончилось катастрофой. А Руберг во всеуслышание сознался, что он перетрусил не на шутку, когда ему показалось, что падение на землю неизбежно. Только француженка, Березин и Горнов были сравнительно спокойны: они слишком верили гению творца летательной машины, чтобы беспокоиться о своей судьбе.

– А вы знаете, где мы были? – спросил м-р Блом, когда встревоженные мысли улеглись.

– Не имеем ни малейшего понятия, – ответил за всех доктор.

– Я хотел показать вам отверстие главного вентилятора, дающего воздух в горящий каменноугольный пласт, – заявил старый ученый.

– Неужели это правда!? – вскричала Кэт: – Мы были над тем местом, где они, – она кивнула на русских, – чуть не погибли такой страшной смертью?

– Нет, милая, мы были не над тем проходом, – ответил старик. – Мы сейчас видели главную артерию, в которую воздух стремится с большой высоты с ужасной силой. Это самая большая воздушная пропасть, которая мне известна. Ни один аэроплан не справится с этим нисходящим течением, кроме моих. И то, вы видите, для этого понадобилось привести в действие все моторы.

– Ах, как я сильно напугалась! – выговорила Кэт, смотря благодарным взором на инженера.

– Я так ни чуточки не струсила, – уверяла француженка, – подумай сама, для чего бы мы попали туда, если бы нам грозила опасность?

– М-ше, вы рассуждаете совершенно правильно, – смеясь, прервал ее доктор, – но я про себя должен сказать, что мне в эту минуту было вовсе не до правильных умозаключений.

Все улыбнулись откровенности Руберга, а м-р Блом, входя в капитанскую рубку, предупредил, что сейчас будут спускаться. Путешественники поспешили на палубу.

Через некоторое время «Левиафан», свободно, без всяких приключений, опустил на свою площадку в горах Бломгоуза.



IX

Замыслы м-ра Блома

Жизнь обитателей таинственного города текла мирно. Русские уже освоились с привычками коренного населения Бломгоуза. Они тоже вошли в обычную колею: Руберг занимался практикой, навещая больных, Горнову нашлось дело в качестве монтера в одном из многочисленных отделов, а Березин неустанно пополнял свои знания наблюдениями в лаборатории, в машинном отделении и мастерских.

Как-то он заглянул в кабинет м-ра Блома и застал ученого за рассматриванием блестящего, фута полтора в длину, круглого предмета, очень похожего на развертку для котельных труб.

– Вот предмет, – обратился он к инженеру, – за который дорого бы дали в Европе.

– Вероятно, какое-нибудь новое ваше изобретение, – улыбнулся Николай Андреевич. – Во всяком случае, оно будет не удивительнее вашего воздушного корабля, м-р Блом.

– Что же вас особенно поразило, дорогой м-р Березин, в моих воздушных кораблях? Как вам известно из моих рассказов, мои корабли – только увеличенные аэропланы, которыми пользуются уже везде.

– Далеко нет, – ответил Березин. – Вы словом не обмолвились о самом главном – о ваших двигателях. А в них, я полагаю, и есть самый секрет существования таких кораблей.

Блом пытливо взглянул в честное лицо инженера.

– Вы, по обыкновению, остановились на самом главном, м-р Березин. Центр тяжести всей идеи именно в двигателях. Не обладай я такой силой – не было бы и кораблей...

– Дающих 3000 лошадиных сил! – закончил инженер с таким жаром, что было очевидно стремление его узнать тайну этих 3000 сил, покоривших изменчивую воздушную стихию.

– Послушайте, м-р Березин. Вы следили за последними успехами исследователей радия?

– Ну, конечно, как и весь мир.

– Следовательно, вам известно, что многие тела, разлагаясь на свои составные части, дают огромное количество энергии. Изыскания Кюри, Рамзая и других над радием открыли перед изумленным взором ученых возможность разложения не только сложных тел, но и элементов, из которых образованы эти тела. Один грамм радия выделяет в час 1,2 калории тепла. В сутки выделится уже 30 калорий, в год 10.000. И это лишь с одного грамма. Какую же колоссальную работу может дать килограмм того чудесного вещества, которое зовется радий.

– Но... радий так трудно получать. Он реже всякого драгоценного металла! – пробовал возразить инженер.

– Ошибка ученых, что радия нет. Он есть, всюду, везде, только его надо найти.

– И вы, гениальный учитель?..

– Я нашел его. Не самый радий, как осязаемое вещество, а радиацию, т. е. излучение радия. Солнечная энергия, дающая в виде тепла или света жизнь нашей земле, разлита повсюду в многообразных видах. Так называемые ультрафиолетовые (невидимые) лучи пронизывают всю атмосферу, всю землю, все предметы. Рентгеновские, Бекерелевские радиоактивные лучи есть только видоизменения лучевой энергии. Из них самыми сильнейшими являются последние. Уже доказано, что весь воздух пронизан радиоактивностью слабой силы, т. е. активность воздуха мало уловима. Для иссле-



дователя вся задача сводилась к тому, чтобы найти способ собрать эти незначительные дозы энергии, подобно тому, как электричество собирается в аккумуляторе. Я изобрел прибор, могущий собирать огромные количества радиоактивной энергии из воздуха. Пустить же ее в дело, заставить выполнять любую работу – уже не представляло затруднений.

– А этот прибор?

– Называется радиатором. Два цилиндра, что вы видели в капитанской рубке, и есть радиаторы, находящиеся в постоянной работе.

– Так радиаторы дают вам 3000 лошадиных сил даровой энергии?!..

– И притом неиссякаемой, любезный м-р Березин, что позволяет нам держаться в воздухе необыкновенно долгое время.

– Я подозревал это, – прошептал инженер, опуская голову.

– Вы как будто недовольны успехами науки, – заметил ученый, проницательно смотря на собеседника.

– Нет, – ответил инженер, – успехи науки меня радуют, как всякого специалиста, но в то же время меня угнетает мысль, что ваша великая идея в настоящее время принесет человечеству много горя. Снова польются реки крови и принесутся в жертву Молоху войны целые гекатомбы человеческих жизней.

– Вы правы, но не совсем, м-р Березин. Никогда новое оружие не обратится на завоевание народов, как никогда оно не придет в столкновение с вашим благородным отечеством. Вы знаете, что между Англией, Францией и Россией заключено тройственное соглашение? Этот новый союз просуществует долгие и долгие века, так как он основан на общности их интересов. Если бы я был молод, как вы, я бы

сказал, что моему изобретению суждено даровать человечеству великую милость – прекратить навсегда войну и освободить народы от тяжести милитаризма, давящего всех не только постоянным призраком войны, но – что еще ужаснее – непосильными государственными поборами, идущими не на жизнь, а на усовершенствование смерти, которую несет каждая армия.

– Уничтожить войну?! Как бы вы думали это сделать!? – вскричал Николай Андреевич, пораженный замыслом великого старца.

– С помощью моих аэропланов и прочих открытий. Ничто в мире не может противиться мне. Англия, т. е. я, потребовала бы разоружения всех армий земного шара под угрозой полного их уничтожения. Достаточно двух – трех больших битв с участием моих аэропланов – и все народы покорятся, увидев полную невозможность сопротивляться. Под защитой Британии им обеспечено мирное существование.

– Вы увлекаете меня вашими колоссальными замыслами, м-р Блом! – сказал после некоторого молчания инженер. – Но ведь вступить на этот путь не безопасно. Народы не подчинятся так легко, как вы думаете. Они не простят ни вам, ни Англии своей независимости всегда будут тайком готовиться к борьбе с вами.

– Вовсе нет. Они не потеряют независимости. Она будет лишь номинальной. Во всяком государстве останется то же управление, те же порядки и обычаи, только не будет армий и военного флота.

– Это едва ли возможно, – заметил Березин.

– Это необходимо. Война – всегда величайшее бедствие. А теперь, когда столкнутся многочисленные армии тройственного соглашения и трой-



ственного союза, она разорит всю культуру и цивилизацию. Опасность столкновения возрастает ежедневно. На Балканах опять что-то зреет, и этот полуостров может вновь послужить поводом к распре народов. Надо торопиться с реализацией войны. Но я чувствую, что этот замысел мне уж не по силам. И приведет ли кто его в исполнение – я не знаю.

– Мне кажется, лондонское правительство во главе всего дела может поставить другого человека, помимо вас?

– Оно может это сделать, но он не будет в состоянии справиться с великою задачей.

– Почему же?

– Потому, что у него не будет моих изобретений. Я никому не доверяю своих крупных открытий. Только вы знаете одно из них, – проговорил профессор, намекая на свою силовую станцию.

– Да, но ведь вы, м-р Блом, говорили, что вы работаете для своего отечества и свои аэропланы уже предоставили в его пользование?

– Это все так, но я не сказал одного. Никому не известен секрет приведения в действие моих радиаторов. Хотя мои инженеры пользуются ими и летают, однако им неизвестно, что через определенный промежуток времени, именно через год, радиатор остановится и энергия иссякнет. Чтобы он начал снова напитываться ею, его надо привести в действие, для чего необходимо присутствие знающего лица.

– Следовательно, вместе с вами ваши секреты будут навсегда утеряны?

– Очень возможно. Если до тех пор я не найду человека, которому мог бы их вверить, – промолвил ученый, вперив свой вопрошающий взор в ин-

женера. Последний ничего не ответил на этот безмолвный вопрос.

– Взгляните-ка сюда, – сказал, помолчав, м-р Блом, указывая на круглый кусок металла, положенного им на стол. – Мы этим пользуемся для закладки мин в горных породах. Прибор довольно интересный.

Любопытство инженера было возбуждено. Он взял тяжелый цилиндр в руки.

– Как будто похоже на бур, – заметил Березин, обратив внимание на острый винтообразный шпиль из неизвестного металла, украшавший узкий конец цилиндра.

– Вы угадали, это бур, но он снабжен механизмом и при своей кажущейся незначительности может самым быстрейшим образом прокладывать себе дорогу в твердой породе.

– Так он действует сам по себе, отдельно от всяких механизмов?

– Да. И способен пробить ход в любой горной породе, хотя бы твердость ее превосходила базальт. Собственно, он не пробивает путь, а проверяет его, выжимая своими стенками проход для себя. После работы этого механизма остается круглый ход, наподобие хода древооточца в сосновом стволе.

– Для этого нужна страшная сила. Я не могу поверить, что такой небольшой прибор вмещает в себе столь сильный двигатель, равный по энергии сотне лошадей.

– Я, пожалуй, согласен с тем, что работа его необычайна. Но удивляться его силе не приходится. Его двигает тот же радиус, что и аэропланы. Завтра вы на практике можете посмотреть на его действие.

– Разве вы предполагаете заложить мину?



– Да. Необходимо, видите ли, с пути убрать небольшой утесистый холм, мешающий движению. Вы, кстати, посмотрите и на взрыв.

– Так подготовительные работы к взрыву уже начаты?

– Работы будут исполнены завтра. Бур проходит в граните по метру в минуту. В час времени все работы будут окончены.

– Вы полагаете? – спросил озадаченный инженер, поразившись быстроте буровой работы.

– Примеры бывали, – ответил м-р Блом. – Не забудьте пригласить и ваших друзей, – закончил он.

Х

Взрыв горы

Разорванные клочковатые облака быстро неслись по мгlistому небу. Внизу ветер рвал одежду и яростно налетал на скалистую грудь горных цепей, как будто стараясь унести с лица земли все живое и растительное царство.

В десять часов утра в скалистых горах, составляющих часть Гималайских отрогов, копошилась кучка людей. Среди них были доктор Руберг, инженер Березин, студент Горнов, профессор Блом, инженер Вилькинс и двое – трое рабочих, одетых в крепкие кожаные куртки и такие же брюки.

Рабочие у подошвы каменистой громады, загромождавшей путь, устанавливали похожую на стол металлическую площадку с двумя рогообразными укреплениями. Громада, возвышаясь метров на 70, имела в диаметре почти столько же.

Ножки металлической площадки крепко установили в каменистом грунте. На вилы, сделавшиеся опорой, положили бур, виденный накануне Березиным в кабинете м-ра Блома. Инженер Виль-

кинс подошел к столу и нажал в аппарате какую-то кнопку.

Тотчас послышался легкий шум. Острие бура вонзилось в породу, вращаясь с огромной быстротой. На глазах всех блестящий сталью цилиндр стал уходить в гранит, как будто бы его тянула туда какая-то неведомая сила. Через минуту виднелась только задняя часть аппарата, а еще через несколько минут зрители могли видеть лишь отверстие круглой трубы, диаметром в толщину цилиндра.

Минут через двадцать аппарат показался в отверстии и остановился в вилке площадки. Металлический стол вместе с буром перенесли в новое место с таким расчетом, чтобы новый ход был параллелен первому, находясь от него шагах в двадцати.

Бур снова завертелся и, въедаясь в гранит, скрылся в нем на несколько минут. Когда буровая работа была окончена, Вилькинс объявил, что к взрыву все готово.

– Заложите мины, – приказал м-р Блом, передавая Вилькинсу маленькие патроны.

К патронам прикрепили шнур, а к нему проводки, длиной до 200 метров. Концы проводов были соединены между собою и заканчивались шариком с пуговкой или кнопкой. С помощью длинных шестов патроны были введены в пробитые отверстия и все пошло от минированной горы к западу, развертывая за собой проволоки.

– Господа, – предупредил м-р Блом, – мы стоим еще слишком близко. Как кнопка будет надавлена – я просил бы вас всех стремиться на то возвышение, – он указал на довольно отлогую каменистую гряду, – там есть площадка, где удобно стоять. Между сигналом и взрывом пройдет три минуты. Начинаю.



С этими словами м-р Блом протянул руку к шарiku, кнопка была нажата. В тот же момент все присутствующие стали быстро удаляться от шарика, перепрыгивая с камня на камень. Скоро они стояли на указанном месте.

Русские с нетерпением ожидали момента взрыва. Им казалось, что время тянется томительно долго. И, все-таки, взрыв раздался неожиданно: гора как будто сначала раскололась на две части, в воздух поднялись два клуба, состоящие из скал, каменных обломков, мелкого щебня и пыли. В то же время раздался страшный гул, почва заколебалась под ногами, а напором воздуха наблюдателей отбросило шага на три назад. Туча обломков и пыли затемнила на несколько минут горизонт.

Зрители, поднявшись с земли и отряхнувшись, словно пудели, желающие сбросить с себя воду, поспешили к месту взрыва. Картина разрушения была полная. Местность, которую с основания мира занимала скалистая гора, была свободна. Только мелкие гранитные обломки свидетельствовали о происшедшем взрыве. Главные же массы скалистых обломков упали на склоны ближайших гор. Проход сделался свободным, оставалось его только выровнять.

– Ловко сделано! – похвалил доктор. – Раскинуло все – и следов нет.

– Вас можно поздравить, мистер Блом, – обратился Березин к старику, – с открытием, делающим честь любому ученому мира. Если я не ошибаюсь, вы применили новое взрывчатое вещество необычайной силы?

– Я назвал его радиотитом. Оно гораздо сильнее, чем все известные до сего времени взрывчатые вещества. Сила его огромна, способна уничтожить

хоть гору, хоть целый кусок железа, величиной с броненосец.

– Мне тоже кажется, что сила взрыва колоссальна, – прибавил юноша, – но я не могу даже приблизительно себе представить ее относительную мощь.

– Видите ли, – сказал Блом, – вам известно, что динамит в десять раз сильнее простого пороха, а мелинит гораздо сильнее динамита. Так вот, радиотит находится в таком же отношении к мелиниту по силе взрыва, в каком мелинит превосходит простой порох.

– Так поэтому-то вы, мистер Блом, – вставил доктор Руберг, – так и швыряетесь целыми горами, как простыми пешками. Вы нисколько не стесняетесь с природой...

– Добавьте – и с людьми, – заметил м-р Блом. – Ведь и вы не хуже меня знаете, что первые взрывы радиотита были ужасны: они вызывали целые землетрясения во всей горной области. Были даже несчастья с людьми...

– Вы указываете на пример Верного, разрушенного землетрясением несколько лет тому назад, – продолжал доктор. – Да, это было большое несчастье...

– И большая неосторожность с моей стороны, хотите вы сказать, – с живостью подхватил м-р Блом. – Что же, обвиняйте меня, вы правы. Я допустил эту ошибку, но мы сами чуть не сделали жертвой своей оплошности. Несколько пудов радиотита как будто хотели разрушить весь мир. Взрываемую гору разбило в мелкую пыль. Сотрясение почвы и воздуха было так велико, что скалистые массы и даже целые горы рушились сами собой, а все мы, оглушенные, убитые, обескураженные, в течение многих часов находились в полуобмо-



рочном состоянии. Мы хотели устранить препятствие, а вместо того чуть сами не нашли смерть. С тех пор, т. е. со времени основания Бломгоуза, мы стали гораздо осторожнее в обращении с радиотитом и употребляем его лишь в самых минимальных количествах.

– А как же чувствуют себя во время искусственных землетрясений обитатели города? – спросил инженер. – Сотрясение при взрывах должно быть очень сильным и может разрушить обитаемые помещения.

– Все жители всегда предупреждаются даже о маленьких взрывах, поэтому их нельзя застать врасплох. Землетрясения не так страшны, как кажется на первый взгляд. наших зданий они разрушить не могут, потому что стены сложены из гранита и песчаника на цементе, да и к тому же сильных взрывов вблизи мы не производим, ограничиваясь самым необходимым. А если делаем взрыв, сопровождаемый такими колебаниями почвы, которые отмечаются европейскими сейсмографами, то это производим вдали, милях в 20-30 от Бломгоуза. Наши рудники, как вы сами видели по прибытии, находятся как раз на таком расстоянии.

– Судя по вашим словам, котловина, в которую мы спукались – ваш рудник? – проговорил доктор.

– Открытый рудник, дающий на редкость хорошую железную руду. Вместо того чтобы рыть в горах шахты, мы просто взрываем их, а затем остается только выбирать руду. В данном случае не надо тратить даже этого труда – гора, подобно уральской Благодати, вся состоит из чистого железняка.

– Когда мы появились в котловине, – заметил инженер, – мне показалось, что нагрузка производится механическим способом, без помощи людей?

– Да. Там поставлены особые нагрузочные машины, действующие электричеством. Работа их очень продуктивна.

– А в других рудниках работы ведутся таким же способом?

– Тоже через открытую разработку. Это гораздо удобнее, чем прокладка штолен и штреков.

– Но ведь во всем этом есть громадное неудобство, – продолжал инженер. – Предположим, что вы решили взорвать часть горы или целую гору, но чем вы гарантированы, что откроется именно то месторождение, которое нужно, что его не завалит обломками скал, могущих образовать опять целую гору?

– В этом-то и состоит главное достоинство радиотита, – серьезно проговорил ученый, – что он действует с наибольшей силой в одну какую-нибудь сторону, а не во все одинаково, как другие взрывчатые вещества. Руководителю операции стоит только определить желаемое направление действия взрыва и радиотит сделает свое дело. Благодаря такому свойству взрывчатой энергии, мы можем ее направить в любое место. Пользуясь этим, мы свободно несколькими патронами, словно ножом, отрезаем часть горы, раскалывая ее взрывом надвое. Желательная половина взрывается особо, причем одна из линий распространения взрыва идет параллельно земной поверхности.

– Большие горы вы всегда так взрываете? – не утерпел доктор, которому хотелось выяснить одно недоумение.

– Да, а что? – откликнулся м-р Блом.

– Мы видели взрыв горы с расстояния пяти или шести километров. Меня поразили вылетевшие вверх тучи пыли и мелких осколков, а гора продолжала оставаться несколько секунд на своем месте и уже затем она как-то боком сползла в пропасть.



– Это потому, что сначала был произведен вертикальный взрыв для отреза, а потом уже горизонтальный. У вас и получилось впечатление, как будто гора ушла под землю.

– Да, да, – подхватил доктор, – впечатление было именно такое, как вы говорите. Но все-таки, м-р Блом, вы творите здесь прямо чудеса. Рассказать бы в Европе, ни за что не поверят, а еще сочтут за дерзкого обманщика...

– Европа поверит всему тогда, когда придет время, – жестким тоном сказал ученый.

– А вы думаете, что оно скоро наступит? – спросил Березин.

– В современной политике трудно разобраться, – ответил м-р Блом, – всегда можно ожидать худшего. Но рано или поздно Англия должна столкнуться с Германией, которая теснит ее развитием своей промышленности. Это столкновение послужит сигналом для общей мировой борьбы. И вот тогда-то Европа узнает, чем обладает Великобритания в лице мистера Блома. Мы должны во что бы то ни стало сокрушить мощь немецкого орла. Если бы даже не было моих изобретений, – Англия и тогда не могла бы допустить развития могущества своей соперницы. Не может же Великобритания находиться в постоянной опасности от растущих немецких вооружений.

– Но если бы началась война, то какие же средства вы стали бы пускать в дело?

– Прежде всего, мои воздушные корабли, способные засыпать неприятеля градом взрывчатых снарядов, оставаясь сами вне пределов досягаемости. Германия не может выставить ничего подобного, так как тяжелые дирижабли не могут идти в счет, а аэропланы современных конструкций пригодны лишь для разведок. Такие флотилии я легко могу уничтожить

даже при малых силах. Тогда уже ничто не помешает стереть с лица земли их армии и флот: для этого достаточно двух-трех сотен моих снарядов.

– Они будут защищаться, а дальнобойные пушки не подпустят близко воздухоплателя.

– Всякий из моих аэропланов может быть в короткое время обращен в боевое судно, снабженное как боевыми запасами и провиантом, так и выбрасывателями снарядов. Последние могут бросаться не прямо вниз, а набок, в любом направлении. Устойчивость аэроплана вполне позволяет применить маленькие пушки.

– Тогда, действительно, против вашего нападения почти нельзя защищаться! – сказал доктор.

– У нас есть и другие средства для атаки неприятеля, но о них пока не стану рассказывать, – проговорил м-р Блом.

– Вероятно, к ним относится ваше оружие, которым вы можете уничтожить каменные столбы, – спросил инженер, вспомнив о разрушении столба во время своего пленения.

– Вы говорите о воздушных револьверах? Они действуют только на близком расстоянии, шагов на тридцать-сорок и больше служат как домашнее оружие. Ими вооружены все мои инженеры.

– Револьверы имеют ужасную разрушительную силу, – заметил инженер: – Это очень опасное оружие.

– Это потому, что они действуют маленькими шариками из радиотита, который при ударе взрывается и производит разрушение. Шарик выбрасывается сжатым воздухом.

– А вы не опасаетесь, – вставил доктор, – что ваши инженеры злоупотребят доверенным им оружием.



– Не думаю, чтобы они решились на это. Здесь они под моим надзором, а за пределы Бломгоуза оружие им не дается.

– Почему же? – заинтригованный этим обстоятельством, спросил Руберг, про себя радуясь, что они за Бломгоузом избавлены от опасности попасть под воздушный пистолет.

– Очень просто, – пояснил м-р Блом. – Мне и инженерам часто приходится по делам бывать в Индии. Представьте, что в случае какого-нибудь приключения обладатель оружия употребит его в дело и разнесет выстрелом нескольких человек, или какое-нибудь сооружение, что, без сомнения, вызовет нежелательные толки в среде индусов. Слух о чудодейственном оружии может дойти до европейцев, которые и доберутся до тайны существования Бломгоуза.

– Совершенно верная оценка вещей, – согласился доктор. – Показывать действие оружия – опасное дело.

– Господа, вы заговорились, – прервал разговор инженер Вилькинс, – и не замечаете, что начал накрапывать дождь. Если мы не уберемся вовремя, нас промочит до костей.

Путешественники поспешили перебраться через каменистый гребень, отделявший их от автомобилей. Через несколько минут дождь барабанил в крытые верха экипажей, направлявшихся к Бломгоузу.

XI

Лаун-теннис

Мягкий вечерний свет солнца обливал площадку для лаун-тенниса в саду м-ра Блома. Этим родом спорта здесь занимались мисс Кэт, m-lle Софи, Березин и Горнов. Игроки разделялись согласно своим

симпатиям. Один город защищали Березин и Кэт, а другой – Горнов с Софи. Доктор Руберг, находясь неподалеку, занимался совсем несвойственным ему делом: поднимал вышибленные неловкими ударами за пределы города мячи, что являлось вовсе нелегкой работой, если принять во внимание его почтенные размеры.

А дела было много. Мячи то и дело перелетали через изгородь. Игроки увлекались не столько результатом боя, сколько самим процессом игры, доставлявшим возможность всем влюбленным видеться и разговаривать друг с другом. Блестящие глаза игроков, их быстрые, порывистые движения указывали на то, что все они опьянены не одной игрой, а и еще чем-то другим. Доктор, в качестве наблюдательного лица, не упустил этой подробности и решил выжидать событий.

Мячи летали все быстрее и быстрее, причем вместо противного города чаще попадали за ограду. Руберг, со всем рвением друга старавшийся услужить играющим, в конце концов взмолился:

– Помилуйте, господа! Вы все так ловко играете, что совсем замучили меня. Нехорошо молодым людям задавать такую работу старику..

Слова доктора как будто отрезвили играющих, возвращая их к действительности, которая, впрочем, была прекрасной. Чудный вечер спускался на землю, легкие кружевные облака, казалось, застыли в лазурной выси. Солнце садилось за пики гор, отбрасывавшие от себя огромные тени. Деревья в саду затихли, не было слышно даже шелеста листьев. Только немолчные хоры певчих птиц перекликались где-то далеко-далеко.

Француженка нашлась первая. Нимало не смутившись замечанием Руберга, она сейчас вступила с ним в препирательство.



– Доктор говорит правду, – заметила она играющим, – пора прекратить игру. А вам, доктор, стыдно жаловаться на нас! Ну, какой же вы старый? С вашими годами другой бы прыгал не хуже нашего. Да и где ваша пресловутая дряхлость? – Вон рука-то какая, посильнее будет, чем у молодых, – закончила француженка, со свойственной ей живостью вцепившись в широкую, крепкую руку старого холостяка, которому ее лесть была очень приятна.

– Вас, барышня, я могу поднять на воздух и левой рукой, – сказал доктор, ловко подхватив m-lle Софи и поднимая ее выше головы. Софи не удержалась от крика испуга, на который явился Горнов. Но доктор, шутя, подхватил юношу правой рукой и, держа парочку выше головы, пошел по аллее, говоря:

– Попались! Вот вам наука, не шутите над стариками. После будете осторожнее...

Француженка хохотала, как сумасшедшая. Студент, ухвативший ее за руки, вторил ей во все горло. Руберг, сделав несколько шагов, спустил хохочущую молодежь на землю, приговаривая:

– Благословляю вас и в будущем смеяться тем же беззаботным смехом и не забывать своего старого друга...

– О, доктор, как вы можете так говорить? – заметил студент.

– Милый доктор, – защебетала Софи. – Вы такой... такой хороший, что я, не знаю почему, люблю вас, как отца, как брата. И если от меня будет зависеть, обещаю: я никогда, никогда с вами не расстанусь. А ты, Жан, обещай доктору то же самое... – тормошила она юношу.

– Обещаю и клянусь! – провозгласил по-русски студент таким тоном, что его собеседники покатались со смеху.

– Благодарю вас, мои молодые друзья, – говорил растроганный доктор. – А где же остальные, – оглянулся он вокруг, – куда они скрылись?

Кэт и Березина поблизости не было. Пока доктор показывал свои физические упражнения, Николай Андреевич предложил внучке старого ученого свою руку и направился с ней по одной из дорожек. Цветущий сад и накинувшая на него свое покрывало теплая, благоухающая ночь располагали к откровенности и мечтательности. Близость локтя молодой девушки, к которой он был давно неравнодушен, подавала инженеру радостные надежды. Он собирался заговорить о самом главном, что его интересовало, но чем ближе подходила роковая минута, тем более он терялся, чего с ним прежде никогда не бывало. Мисс Кэт, предчувствуя важность наступившей минуты, больше молчала, и только румянец на прелестных щеках выдавал ее внутреннее волнение.

Наконец, Березин преодолел свою робость и заговорил... о себе, своей жизни, стал рассказывать разные эпизоды из детства и юношества.

Он постепенно воодушевлялся, стал говорить красиво, образно, заинтересовывая свою спутницу. Он, увлекшись рассказом, даже не заметил, что она несколько раз обращалась к нему с вопросами, показывающими вообще ее интерес к затронутой теме. Между ними устанавливалась какая-то невидимая связь, общность интересов. Мисс Кэт, разившись примером инженера, заговорила о своей одинокой девической жизни, в которой было столь много ничтожных на первый взгляд, но действительных огорчений для юного, впечатлительного сердца, которое совсем не знало материнской ласки и рано лишилось попечений отца. С рыданиями в голосе молодая девушка передавала своему другу



печальную повесть о смерти отца, мягкого и редкой доброты человека, совсем не похожего на могущественного деда.

– Бедная вы, мисс Кэт, – от всего сердца выразил сожаление Николай Андреевич.

Молодая девушка посмотрела на него темными глазами, полными глубокого горя. В это время они стояли у дерновой скамейки, под раскидистым дубом. Березин опустился на скамейку, что сделала и мисс Кэт.

– Дорогая мисс, – вдруг решился Николай Андреевич излить перед ней свое сердце, – неужели вы не замечаете большой перемены вокруг вас? Неужели же вы не знаете, что около вас находится человек, который давно страстно желает вырвать вас из этой обстановки!.. Дорогая Кэт, – воскликнул он, падая на колени перед девушкой и беря ее за руку, – не может быть, чтобы вы не видели всей моей любви к вам. Я вас люблю, обожаю, вы та греза, которая явилась ко мне во сне, вы ангел, о котором мечтаю много лет!.. Знаю, я – обыкновенный смертный, недостойн вас, но не отталкивайте меня, позвольте мне обожать вас, мою богиню...

Березин говорил, не замечая, что Кэт и не думала освободить от него свою руку. Девушка, потерявшаяся от неожиданного приступа, зачарованная потоком слов, не знала, что сказать. Она многое хотела бы выразить словами, но язык не повиновался, и голова кружилась.

– Кэт, милая моя Кэт, скажите хоть слово, – доносился до нее как из тумана голос Березина.

Она не выдержала, и, под наплывом неизведанного чувства, без всякого жеманства, протянула обе руки к Березину:

– О, мой любимый!

Между тем, в другой стороне сада происходила следующая сцена:

– Так, значит, решено, барышня? – говорил доктор: – Вы последуете за своим женихом?

– За женихом, обязательно, – бойко отвечала француженка. – Если бы вы, доктор, знали, как мне здесь надоело! Одни горы, скалистые вершины да небеса, то голубые, то серые, то совсем темные от туч. А когда настает здесь зима, вовсе скучно. Кругом белая пелена, ветер завывает где-то в ущельях, есть от чего с ума сойти!..

– Зимой здесь, должно быть, страшно холодно, – заметил Горнов.

– Нет, холода не так велики, какие можно было бы ожидать. В Бломгоузе ветра не чувствуются. Они там запирают какие-то двери, чтобы ветер не носился по ущельям.

– Неужели так-таки запирают целые ущелья?

– Да нет же! Наша долина со всех сторон ограждена горами, проходы в соседние ущелья давно все заложены...

– А как же попадают в соседние места? – прервал Руберг. – Мы приехали сюда на поезде?..

– Ах, какой вы несносный, – улыбнулась француженка в сторону доктора, – все перебиваете меня. Слушайте. Через горы есть туннели. Их и запирают, когда нужно. Поняли!..

– Плохо, m-lle Софи. Вы плохой наставник, – школьничал студент.

– Дерзкий мальчишка! – вскричала учительница: – Он осмеливается грубиянить!.. и кому? Мне. – Вот я вас!..

И она помчалась за убежавшим студентом. Через минуту оба были около Руберга, запыхавшиеся и уставшие от быстрого бега.



– Вот что, дети, – сказал Руберг, – все это хорошо, но надо заранее решить одно важное дело, подите-ка сюда. – Как же мы убежим отсюда? – спросил он шепотом, привлекая к себе обоих молодых людей.

– Я уже думала об этом, – тихо ответила Софи, – надо бы поговорить с Березиным. Он лучше нашего знает, как отсюда можно убраться.

– Он и слышать не хочет о бегстве, – отвечал Руберг. – Я указывал ему на опасность еще тогда, когда он был болен. А уж раз он сказал, то так и будет.

– Не беспокойтесь, он теперь изменил свое мнение, – сказала француженка, лукаво блеснув в сумерках глазами. – Сам будет торопить.

– А вы почему знаете? – спросил доктор.

– Вы – слепой, что этого не видите. Где Кэт, вашему? – поставила она прямо вопрос, глядя на Руберга.

– Ага... понимаю, – протянул доктор. – Итак, вы думаете...

– Что Березин сам будет желать того же, что и мы...

– Вы так уверены, m-lle? А если мисс Кэт не согласится?..

– Кэт!.. Ха-ха-ха! Да я за нее отвечаю, как за себя. Кэт все сделает, только бы угодить Березину. Она так, бедняжка, измучилась за это время сомнениями в его постоянстве...

– Значит, его привязанность не считается искренней?

– Нет, не то. Просто не было причин считать себя в праве на его привязанность, а теперь такие причины, без сомнения, явятся.

– Наша задача упрощается. Но как «это» сделать? На чем выбраться за пределы гор? Нельзя же с женщинами идти пешком, да это было бы безрассудно...

– А вы забыли аэропланы? – чуть слышно прошептала Софи доктору. – Надо научиться ими управлять, Березин-то здесь и необходим. Он один может это сделать.

– Совершенно верно, – подтвердил доктор. – Я, было, и забыл о нем. Но надо все держать в тайне. Одно неловкое слово, жест – и все погибнет. Нас разъединят.

– Положитесь на меня, милый доктор. Я не выдам тайны. У Кэт тоже нет привычки болтать. Она со всеми молчалива, даже с дедом. А вы?

– За нас не беспокойтесь, – отвечал Руберг, мы видывали еще не такие виды. Только опасайтесь одного Гобартона: у него пронизательный взгляд, он и без слов все узнает.

– На всякого мудреца довольно простоты. На то мы и женщины, чтобы провести хоть десять Гобартонов. Я предупрежу Кэт, чтобы она не выдавала своих чувств. Но вы все берегитесь. Он способен подстроить вам какой-нибудь подвох. Держите, пожалуйста, оружие при себе. У вас оно есть?

– Только наше, т. е. европейское, ружья, ножи и револьверы.

– Так имейте при себе револьверы, в особенности, когда выходите из дома. Никого не подпускайте к себе близко. Я же, в свою очередь, запасусь кое-чем из лаборатории м-ра Блома.

– Разве вы можете туда входить?

– Во всякое время. Я говорю про домашнюю лабораторию, помещающуюся во дворце, рядом с кабинетом. Она только двумя комнатами отделяется от моей.

– Следовательно, надо готовиться и готовиться не на шутку к скорому отъезду? – проговорил Горнов.



– Да, если тому не помешает Гобартон, – закончил доктор.

Студент пристально посмотрел на Руберга и уже взволнованным голосом спросил:

– Вы серьезно его опасаетесь, Федор Григорьевич?

– Серьезнее, чем кого-либо когда-нибудь. Припомните-ка случай с Николаем Андреевичем: смерть витала над ним. Не дай Бог, если он теперь заподозрит об истинных чувствах мисс Кэт к инженеру, тогда он способен нас всех отправить на тот свет.

– О, это было бы огромным несчастьем, которого я не перенесла бы, – сказала Софи, бросив томный взор на студента.

– Чтобы этого не случилось, надо бороться, – ответил доктор.

– Бороться до конца за свое счастье! – поддержала француженка.

– И добавьте: за свою жизнь! – заключил Горнов.

Все крепко пожали друг другу руки.

На средней аллее показались два силуэта: то были Березин и Кэт.

(Продолжение следует).

Опять зелеными туманами
окутаны земли слова.

Летят над северными странами
разбуженные деревья.

Они в снегах хлебнули лишенька,
но снова высят крон размах...

И черная в дождинках вишенка –
как колоколенка в колоколах.

Вот и слива расцветает,
и каштан набычил почки.
Белым пламенем сияет
мир насытый и непрочный.

Облетят и станут сором
лепестки судьбы напрасной...
Но стоим и стонем хором:
"Как бессмертно! Как прекрасно!"

Гора детства

Прокатился над этой горой
одуванчиков рой золотой.

прорычали, горбаты, двуроги,
фюзеляжные птицы тревоги...

Эта женщина, словно случайно,
эту гору открыла как тайну.

Как горят одуванчики мне
у горы этой тайны на дне!



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Поэзия





Цирк-шапито в Коканде в 1945 году

Как носильщик – душой –
карнайщик выталкивал в небо
громадное хриплое РА,
и грудь надрывал, и покой.
И дойра по кругу плыла,
призывно и глухо рыча,
пугая случайную публику...

Актеры, на выход! Пора!
Пора начинать представление
канатоходцев, и плясунов, и фокусников!
Пора! Веселитесь, дехкане!
Кумыс пусть прольется рекой
в охрипшую глотку базара!
Пусть грозно рычит с высоты
тигриная дойра пустыни!
Пусть слепо плывут облака
сквозь гребень резных минаретов,
как длинные белые волосы
северного соседа,
остановившего нашествие...

Не плачьте! Оплачет акын.
Молчите! Карнай откритит
того, кто назад не вернулся...
Ну, что ж вы стоите, актеры?
На выход!
Пора начинать...

Колыбель

Золото южных предгорий,
Дуги предвьюжных предгорий.
Мощь и текучие склоны
влажных предгорий Кавказа.

Детскости складок укромных.
Зыби степей.

Колыханье
нежной земли океаньей.

В проруби ясного света,
в озими и закате
волны предзимних предгорий
душу мне надрывают
ласкою великаньей...

Здесь, в океанской зыбке
гор и землетрясений,
детство мое качалось,
выросло и умчалось,
выросло и ушло.

Чужие сны

С. Гудзенко

Чужие выжженные сны
в мой сон вломились зло и властно:
тугие черные лучи –
над снегом под Волоколамском,
над заметенным большаком.
над каменеющей пашней,
над детством беженским (пешком!),
над лугом Бежиным вчерашним...
И в жутком небе гнев и стыд –
две черных каркающих ноты...

И чей-то сон во мне хрипит,
как "вмерзшая в снега пехота".

Зимующий скворец

Желторотое чудо, скворец!
Сколько лет мы с тобою не виделись!



Сколько грусти нам годы повидали!
Сколько слез нам ветрища повидули!
Сколько перьев и песен повидрали!..
Сколько видано-перевидано
меж удачами и обидами,
меж весной и зимними видами,
между детством и зрелостью видимой –
пока встретились мы наконец!

Пробуждение в марте

Безмолвно в сон сознания вошла
большая стая птиц темногосых,
а вслед за ними – дрогнувшая осень,
дождинок стук, сырая тишина,
пучки живых безлистных тополей,
взъерошенно торчащих меж домами...

А там зашаркала в платке пуховом мама
(но не безмолвная, а тихая, заметь)
и проворчала: "Все проспал, медведь!
Заснул под осень – ан весна настала...

Тут птицы грянули дневными голосами,
и день расцвел!

Мне захотелось петь!

И тополь распускался меж домами
и трепетал теперь, как стяг ислама...

Но не ислам будил меня и ветвь,
а март, и птицы, и капель, и мама...

Ах, только б так и просыпаться впредь

Лезгинка

Национальная гармонь
и клики дикие – орайда!

У сердца – левая ладонь,
а правая – взорваться рада
дарящим жестом, зерна в плоть
земную сыплющим отвесно.
На цыпочки и – вдаль – орлом –
взглянул и – с места – плавным бесом!...

Национальная гармонь,
дари созвучия печали!
Не зря у горцев испокон
молчали в скорби, но – ворчала
гармонь в упругой тишине
чопорно-строгой вечеринки...
Лезгинка травит душу мне,
как детства призыв и перчинка...

Щемит гармошка в вышине,
рычит и дышит – возле рынка.
Сбежался круг – глазеть и млеть.
Ладоням впору онеметь! –
Плывет горянка – по старинке,
раскрыв объятья, взор свой синий
потупив, – в медленном огне
лезгинки...

Эй, позвольте мне!
Пустите!
Ах, играй, даргинка.

Псалом № 2-54

Я родился поэтом,
как все люди.
И, как все люди,
я ненавижу пресное
Так же, как все, я учился
жить свободно и честно,
учился работе.



Я работал грузчиком и токарем,
мастером и воспитателем,
и конторским служащим я работал...

И вот сердце моё перегружено
и зубы сточены до корней.
Не воспитан мой сын
и мастерству не обучен.
И в беспорядке заброшена
конторская книга с реестрами
вздохов и поражений...

Что же делать, Господи,
мне теперь?
Ведь пора уже всё
начинать с начала –
и гремит звонок уходить

* * *

Г. Семенову

Пальчики весеннего дождя
барабанят в фортки, грядки, ветки –
открывают, выбегают, зрят
тихие зеленые ответы.

Пальчики весеннего дождя
прыгают по клавишам кленовым. –
Снова – неожиданно – звучат
краски, всплески,
музыка и слово.

Пальчики весеннего дождя
кутают туманами просторы...
Но какую свежестью сквозят
юные взволнованные горы!

**ВИКТОР
ХОРОЛЬСКИЙ****Россия**

Повороты крутые,
новых бед полоса.
Ах, Россия, Россия!
Степи, реки, леса...
Кто без этой красоты я?
Пыль до судного дня.
И, конечно, Россия
не полна без меня.
В правде Бог, а не в силе,
знают в нашей стране.
Когда бьют по России –
это бьют и по мне.
Руки, ноги босые
утром в росах омой.
Если враг ты России –
значит недруг и мой.
Как судьбу ни проси я –
не продлить бытия.
Вдруг погибнет Россия –
с нею кану и я.
Лезут все нам на выи,
терпим их лишь пока.
Но душою в России
буду жить я века!

***Поэтическая
мозаика***



Святое слово

Судьба России ныне на весах.

Скажите честно:

враг ее иль друг вы?

– Как нужно слово "родина" писать:
с большой, заглавной,

или с малой буквы?

Такой вот задал мне простой вопрос
один мой ученик давно когда-то.

– Теперь не тот, что прежде, славный росс.

Я так ответил с прямою солдата.

– Отчизну любишь, предан ей душой
и для тебя Россия много значит,
пиши святое слово то с большой
А ежели ты чувствуешь иначе,
царапай с малой...

Эка новизна

для тех,

кто брал и крепости, и доты!

Ошибкой не сочту,

а просто буду знать,

оценку не снижая,

кто ты.

Однополчан своих я вспомнил ряд.

Плевать на закорючку ту – отметку.

Вся суть в другом:

с таким, как говорят,

я ни за что бы не пошел в разведку.

**АНТОНИНА
АШИХМИНА**

Сравнима жизнь с календарём перекидным,
Мгновенья здесь – перипетии жизни нашей.
Грядущую зарёй мечтал о встрече с ним...
Перевернул листок – тот день уже вчерашний.

* * *

Мы Зинку всей оравой провожали.
Как будто на день расставаясь, хохотали.
И лишь в глазах Володиных зелёных
Плескалась грусть. Он знал определённо:
Не смеха час. Обрушилась беда.
Он расстается с Зинкой навсегда.
Потом на лавке подоконной нашей
Мне, толстой хохотушке-пятиклашке,
Открыл он тайну сердца своего.
Что удивительно, я поняла его!
Так началось, и до сих пор ведётся:
Мужчина мне в любви... к подруге признаётся.
Есть вспомнить что: и пылкие мечтанья,
В «свет» выходы, угрозы, обещанья...
То, по-кавказски, стать сестрою предлагали,
Чтобы в кино пойти со мной... и Валею.
То шоколадки надо есть. С моим-то весом!
Но из Галинкиных, конечно, интересов.
Зимой тюльпаны Ленкин кавалер дарил.
Все авантюры – сплошь из-за Людмил...
Один признался лишь, не спрашивал совет.
С ним и живём уж добрых тридцать лет.



**НИНА
МОЖНАЯ**

* * *

День на исходе. Закат золотится.
Тени и блики пытаются слиться.
Ветер в испарине остановился,
Влажным туманом на землю прилег.

Где-то на ветке синице не спится.
Птичье сердечко тревожно стучится.
Кажется ей, что в лесу заблудился
Маленькой синей звезды огонек.

Ночь надвигается. Небо темнеет,
А светлячок холод пламени сеет.
И полнолистные своды деревьев
Низко склонились над дымом костра.

Запахи, звуки всё ярче, острее.
Линии мягче, а воздух свежее.
Я от слияния с миром немею
И растворяюсь в ночи до утра!

Остановка

Все стрелки часов обегают положенный круг.
Три самых несчастных стрелы скреплены
в поднебесье.
Однажды со стрелкой секунд натяну я свой лук,
И время в пространство уйдет, как последняя песня.

Застынут тогда навсегда корабли на волнах,
И непроходимое лето заполнит планету.
Усну навсегда, заблужусь в самых ласковых снах!
Останусь в стихах, в безвременье родном для поэта.

**ВИКТОР
ШИНКОВСКИЙ**

* * *

Живём на яростной планете,
распахнутой для всех ветров,
шалых времён шальные дети –
трава на празднике костров.

Пока горит звезда надежды,
мечта стремится свои крыла,
мы молоды с тобой, как прежде,
и юность наша не ушла.

Труба зовёт на братский пир,
и сквозь дымы пороховые,
слова Поэта как впервые:
«Блажен, кто посетил сей мир
в его минуты роковые...»

Волонтёрка*Людмиле*

Расскажи хоть немного о море,
уносящем в простор корабли...
Здесь, у моря, всего-то три горя,
на прибрежных закрайках земли.

Буду слушать светло и печально,
и ничем не спугну твою грусть.
Провожу до скамейки прощальной,
я лишь с виду суровым кажусь.

Волонтёр, своих бед доброволка,
мне пророчить тебе не с руки.



Как ступням на камнях твоим колко,
и темны под глазами круги.

Так не хмурь свои синие очи,
что-нибудь мне ещё говори...
За кормой уплывающий Сочи,
под бушпритом осколки зари.

Ты красива, нет слов. Я не спорю.
Этим всем я не первый сражён.
Одинока, как чайка над морем,
и публична, как море в сезон.

Расскажи мне немного о море,
как на рейде грустят корабли...
А у моря всего лишь три горя,
на солёных закрайках земли.

Деревенский

Среди нас уживается гений,
зря не хмурит высокий свой лоб.
Носит тихое имя – Евгений,
в остальном, как и я, остолоп.

Как кулик, он болото не хвалит.
Поутру он до солнца встаёт.
Топором он сосну свою валит.
Вечеру под гитару поёт.

Любит пиво, но как-то некрепко.
Если камни, то в свой огород.
И его, и в замасленной кепке,
нежно любит окрестный народ.

Но когда он к колку прикоснётся,
и положит на струны ладонь,
вдруг, гитара, как птица, взовьётся,
и крылом осенит небосклон.

Деревенский непризнанный гений,
с нами вместе, в жару и в мороз,
среди нас затерялся Евгений,
за мгновение от счастья и слёз!

ЮРИЙ КРАСНОКУТСКИЙ

Орлы

Оскал причудливой скалы,
И под ногами плещет море,
А на скале живут орлы,
Одни в сияющем просторе.

Я в небеса смотрю с тоской,
Все позабыв: дела и сроки.
Орлы парят там день-деньской
И ловят встречные потоки.

Пред этим чувством высоты,
Где властны царственные птицы,
Всё никнет: травы и цветы,
Все короли, цари и принцы.



Осень в Павловске

*Все мне видится Павловск холмистый
Круглый луг, неживая вода.*

Анна Ахматова

Пришла тихонько осень золотая,
Взмахнув палитрой красок ярких,
И, паутинки ветром разметая,
Заполнила собой просторы парка.

Я в Павловске, гуляю по аллеям,
Шуршит у ног опавшая листва,
Кружится медленно, как будто сожалея,
Но в этом есть частица колдовства.

Простор и зелень бархатных полей
Сплошным ковром – среди берез и кленов.
Мне это время радостней, милей –
Листвы багряной, огненной, зеленой.

На фоне золота берез одна ротонда –
Как нежный торт – белеет у пруда
И в небе отражается бездонном,
И уплывает, будто в никуда.

По белоснежным мостикам ажурным
Я в первый раз гуляю – не спеша,
Не предаваясь помыслам амурным –
Пусть отдыхают тело и душа.

Под священным Крестом

(Русская православная церковь и Ставропольская Епархия в годы Великой Отечественной войны)

1

22 июня 1941 года, о начале войны с гитлеровской Германией советские люди узнали не только из выступления председателя правительства Молотова, но и из радиообращения митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) «Пастырям пасомым Христовой Православной Церкви:

22 июня 1941 г.
г. Москва

Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви.

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая



**GERMAN
БЕЛИКОВ**

Краеведение





всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батюга, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью, и на сей раз, он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа

своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больша сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимы тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергей митрополит Московский и Коломенский [1].

Как писал исследователь М. В. Шкаровский: «Казалось, начавшаяся война с фашистской Германией



должна была обострить противоречия между государством и Церковью. Однако этого не произошло. Складывавшиеся веками национальные и патриотические традиции Русского Православия оказались сильнее обид и предубеждений. Несмотря на духовную несвободу, гонения на них, верующие приняли самое активное участие в борьбе с агрессором.

О нападении на СССР Патриарший Местоблюститель митр. Сергей узнал, вернувшись в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он служил литургию. Сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноручно отпечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». И это было в тот момент, когда многие государственные и партийные руководители пребывали в растерянности – И. Сталин смог обратиться к народу только на двенадцатый день после начала войны. О каком-нибудь давлении властей на Патриаршего Местоблюстителя при написании им первого военного послания говорить не приходится. «Невзирая на свои физические недостатки – глухоту и малоподвижность, – вспоминал позднее архиепископ Димитрий (Градусов), – митрополит Сергей оказался на редкость чутким и энергичным – свое послание он не только сумел написать, но и разослать по всем уголкам необъятной Родины» [2].

Как вспоминал Леонид Николаевич Польский, некогда известный ленинградский журналист газеты «За индустриализацию», курируемой лично С. М. Кировым, в канун захвата Ставрополя (Ворошиловска) немцами оказавшийся на побывке у своего отца, тогда настоятеля церкви Успения Пресвятой Богородицы: «Послание митрополита Московского и Коломенского дошло до Ставрополя и тут же распространилось по всей бывшей Ставропольской епархии, как среди «тихоновцев»,

так и «обновленцев», вызвав у всех патриотические чувства...» [3].

Пятигорские исследователи Сомова И. Ю. и Линец С. И. пишут:

«С началом войны в сохранившихся храмах звучали молебны в память великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Для всех верующих и неверующих православных людей и представителей иных вероисповеданий исторические святые становились символами. Чувство патриотизма оказалось сильнее обид. 22 июня 1941 г. митрополит Сергей, местоблюститель патриаршего престола, сначала в проповеди, а затем в письме-обращении, заявил: «Наша Православная Церковь всегда делила с народом и успехи, и испытания. Не оставит она его и сегодня. Церковь даст свое святое благословение предстоящей борьбе». Далее Сергей призвал священнослужителей не оставаться молчаливыми наблюдателями, не говоря уже о тех, кто занялся подсчетом выгод от сотрудничества с одной из воюющих сторон, «это было бы прямым предательством по отношению к Отечеству и к долгу священнослужителя». 7 августа 1942 г. глава обновленческого духовенства СССР направил обращение верующим на Кавказ» [4].

Между тем власти начали понимать сложившуюся ситуацию, где православная церковь могла быть мощной силой в патриотическом порыве народа против оккупантов. Как пишет М. В. Шкаровский в своей книге «Русская православная церковь»:

«Сергию, Алексею, Николаю не препятствовали распространять свои патриотические воззвания, хотя это и являлось нарушением закона. Полностью прекратилась антирелигиозная пропаганда, была свернута деятельность «Союза воинствующих без-



божников», правда, формально он не был распущен. Сталин через секретаря А. Н. Поскребышева порекомендовал «главному безбожнику» Е. Ярославскому публично отметить новую патриотическую позицию Церкви. Тот не посмел ослушаться и после долгих сомнений 2 сентября подготовил статью «Почему религиозные люди против Гитлера» для печати, подписав ее экзотическим трудноузнаваемым псевдонимом Каций Адамиани. В статье, первоначально предназначенной только для зарубежного читателя, высоко оценивалась патриотическая деятельность Московской Патриархии, а также некоторых других религиозных объединений СССР. А в 1942 г. вышла другая статья Е. Ярославского о православном христианском писателе Ф. М. Достоевском. Предметом исследования была приписываемая Достоевскому ненависть к немцам. Метаморфоза главного гонителя Церкви в 1920–1930-х гг. особенно показательна. К октябрю 1941 г. были закрыты практически все антирелигиозные периодические издания. Флагман же советского атеизма журнал «Под знаменем марксизма» начал печатать статьи о выдающихся русских исторических деятелях, великом русском народе, героизме советских солдат и т. п., а в 1944 г. и совсем прекратил свое существование» [5].

Приумолкла и огромная армия антирелигиозных лекторов на Ставрополье, как и прочих борцов с «опиумом народа», прежде всего в средствах массовой информации. Открытый в 1939 году известный нам антирелигиозный музей в Ставрополе с начала войны был закрыт, а музейные работники – уволены [6].

Как известно, первые месяцы и годы начавшейся Великой Отечественной войны были отмечены поражениями Красной армий и ее отступлением.

В этой обстановке митрополит Сергей составил 12 октября завещание, в котором в случае своей смерти передавал полномочия Местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Ленинградскому Алексею (Симанскому). В праздник Покрова Божией Матери митрополит Сергей обратился с посланием, адресованным православной и боголюбивой пастве московской. Митрополит Сергей выразил твердую уверенность в конечной победе русского оружия, грозно предостерег малодушных от предательства и, упомянув о пастырях, которые лелеют надежды на изменение положения Церкви к лучшему в случае победы Гитлера, пригрозил им извержением из сана и церковным судом. В заключении послания он благословлял самоотверженных защитников святой Церкви и Родины.

Это было прощальное обращение митрополита Московского Сергея к столичной пастве перед эвакуацией из Москвы. Еще 7 октября Московский горсовет распорядился об эвакуации Патриархии на Урал в Чкалов (Оренбург), само советское правительство переехало в Самару (Куйбышев).

24 ноября митрополит Сергей обратился вместе с митрополитом Киевским и Галицким Николаем, архиепископами Куйбышевским Андреем, Можайским Сергием и Ульяновским Иоанном с новым посланием к пастве: «Гитлеровский молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч «на защиту религии» и «спасение» якобы поруганной веры. Но всему миру ведомо, что это исчадие ада лживой личиной благочестия только прикрывает свои злодеяния. Во всех поработанных им странах он творит гнусные надругательства над свободой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы Божии, бросает в тюрьмы и казнит христианских пастырей, гноит в тюрьмах верую-



щих, восставших против его безумной гордыни, против его замыслов утвердить свою сатанинскую власть над всей землей. Православные, бежавшие из фашистского плена, поведали нам о глумлении фашистов над храмами... Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. У русских людей, у всех, кому дорога наша Отчизна, сейчас одна цель – во что бы то ни стало одолеть врага».

В пасхальном послании первосвященник раскрыл антихристианскую направленность нацистской идеологии: «Не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать своим знаменем языческую свастику. Не забудем слов: Сим победиши. Не свастика, а крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше христианское «жительство». В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось, и для будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его».

После этих слов митрополита Сергия многие вспомнили, что не только вожди фашистской Германии утверждали, что «христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится». И всякому, кто слышал это послание, оглашаемое в православных храмах, ясно было, что не фашистская свастика, и не красная пентаграмма, а крест призван «возглавить христианскую нашу культуру».

В первую годовщину Великой Отечественной войны митрополит Сергей издал два послания – одно для москвичей, а другое для всероссийской паствы. В московском послании Местоблюстителем выразил радость в связи с поражением немцев под Москвой.

В послании всей Церкви глава ее обличал нацистов, которые в пропагандистских целях присваивали себе миссию защитников христианской Европы от нашествия коммунистов, а также утешал паству надеждой на победу над врагом. В Рождественском послании 1943 г. митрополит Сергей писал, что мы теперь не только верим, но и видим, что победа определенно перешла на нашу сторону. Пасхальное послание 1943 г. заканчивается словами: «С Божией помощью наша доблестная русская армия изгонит фашистскую нечисть из пределов нашей Родины. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его (Пс. 67. 2)». В послании, составленном ко второй годовщине начала Великой Отечественной войны, митрополит Сергей просил благословения у Господа на продолжение «патриотического подвига и на фронте, и в тылу, и да сотворит Господь, чтобы третий начинающийся год военной страды стал для нас годом победы».

К концу пребывания Патриаршего Местоблюстителя в Ульяновске число архиереев Патриархии достигло семнадцати.

В феврале 1942 г. было разрешено в пропагандистских целях возобновить издательскую деятельность Русской Церкви. Предисловие к книге «Правда о религии в России» написал Патриарший Местоблюститель, подготовлена она была в чрезвычайно короткие сроки и уже летом вышла из печати. Интересно, что ее напечатали в типографии практически переставшего существовать «Союза воинствующих безбожников», и часть тиража по оплошности имела гриф антирелигиозного издательства. Книга эта была издана тиражом 50 тыс. экземпляров, одновременно на нескольких языках и распространялась, согласно свидетельству Совета по делам Русской Православной Церкви, в США, Великобритании, Швеции, на Ближнем Востоке



и за линией фронта. В 1943 г. была подготовлена и напечатана еще одна пропагандистская книга «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война», посвященная патриотической деятельности Московской Патриархии. Однако когда митрополит Ленинградский Алексей обратился к властям с ходатайством о разрешении издать подобную книгу, посвященную Ленинградской епархии, ему ответили отказом.

Явной уступкой Церкви было последовавшее в апреле 1942 г. разрешение в Москве, Ленинграде и ряде других городов совершать Пасхальный крестный ход вокруг храмов с зажженными свечами, на эту ночь отменили комендантский час. Произошло фактическое снятие некоторых ограничений на внебогослужебную деятельность, проведение массовых религиозных церемоний. Характерно, что в блокадном Ленинграде в самую страшную голодную зиму 1941–1942 гг. все православные храмы снабжались минимально необходимым количеством вина и муки для причащения богомольцев [7].

26 июня в Богоявленском соборе митр. Сергей отслужил молебен «о даровании победы». С этого времени во всех храмах Московской Патриархии стали совершаться подобные молебствия, по специально для них составленным текстам: «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в дни Отечественной войны». В проповеди, произнесенной Местоблюстителем после молебна 26 июня, также содержалось прямое указание на то, что положение в СССР перед войной было неблагополучно: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной... Мы уже видим

некоторые признаки этого очищения. Так началось активное участие Русской Церкви в патриотической борьбе. В речи на Архиерейском Соборе 1943 г. митр. Сергей, вспоминая июнь 1941 г., говорил: «О том, какую позицию должна занять наша Церковь во время войны, нам не приходилось задумываться... [8].

Итак, уже первые годы Великой Отечественной войны «открыли новую страницу в истории взаимоотношений между советским государством и церковью. Произошло кардинальное изменение позиции И. В. Сталина в религиозном вопросе. Это было вызвано целым рядом обстоятельств, главным из которых, безусловно, являлся внешнеполитический фактор. Международные проблемы заключительного этапа Второй мировой войны, новая геополитическая ситуация в Европе после ее окончания потребовали от сталинского руководства использования всех возможных средств для утверждения и усиления своего влияния на международной арене. Определенная роль в этом отводилась Русской Православной Церкви.

2

Как пишет М. В. Шкаровский:

«Планируя нападение на СССР, фашисты рассчитывали активно использовать религиозный фактор в своих целях. Они уже имели богатый опыт проведения подобной политики как в Германии, так и на захваченных ими территориях в Европе. В системе Главного управления имперской безопасности (СД) имелся специальный «церковный отдел». В его задачи входили контроль и наблюдение за деятельностью религиозных организаций всех конфессий, изучение настроений духовенства и активных прихожан, внедрение агентуры в церковные административно-управленческие структуры



и вербовка агентов из среды священнослужителей. Практически во всех странах Европы действовала разветвленная агентурная сеть отдела. Он также обеспечивал продвижение «своих» людей на должности в церковные и общественные фонды, комитеты и т. п.» [1].

На занятых гитлеровцами территориях Советского Союза, в том числе и на территории Ставропольской православной епархии, в своей идеологической войне на занятых ими территориях, оккупанты активно использовали влияние православной церкви на население, умело используя в своих интересах антирелигиозную деятельность советской власти в довоенное время. В ставропольской оккупационной газете «Утро Кавказа», как и в «Пятигорском эхо» публиковались острые, разоблачительные статьи, обращались к истокам большевистской антицерковной политики. Такого рода публикации, без сомнения, можно считать элементами идеологической войны, которая беспощадно велась тогда между фашизмом и большевизмом. Путем безудержной критики антирелигиозной политики Ленина – Сталина достигалась главная цель, во имя которой готовились статьи для печати – получить поддержку местного населения, без которого невозможно было строить «новый порядок». Кроме того, применяя ложь, обман и шантаж, гитлеровцы пытались разжечь межнациональную вражду, натравить горцев на казаков, а также столкнуть горцев разных национальностей, играя на их религиозных чувствах. Но, как свидетельствуют документы, настроение большинства населения, в том числе и следовавшего своим религиозным традициям, оставалось совсем иным.

На Ставрополье религиозная политика отличалась от проводимой немцами в других оккупи-

рованных регионах нашей страны. Во всех городах и селах края открывались и восстанавливались храмы и мечети, разрешались практически все религиозные течения. Оборудование для церквей на Кавказ оккупанты завозили из других захваченных территорий» [2].

Небезынтересно, что именно в Ставрополе немцы собирались провести что-то вроде Поместного собора Русской Православной церкви. Из обнаруженных немецких документов стало известно, что по этому вопросу велась переписка с некоторыми ставропольскими церковниками, Берлинским митрополитом Серафимом Лядэ. Он должен был провести «Поместный Собор» в Ростове или Ставрополе, состоящий из духовенства, строго отобранного немцами на оккупированной территории, с тем, чтобы этот Собор избрал бы Серафима в качестве патриарха Московского и Всея Руси. Для немцев это был бы большой козырь, несмотря даже на то, что сам «Собор» с канонической точки зрения был бы фикцией. Немцы не успели провести это мероприятие, т. к. были разгромлены под Сталинградом и изгнаны с Северного Кавказа.

При всем при этом на оккупированной немцами территории Ставропольской православной епархии, символически возрожденной, резко оживилась религиозная жизнь. Так протоиерей Ионов в книге «Записки миссионера», частично опубликованной в оккупационной газете «Пятигорское эхо», писал: «...религиозное пробуждение было общим, массовым и стихийным. Народ, как в городах Ставропольского края, так и в сельской местности сам шел в открываемые храмы. Так в Пятигорске открылся храм Архангела Михаила, до оккупации закрытый и использовавшийся под склад. В честь открытия храма прошел крестный ход, состоялось освящение храма и торжественная литургия [3].



Согласно разрешению коменданта города с 19-го августа 1942 г., в кладбищенской церкви начались торжественные богослужения. На молебне присутствовали представители органов городского управления. «При всех возможных обстоятельствах торжественное богослужение не будет нарушено. Граждане и дети, спокойно направляйтесь в свой храм для возношения горячих молитв перед Всевышним», – говорилось в объявлении, сделанном властями города [4]. Только за 10 дней с 7 по 18 сентября кладбищенской церковью было совершено: крещений – 83, бракосочетаний – 3, погребений – 8. Интересно, что в 28 случаях крестили детей в возрасте от 1 до 5 лет [5]. По распоряжению германского командования архиепископу Николаю, как архиепископу православной церкви, проживающему в Пятигорске, комендантом города было разрешено руководство церковно-общественной жизнью Пятигорска и районов (области) с центром служения в Михайло-Архангельской и Скорбященской церквях г. Пятигорска.

В Кисловодске оккупанты восстановили церковь Святого Пантелеймона. Ремонтировались и восстанавливались церкви также и в Железноводске [6]. Ввиду того, что главная церковь была ранее снесена, городское управление решило временно оборудовать под церковь одно из зданий. Одновременно оно ходатайствовало о закреплении за церковью более подходящего помещения, производя в нем капитальное переоборудование. На устройство церквей в Железноводске местные власти даже выдали ссуду.

В селе Вознесеновка немцы организовали массовые крестины. Крещению подлежали все дети до 10 лет [7]. Всюду старосты тщательно учитывали население, уклоняющееся от посещения церквей и исполнения церковных обрядов.

В Ворошиловске до оккупации действовал всего один Успенский храм на одноименном кладбище. Вскоре с согласия немецких властей городским управлением были открыты две старые церкви – Крестовоздвиженская и Вознесенская, а затем и церковь во имя святого Апостола Андрея Первозванного. Румынские солдаты православного вероисповедания настояли на ее открытии. Они пожертвовали на это более 4 тыс. рублей. На втором этаже Владимирской церкви располагалось Епархиальное управление, в нижнем этаже городские власти устроили крестильную и мастерскую по производству свечей. 1-го ноября 1942 г. состоялась первая служба в церкви Андрея Первозванного, которую проводили священники Успенской церкви. Церковь была забита румынами и гражданским населением [8].

В оккупационной газете «Ставропольское слово» более подробно сообщалось об открытии храма Св. Андрея Первозванного в Ставрополе:

«К открытию Андреевской церкви», как сообщала газета «Ставропольское слово» от 6 ноября 1942 года в № 45: «По случаю Тезоименитства румынский король Михаил и румынский патриарх Никодий прислали в дар открываемой церкви ладан и миро, а также набор художественно выполненных серебряных крестов...»

Между тем открытие церкви Св. Андрея Первозванного состоялось на Рождество. Сотни людей, в том числе и румынские солдаты и офицеры, заполнили церковь, о чем писал Борис Николаевич Ширяев в газете «Ставропольское слово» от 1 ноября 1942 года:

«...Колокол Андреевской церкви, после длительного молчания вновь заговорил. Переступаю порог. В церкви много молящихся. Стройно поет архиерейский хор, приятно пахнет ладаном. Вспоминаю детство, юношество, давно прошедшие годы. Кругом



вдумчивые лица верующих, умиленно смотрящих на скромный алтарь. Многие глубоко переживают открытие церкви. Молодежь смотрит со стороны с любопытством, но молитвенное настроение взрослых понемногу заражает и ее.

На купол храма вновь водружен Святой Крест. Будет восстановлен иконостас взамен уничтоженного кипарисного. Некогда его украшала икона работы известного русского художника Кипренского, жившего в царствование Александра I. На иконе был изображен Иисус Христос в виде архидиакона. Нужно найти эту икону, как и многие другие...»

К этому следует добавить, что колокол для храма Андрея Первозванного был отлит на заводе «Металлист», как немцы переименовали бывший завод «Красный металлист». Правда, старая колокольня храма была наполовину снесена большевиками, поэтому новый колокол подвесили на временной деревянной перекладине при входе в ограду храма...

Тогда же на втором этаже церкви св. Владимира со снесенной двухэтажной колокольней расположилось возрожденное епархиальное управление, начавшее работу по возрождению самой Ставропольской епархии. Так, благодаря ее деятельности в самом Ворошиловске начали действовать еще две ранее закрытые, но уцелевшие церкви – Крестовоздвиженская и Вознесенская.

Они также получили прекрасные иконы и церковную утварь, как и церковное одеяние священников, из бывшего музея атеизма [9].

С открытием Андреевского православного храма связана судьба экспонатов бывшего Атеистического музея при краеведческом музее Ставрополя. Как говорилось выше, инициаторами открытия Андреевской церкви были румыны, штаб которых располагался в здании бывшего Ставропольского епархиального православного управления, стояще-

го впритык к самой Андреевской церкви. Румыны хотели вынести из церкви находившиеся там архивы дореволюционной истории гор. Ставрополя и Ставропольской губернии и тут же во дворе все сжечь, и вот тогда протоиерей Успенского собора Ставрополя и его сын, вчерашний журналист Польский Леонид Николаевич, пошли к бургомистру города Меркулову, упросив предоставить им гужевой транспорт и вывезти все архивы в краеведческий музей, а оттуда забрать церковные предметы атеистического музея и раздать всем открываемым в Ставрополе церквям. Об этом писал Л. Н. Польский в своих письмах автору этой работы, которые были в 2000 году опубликованы в книге «Война и судьбы». Вот краткая выписка из той книги:

«...Я приложил руку к спасению драгоценной библиотеки Крайархива, находившейся на 2-м этаже колокольни. На все шкафы повесили надежные замки для предотвращения хищения. В ту пору в Архиерейском доме находился штаб румынских войск, приданных к армейской группе «А» фельд-маршала Клейста. Румыны-православные и предложили моему отцу помощь в освобождении Андреевской церкви от заполнявших её архивных дел. Они думали решить дело быстро – послать в церковь батальон, выбросить бумажные связки и, не раздумывая, сжечь. Я решительно запротестовал, считая архив национальным достоянием, пошёл с отцом к бургомистру С. Н. Меркулову, объяснил суть дела и он передал в распоряжение церкви свой конный транспорт. На нем за две недели перевезли архив в первый этаж краеведческого музея. Церковь привели в порядок, освятили, из музея – из его атеистического отдела – забрали иконы, утварь, облачения и вслед затем открыли церковь. С тех пор и действует...» [10].



В фондах сегодняшнего музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве нам удалось разыскать чудом сохранившийся документ – Акт передачи части экспонатов бывшего атеистического музея церковному управлению. Сам акт подписал директор краеведческого музея, некогда известный палеонтолог, доцент Ставропольского педагогического института Б. С. Каспиев, а из церковных представителей А. И. Новашевский

Неотъемлемой составной частью возрождения церковной жизни стало восстановление в полном объеме всех христианских православных праздников. Возрождался из забвения православный календарь, в котором были перечислены все 70 дней христианских праздников. Составленный жителем Эссентуков Рудиным, он был одобрен местным протоиереем И. Дмитриевским. Календарь печатался массовым тиражом в типографии города и с 1-го октября 1942 г. поступил в продажу по цене 1 рубль за экземпляр, т. е. по вполне доступной для верующих цене. В газете «Пятигорское эхо» от 21 августа 1942 г. сообщалось об открытии церковной библиотеки. Большое внимание со стороны оккупационных властей уделялось использованию религиозной темы в проведении идеологической работы. В прессе всячески подчеркивалось, что новый режим несет религиозную свободу. Настойчиво «рекомендовалось» в проповедях и во время церковных церемоний выражать верноподданнические чувства к А. Гитлеру и «Третьему рейху». Духовенство заставляли участвовать в «праздновании» годовщины начала войны и других подобных дат.

В начальных школах Пятигорска, поселка Свободы, в Горячеводске велось преподавание Закона Божьего. «Дети наперебой просят назначить их читать молитву перед учением. В настроениях детей

уже не чувствуется разлада между школой и религиозной семьей. Нет также той тоски и печали в детских глазах, какие можно было наблюдать, когда учитель проводил урок, насыщенный антирелигиозным материалом» – сообщала газета «Пятигорское эхо» [12]. Ввиду предстоящего включения в программу начальных и других школ в качестве учебного предмета преподавания Закона Божьего и вообще для целей религиозно-нравственного воспитания необходимы соответствующие учебники и учебные пособия издания св. Синода. Было бы крайне желательно, чтобы граждане, имеющие указанные книги, пожертвовали их, сдав в сторожку при Кладбищенской церкви лично протоиерею о. И. Дмитриевскому» [13].

В Пятигорске была открыта церковная библиотека. Церковные книги и иконы немцы обнаружили в городском музейном фонде, куда они поступили из привокзальной церкви Архангела Михаила и Горячеводского храма. В газете «Пятигорское эхо» была помещена статья об уникальном экземпляре Библии, найденном в музее краеведения. Автор статьи восхищается прекрасно отпечатанной книгой, в кожаном, тисненном золотом переплете, изданной в 17-й год царствования императрицы Екатерины II, т. е в 1779 г. [14].

Церковь вновь стала активно участвовать в проведении таких гражданских актов как бракосочетание, крещение детей, отпевание покойников. В Кисловодске по распоряжению генерала фон Шульца была организована необычайно пышная свадьба одного бывшего комсомольца. О ней заранее было широко оповещено население города. Генерал одарил новобрачных богатыми подарками, даже соизволил быть посаженным отцом жениха. Подобные свадьбы молодежи проводились в городах Ставро-



поле, Пятигорске, в Ипатовском, Апанасенковском и других районах, и особенно часто – в Карачае [15].

О повсеместном открытии церквей на всех оккупированных территориях знали все жители. Многие ходили туда, где, как они потом сами рассказывали, молили Бога изгнать захватчиков и помочь Красной Армии.

Итак, последствием немецко-фашистской оккупации являлось усиление деятельности религиозных организаций, возрождение религиозных верований. Используя религиозные культы, фашистский режим стремился таким путем «приручить» население. При создании новых структур власти на оккупированных территориях, в том числе и в Ставропольском крае, германское командование прибегало к помощи церкви. Она проводила обряд освящения зданий и помещений, возрождая, тем самым, дореволюционные российские традиции. Население с интересом, а значительная его часть и с одобрением, относилось к таким актам. Как показало военное время, все усилия сталинского режима по искоренению религии из повседневной жизни советских людей, из их сознания, оказались тщетными.

В этой непростой ситуации митрополит Сергей, достаточно полно осведомленный о религиозной политике гитлеровцев во главе с министром оккупационных территорий СССР А. Розенбергом, принимал меры нейтрализации подчинения Православной церкви оккупантам. Так, в январе 1942 г. в специальном обращении к православным людям на временно оккупированной немцами территории Патриарший Местоблюститель напомнил, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что они – русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит Сергей призывал содействовать

партизанскому движению. Так, в послании было подчеркнуто: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему собственному освобождению от фашистского плена [16].

Сохранилось немало примеров участия ставропольских священнослужителей в разного рода патриотических акциях, начиная с укрытия от оккупантов раненых бойцов и командиров, представителей еврейской национальности, как и борьбе с врагом в составе партизанских отрядов края и регулярных частей Красной армии, о чем еще пойдет разговор.

Широко известен факт связи церковнослужителей Лазаревской церкви Пятигорска по сбору военной информации на Кавказских Минеральных водах и передачи ее через советскую разведчицу-радистку Нину Попову в разведслужбы Красной армии. Об этом событии известно многим. Так Л. Н. Польский в Пятигорском краеведческом сборнике писал:

«Лазаревская церковь была превращена в кафедральную и стала местом пребывания немецкого ставленника архиепископа Николая – агента гестапо. Другой священник этой церкви, отец Василий, содействовал Красной Армии, укрывая разведчиков. Сведения о передвижении и дислокации немецких войск поступали тайно, через почтовый ящик, сделанный в одной из могил кладбища. Через отца Василия эти сведения шли к радистке-шифровальщице. Радиопередатчик он прятал под престолом церкви. Но архиепископ Николай отдал отца Василия в руки гестапо. За содействие Красной Армии отец Василий и его помощники 6 октя-



бря 1942 г. были расстреляны в районе пятигорского мясокомбината» [17].

Между тем после окружения немецких войск они начали отступление с Северного Кавказа, в том числе Ставрополья. При этом еще надеялись вернуться. Может поэтому в большинстве своем не подвергали разрушению церкви и православные храмы. Уже к концу февраля 1943 года Северный Кавказ был очищен от оккупантов. При этом все открытые немцами церкви продолжали функционировать, что, однако, было воспринято негативно вернувшейся советской властью, возглавляемой на Ставрополье первым секретарем Ставропольского крайкома партии М. А. Суловым и его партийному и советскому окружению. Не почувствовав уже начавшихся перемен по возрождению Православной церкви, эти ярые антирелигиозники решили продолжить репрессивный курс в отношении церкви. Правда, успели сделать немного – взорвать красу города Ставрополя величественную «Царь-звонницу» до войны разобранного храма Казанской Божией матери.

Об этом вандализме властей автору этой книги пришлось собирать материал по крохам. Так, 10 мая 1943 года в «Ставропольской правде» появилось неприметное объявление: «10 мая в семь часов утра в городе на Комсомольской горке будут произведены взрывные работы».

И все! Что за работы? Почему взрывные? Ни слова... Жителей всех окрестных домов в радиусе до 500 метров удалили. Прошел слух – будут взрывать колокольню! Зачем!?

Жильцов нашего дома вывели на старое Варваринское кладбище с еще сохранившимися на нем многочисленными щелями. Вскоре раздался взрыв. Старая колокольня, к которой были прикованы все

взоры, слегка дрогнула, окутавшись дымом и столбом пыли.

Уже на второй день все повторилось. Вновь взрыв, но более мощный, и «наша» колокольня стала медленно оседать. Когда прибежали к месту взрыва, то увидели груды камня, исковерканные взрывом металлические балки и... множество погибших летучих мышей...

После долгих поисков удалось найти одного из тех, кто выполнял приказ по уничтожению «градостроительной жемчужины». Им оказался вчерашний 16-летний допризывник, а теперь уже пенсионер – Константин Михайлович Скотников.

«Собрали нас человек 30 допризывников в крайвоенкомате, – начал он свой рассказ, – где дали по ящику тола, молотки и зубила. Затем приказали идти к колокольне на Комсомольской горке. Там внутри выдолбили ниши, заложили взрывчатку, которую позже взорвали. Но колокольня уцелела...»

Что было дальше, рассказал уже пенсионер Михаил Михайлович Белохвостов: «В октябре 1949 года я вернулся в Ставрополь, где жил ранее. Получил квартиру в доме № 6 по ул. Советской. Там же жил бывший начальник милиции Максим Иванович Скирденко. У него и спросил – «Куда подевалась красавица-колокольня на «кафедралке»? Он и сказал, что вызвал его М. А. Суслов, где сказал, что колокольня – ориентир для немецкой артиллерии, и ее надо убрать. А немцы-то уже были у Таганрога. Но приказ есть приказ. Взял я с Западного аэродрома три трофейные авиабомбы по 500 кг, две из которых заложили внутрь сооружения. От их подрыва колокольня и рухнула...»

Еще одно подтверждение «героического деяния» главного партизана по уничтожению Царьзвонницы нам оставил известный журналист



О. Шаповалов. «На вопрос бывшего председателя горисполкома Г. Баркова к секретарю горкома партии А. Попову, зачем было взрывать колокольню, – писал Шаповалов, – последний ответил: «Мы так решили с Сусловым».

Сегодня Царь-звонница, как и храм во имя Св. иконы Казанской Божией Матери, возрождается вновь. Но нельзя забывать, что большевиками в том же Ставрополе было разрушено еще восемь православных храмов и церквей, не считая домовых церквей, часовен, приютов и богаделен, как и центров других вероисповеданий. Как и их духовных наставников...

На фоне разрушенного гитлеровцами города уничтожение колокольни на Комсомольской горке выглядело не просто варварской акцией, а бесовским деянием. Люди хотели мира, хотели видеть свой город поднявшимся из пепла, отдавая этому все свои силы. Даже школьники вносили свой вклад в восстановление школ, как и студенты своих институтов. А тут наглая по своей сути, совершенно безнравственная и безнаказанная выходка вчерашних дезертиров, трусливо бежавших из города при приближении немцев, а теперь возомнивших о своей безнаказанности» [18].

Между тем, наступивший новый 1943 год стал годом возрождения Ставропольской и Бакинской епархий, куда войдут помимо Азербайджанской ССР, и национальные республики: Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская и Дагестанская. Главой епархии станет митрополит Антоний (Романовский). Но все это произойдет не сразу и потребует огромных усилий Русской Православной церкви.

Фронтовые рубежи Ставропольской литературы

Часть 1

Есть времена, когда люди видят перед собой одинаковую цель, и перед ней отступают все другие. Такова была Великая Отечественная война. Это потом, через много лет, включаются аналитические подходы, начинается работа по оценке всего, что происходило, память оставляет выбранные ею факты, эпизоды, впечатления. А все остальное, что происходило, остается неспаханной почвой, свидетельством для требовательного разума, залежами богатейшего материала. Этот материал готов раскрыться честному взгляду, он никогда не лжет, потому что это первоисточник. И какие бы события, какие бы характеры ни отыскивались в той, прошедшей жизни, добро или зло, какие бы политические или военные ошибки ни обнажались современным взглядом, – первоисточник всегда остается прав-



**ТАТЬЯНА
ЧЕРНАЯ**

**Литературо-
ведение**





дой. Поэтому, независимо от художественных достоинств, литература, созданная во время войны и сразу после нее, содержит в себе непреходящую ценность, опирающуюся на прочные отношения с жизнью, на фактические основания. Сейчас мы можем выбирать лучшее, что создано в литературе за семьдесят лет после войны. Но это не значит, что следует помещать произведения тех лет строчкой ниже или даже отвергать за излишнюю идеологизированность, за некоторую наивность, за красивую пафосность и, в особенности, за несовпадение с сегодняшним пониманием исторических истин.

У литературы Ставрополья есть своя история, в этом сейчас никто не сомневается. Проблема заключается в том, чтобы эту историю не забыть и не исказить, чтобы под новым, сегодняшним углом зрения объективно оценить день вчерашний, – не растоптать живые корешки традиции. Поэтому нам периодически необходимо обновлять и восстанавливать память о почве, взрастившей наши дни, не отбирая полезных для себя плодов, а сохраняя все, что давала жизнь. Писатель или поэт может сказать об этом лучше других.

Не мешает говорить живущим сегодня, что именно за них, за всех за нас, воевали вчера, что память о тех днях жива. Смысл этой статьи заключается в словах: «Спасибо вам! Спасибо всем тем, кто не жалел себя, кто мог отбросить страх в боях с врагами под шквальным огнем, в опасности, подстерегающей из-за угла, из-за куста в лесу, из окна, казалось бы, мирного дома. Спасибо людям, спасавшим детей, людям, умевшим подчиняться самому суровому приказу, людям, ненавидевшим войну и все же готовым на этой войне умереть. Спасибо погибшим и оставшимся в живых. Спасибо тем, кто,

пройдя четыре года ада, пришел к победе и дал возможность сегодня жить нам».

В «сороковые, роковые» воевал весь наш народ, победа была завоевана его кровью, его трудом, его самопожертвованием. Ставропольцы были частью этого народа. И кто может сказать, какая часть победы стала их вкладом! К концу 1930-х годов писательская организация Ставрополя только начинала формироваться, впереди виделись огромные возможности творчества и просветительства. Но писатели нашего края ушли на фронт и прошли свои трудные бои до самой победы, до Праги, Эльбы и Берлина. Старшее поколение испытало все – и горечь отступления, и кровавые рубежи наступательных битв, и отклики сталинских репрессий. Родина для них всегда писалась с большой буквы. Дорогами разных фронтов Великой Отечественной прошли Иван Егоров (Чилим), Эффенди Капиев, Карп Черный, Семён Бабаевский, Илья Чумак, Андрей Исаков, Михаил Усов, Валентин Марьинский, Борис Речин, Сергей Дроздов, Вениамин Ащеулов, Владимир Дятлов, Михаил Седугин, Павел Алдахин, Иван Кашпуров, Игорь Романов, Иоаким Кузнецов, Владимир Скорик, Евгений Карпов, Марко Гавриш, Владимир Гнеушев. Погибли Иван Голованов, Борис Макушенко, Филипп Зеленин, Виктор Луизов, Юрий Ломакин.

Многие из них были очень молодыми, с войны начиналась их жизнь. И можно сказать, что их творческие имена стали фундаментом всей последующей литературы Ставрополья. Фронтное поколение хорошо разобралось, где правда и что такое настоящий человек. Чтение их произведений – хорошая профилактика от современных попыток создать иные легенды о войне, умалить значение подвига русского, российского народа. Это свидетельства



живых. И еще важно. Произведения этих авторов, основанные на пережитых фактах, интересны, написаны искренне. После Великой Отечественной войны оставленное на время слово потребовало выразиться, снова захотелось писать. А память о войне рождала мечты о счастье, желание строить страну, дом, семью, жить спокойно и уверенно. До войны недавно было создано Ставропольское отделение Союза писателей РСФСР во главе с И.Я. Егоровым, в 1941 году вышел первый номер ставропольского альманаха, который назывался просто «Альманах». Его предназначением было объединить литературные силы Северного Кавказа. Была сделана попытка полноценного и перспективного охвата творческих литературных сил, отразивших особенности культурного развития Северного Кавказа. Литература Ставрополя была полна ожиданий, как и во всей стране. Начинала осознаваться ответственность за сказанное слово, т. е. именно то, что характерно для большой литературы. Помешала война.

Теперь, вернувшись, писатели-фронтовики взялись за все сразу. Они работали в редакциях, в школах, высших учебных заведениях, корреспондентами объездили страну и ее строительство, занимались наукой. Одновременно они писали, стараясь достичь того профессионализма, который виделся им прежде всего в русской классике. Но писали они о себе, о Ставрополье, о прошлом и настоящем. Особое место занимала военная проза. Дороги у них были разные, но постепенно сложился прочный костяк писательской организации, что было важно как для налаживания жизни, материальной поддержки, так и для роста мастерства, для формирования художественного слова, потому что не было произведения, которое не прошло бы обсуждения в

коллективе. Школа «старших» учила требовательности к себе, подгоняла к соревновательности, помогала осваивать опыт прошлого и вырабатывать свой почерк. Портрет ставропольского писателя-фронтовика содержит в себе черты, скорее всего, не армейского, военного человека, мужественно прошедшего по страшным дорогам войны – этот опыт они старались держать в себе, хотя, конечно, он сказался на характерах, на отношениях к людям, к событиям, к делу. Но по какой-то глубинной логике в этих людях сложилось удивительное качество интеллигентности, внутренний потенциал добра, понимания других и, разумеется, безупречно честное отношение к любому делу, которому они служили. Они не были идеалами, прикрашенными и напомаженными плакатными лицами. У каждого было «свое несовершенство». Но, видимо, то множество переживаний, которым наградила их фронтовая жизнь, выявило в них все лучшее, и именно оно протягивало свои ниточки ко всем, кто с ними общался. В моей детской памяти сохранилось чувство почтительности, всегда сопровождавшее появление И.Я. Егорова, так же как какое-то не выявленное, внутреннее чувство симпатии, вместе с шутками и юмором, когда приходилось видеть общение взрослых людей с А.М. Исаковым. Уже будучи преподавателем вуза, я часто встречалась со студентами, учившимися у К.Г. Черного, и не было случая, чтобы мне не высказали восторга и любви к этому человеку, к его доброте и культуре общения. К нам в дом часто заходили И.В. Чумак, В.И. Туренская, Н. Капиева, М.В. Усов, В.А. Ащеулов. Каждый из них оставлял прочное впечатление, ощущение того, что вот сейчас я увидела интересного, хорошего человека. Думаю, что подобные чувства переживали все, кому выпала удача встречаться с этими людьми.



ми. Во всяком случае, я наблюдала такие факты моральной поддержки, творческого обучения, просто человеческой доброты. И чем труднее был опыт «старшего», тем более человечным было его отношение к людям. И тем острее ощущались факты низости, приспособленчества, клеветы, имевшие, увы, место в послевоенной и последующей жизни. А литературное дело они понимали не просто как художественное творчество, но и как путь формирования общей культуры времени, народа, каждого отдельного человека. Это свидетельствовало об осознании активной роли литературы в становлении общественной жизни страны. Можно, конечно, оспаривать такую позицию, особенно в наше время, когда литературу отодвигают все дальше в маргинальные сферы, утверждая, что она для избранных. Русская литература не один раз переживала подобные ситуации, но всегда время вносило свои поправки, и познавательная, воспитательная, мировоззренческая функции возвращались к литературному творчеству, мощно требуя обратить внимание на самые сложные проблемы жизни. Тем более актуально было это в послевоенные годы. Однако побывавшие на фронтах писатели создавали произведения не только о войне, и даже не столько о войне, сколько о мирной жизни и мирных людях, какими они представлялись в новой послевоенной обстановке. Писали о любви, о природе, о труде, о школе и детях – обо всем, что дорого всегда. Вспоминая о тяготах и подвигах, о смерти и потерях, писали о войне. И при этом характерной приметой творчества обнаруживался органичный и естественный налет романтики. Хотелось мечтать и мечтали.

Посмотрим на общую картину ставропольской литературы сквозь факты индивидуального авторского творчества писателей-фронтовиков.

Иван Яковлевич Егоров родился 25 мая 1900 года в селе Быково Царевского уезда Астраханской губернии (ныне Волгоградской области) в семье крестьянина-бедняка. Окончил Астраханское училище садоводства и виноградарства. Работал агрономом-садоводом. Творческий путь начал со стихов в 1920 году, находясь в рядах Красной армии. После демобилизации много лет работал журналистом в областных газетах, писал очерки, фельетоны. В период 40 – 50-х годов Егоров – специальный фронтовой корреспондент «Литературной газеты». Один из первых среди ставропольских писателей был принят в члены Союза писателей СССР. С 1940 по 1953 годы был ответственным секретарем Ставропольского отделения Союза писателей СССР. На Ставрополье И.Я. Егоров прожил более 30 лет.

Первое значительное произведение Егорова «Буйные травы» – роман о времени коллективизации на Кубани, был опубликован в 1940 году. После Великой Отечественной войны в 1948 году он пишет роман «Третий эшелон», посвященный трудовым делам в тылу во время войны. Среди его произведений повести «Роза – дочь Алана», «Именная земля», «Ярлычок», «Левадинцы», «Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба», рассказы «Путевой разговор», «Данила Рокотянский», «Великое созидание», «Путешественники» и др., множество фельетонов, очерков, заметок писателя.

Егоров – писатель внимательный и вдумчивый. Много видя и зная о жизни, он главное внимание уделяет настроению и переживанию человека в обстоятельствах, в которые ставит его судьба. И обстоятельства эти рисует объективно и подробно,



точно соблюдая детали исторического момента. Его книги могут быть верным свидетельством времени, которое он описывает. Несмотря на то, что непосредственно военные годы отразились прежде всего в романе «Третий эшелон», хотелось бы подчеркнуть особое место в творчестве Егорова повести «Море Сарматское», напечатанной в первом послевоенном номере «Ставропольского альманаха» за 1946 год. Сравнительно с прежними произведениями писателя, эта повесть отличается немудреной жизненностью, созданной переплетением своеобразных конкретных характеров, не похожих друг на друга, но объединенных общими судьбами. Они все рыбаки и они все на собственном опыте убедились, что такое война.

Возвратившись с фронта после ранений, друзья посещают Сарматское море (Сенгилеевское озеро), где они любили рыбачить. Взгляд на родную природу, как второе дыхание, дает возможность жить дальше. Описание природы точное и одновременно наполненное как далекими мотивами довоенной романтики, так и деталями не прошедшей еще войны. «Тропа извивалась по мягким альпийским склонам до небольшого обрыва у Горького колодца. Дальше виднелся полуразбитый пастуший стан, к нему неторопливо ползло овечье стадо. И на самом низу темные лучики оврагов, прорытых ливневыми потоками, точно пальцы, указывали: вот оно, вот оно, Сарматское море! Оно лежало в вечерней дымке, широкое и спокойное, со всеми его острыми мысами и сонными заливами. И на западе за морем лиловела полувоздушная полужемная страна Амазонка.

Очкарик и Бочарик (прозвища персонажей, у которых были реальные прототипы – Т.Ч.) смотрели на море и улыбались.

– Все-таки мы пришли сюда... А?

– Пришли. Я и знал, что мы придем. Через лубые минные поля и ловушки... Нас не удержишь.

Они шли из города по непробитым тропам. Обходили многочисленные воронки, обходили штабеля хвостатых мин, обходили побитые, искореженные немецкие пушки с дырявыми надульниками, упорно смотрели под ноги в тех местах, где тропа вела через кустарники. Окрестности города расчищались саперными отрядами. Но взрывы ухали еще очень часто, скот набредал на мины. Непоседливые ребятишки гибли, отыскивая взрывчатку».

Сочные, яркие образы близких друзей, вернувшихся с войны и теперь живущих своей мирной жизнью, которая в повествовании переплетается с воспоминаниями войны и довоенными, литературная среда, изображенная на отдыхе, на рыбалке, с розыгрышами, прибаутками, застольями (кстати, трезвыми), с включением фрагментов биографий героев, описанием их дел и замыслов, с переживаниями, данными в глубоком психологическом контексте, – все это «неидеологично» выбивалось из магистральной линии, по которой двигалось развитие советской литературы. Писатель подвергся суровой критике, после которой его пребывание на Ставрополье стало трудным, и вскоре он уехал в Волгоград, где и провел последние годы жизни.

Андрей Максимович Исаков родился 17 сентября 1902 года в станице Родниковской Краснодарского края в бедной казачьей семье. С двенадцати лет стал батрачить, жил «в людях». С 1920 года – в Красной армии. После демобилизации работал на строительстве в горах Кавказа, на плантациях эфиромасличных растений, на промышленных предприятиях. В 1933 году поступил на литературный факультет Северо-Кавказского педагогического



института в г. Орджоникидзе, там и начал писать стихи. В 1938 году был принят в члены Союза писателей СССР – один из первых на Ставрополье. В годы Великой Отечественной войны – корреспондент фронтовых газет. Первая книга стихов «Казачья дума» вышла в 1937 году. Почти всю последующую жизнь прожил в Ставрополе. Много работал Исаков как переводчик поэтов Северного Кавказа.

Писал А.М. Исаков о том, что пережил сам, о том, что составляло его собственную жизнь. Так было и со стихами о войне. Вот, например, «Песня ставропольских партизан», написанная в 1941 году.

*Пробивает солнце хмары
Копьями лучей
Поседлали ставропольцы
Боевых коней.*

*Собирайтесь, партизаны,
Стариной тряхнем.
По захватчикам, фашистам
Сталью полоснем.*

*Скажем сестрам: до свиданья!
Поцелуем жен,
Время шашки боевые
Вырвать из ножен.*

Сорок первый год еще не активировал тяжелую боевую технику, жива была традиция героической романтики гражданской конной войны, – той войны, которая давала возможность проявить личную храбрость, поднять боевой дух, той войны, которая уже была воспета в песнях про вороных коней и летучие отряды конников. Тем более в казачьей среде. А. Исаков хорошо это чувствовал.

Поэзия А. Исакова глубоко фольклорна. Он понимал народную песню, понимал этот краткий обобщенный язык, знакомые каждому казаку ритмы. В этом смысле его стихи феноменальны. В книжке «Пока дышу» ставропольского критика Татьяны Петровны Батуриной есть глава, посвященная Андрею Исакову. Там она пишет: «Крестьянин по происхождению, казак по крови, он пел о родной земле, именно пел («я пою о вас, мои поля...»), а не писал. Пел простодушно и естественно, как поет птица на заре. Пел о полях, об их зеленом и золотом раздолье, о новой советской деревне. Да, это была именно советская деревня с ее характерными особенностями, с приметамы родного Ставрополя. Это светлый мир, где «золотые нивы» и хлеба, «колхозная слава» – стоят, «как море», где всегда «греет солнце», а ветер «шелестит травами», где цветут «душистые вишни» и «с восхода до заката не смолкают песни», где «чернокожая девчононька» верно ожидает своего «казаченьку, что служит на границе» («конь веселый кабардинский, звонкие копыта, черкесочка казацкая пулями прошита»). Об этом мире не скажешь иначе».

И если в поэзии Исакова нет глубоких психологических переживаний или поэтических открытий, то это замещается простым песенным словом, понятным всякому, кто, может быть, впервые соприкоснется со стихами. Тем более это было важно в то время, когда рядом с задачами восстановления страны тонкость поэтических изысканий не всегда могла быть оценена. А традиция народной песни в поэзии имеет ценность до сих пор. А.М. Исаков любил свой край, его тружеников, всем своим существом чувствовал поле, степь, колосющую пшеницу, пахоту, ценность воды. В поэме «Ставропольская быль» главный герой Иван Матвееч Кондра точно



передает авторское отношение к сельской жизни. Кондра оживляет поле:

*Бережно поглаживал рукою
Колосков колючую щетину.
И, бывало, просто, по-крестьянски,
Кондра поведет в селе беседу:
– Поле, братцы, все равно, что лошадь,
Холь его – и сразу залоснится.*

Другой его персонаж, герой поэмы «Медына» – партизан гражданской войны, «былина живая», перейдя границы мирного времени, стал новой былиной Великой Отечественной.

Многие стихи поэта превратились в песни. И это лучшее свидетельство их талантливости. Его собственное отношение к художественному слову тоже было отношением к песне:

*Если ты берешь для песни слово,
Положи его на пламень сердца,
Накали, да так, чтоб не остыло,
Чтоб легло кристаллом в глыбу века.
Время сгложет ветром грань металла,
По песчинке время слижет горы.
Только слово не остудит время,
Если слово в сердце накалилось.*

И думается, что для поэтизации родного края А.М. Исаков сделал больше, чем кто-либо другой.

Семен Петрович Бабаевский, очевидно, не может быть прямо причислен к группе ставропольских писателей, его масштаб при жизни измерялся пространством государства. Однако первое издание романа «Кавалер Золотой звезды» состоялось в Ставрополе. Сам он много лет прожил в Ставропольском крае и в Ставрополе, работал здесь. Он пишет: «Кубань и Ставрополье, край ты мой, роди-

мый край! Сколько вместе с тобой пережито и горя и радости. Вся моя жизнь неотделима от тебя, от твоих просторов, от станиц и сел, ты стал для меня моей второй родиной».

Писательская исповедь... В ней надо искать главный мотив, главные ценностные ориентиры автора. Оглядываясь на пройденный путь, писатель выбирает из своей жизни то, что объясняет его приоритеты, и то, что ему хотелось бы оставить в памяти людей о себе. Семен Петрович Бабаевский соединил в своей судьбе трудности подъема к вершинам, выпадавшие в нашу эпоху человеку «из низов», когда надо было начинать с элементарной грамотности и собственными усилиями добираться до вершин писательской культуры. В то время, как гигантская традиция создания литературы высочайшего эстетического уровня требовала такого же высочайшего уровня ответственности за сказанное слово и за художественное мастерство, надо было еще и понять эту традицию и одновременно соответствовать новому времени. Немудрено, что писатели этого поколения порой перегибали палку в стремлении следовать идеологическому стандарту. На этой дороге встречались природное дарование и предъявляемые властями нормативы – иногда это был трагический конфликт, иногда потеря своей индивидуальной писательской личности. Бабаевский очень точно попал в систему идейных требований советской послевоенной идеологии, и его колорит, владение ярким народным словом весьма успешно способствовали утверждению того ура-патриотизма и ура-оптимизма, который был необходим формирующемуся советскому обществу. Надо только понимать, что эти мировоззренческие основы присущи писателю абсолютно искренне, хотя слава, пришедшая к нему, во мно-



гом была создана именно благодаря поддержке властей.

Рассказывая о себе, Бабаевский объясняет появление своих произведений именно корнями, которые связывают его с народной жизнью. «В годы Великой Отечественной войны мне и моему другу Эффенди Капиеву довелось побывать в Кубанском кавалерийском полку, который формировался на Кубани и на Ставрополье и в январе 1942 года принимал участие в боях за освобождение Ростова-на-Дону. Встречи с конниками-земляками помогли нам написать книгу очерков «Казачи на фронте». Затем всю войну, работая сперва в дивизионной газете, а потом во фронтовой, я, как офицер и военный корреспондент, делал все то, что в годы войны делали все военные корреспонденты, – и это был мой третий литературный институт». То же о «Кавалере...»: «Жившему в станице писателю не надо было ничего изобретать и ничего придумывать. Материал для романа лежал, что называется, у него под рукой. Поэтому все, о чем рассказано в «Кавалере Золотой Звезды» и «Свете над землей» – от возвращения фронтовиков, строительства Усть-Невинской ГЭС, сплава леса до применения электричества, – все это происходило в станице Зеленчукской... На пылающем небосклоне войны уже заалели зарницы долгожданной победы. Мечты воинов все настойчивее обращались к жизни мирной. Самым радостным и самым желанным был разговор о том, что и как должно быть и обязательно будет сделано после окончания войны, – в это время я начал писать романы «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землей», и с них, собственно, и начинается моя литературная биография...».

В автобиографических воспоминаниях Бабаевский обращает внимание на общее настроение, под

воздействием которого писались его романы. «Это было время небывалого душевного подъема, время радостных надежд и свершений. Да это и понятно! Народ-воин, народ-богатырь одержал величайшую победу над фашизмом... Мы, живые свидетели тех лет, хорошо помним: над Кубанью, над Ставрополем, как и над всей нашей страной, витал тогда дух Победы. Он-то, дух Победы, и создавал у людей настроение праздничное, приподнятое, придавал им энергии, трудовой смелости, определял их душевный настрой... Вспоминаю, как эти и другие бывшие фронтовики входили в мирную жизнь... Приехавшие на Маковский два танкиста и навели на мысль начать роман с того, взятого из жизни, эпизода. Однако, прототипами, скажем, Сергея Тутаринова были и другие бывшие фронтовики. В частности, Василий Черников из Усть-Джегуты, внешние черты которого были даны герою романа, Герой Советского Союза Константин Лаптев, которого я знал с детства и биография которого стала биографией Сергея Тутаринова».

Этот писатель стал определенным значимым явлением в истории нашей отечественной литературы, а вычищать историю в угоду современным, пусть и правильным, истинам и оценкам, не следует. На его романах воспитывались целые поколения. Кто знает, что лучше для молодого человека – лакировочный (а может быть, романтический?), но высокий идеал или циничный реализм узаконенных убийств и бесчеловечности денежных мешков, популярных в сегодняшнее время.

На долю Карпа Григорьевича Черного выпало стоять у корней трех важнейших дел и явлений на Ставрополье, куда он внес немалый личный вклад. Каждого из них в отдельности было бы достаточно для жизни одного человека: труд у истоков факультета



тета русского языка и литературы Ставропольского педагогического института, труд у истоков писательской организации, основание и издание альманаха «Ставрополье». Карп Григорьевич Черный родился 26 октября 1902 года в станице Новождерелиевской Краснодарского края. На годы его юности выпало самое сложное и противоречивое время в жизни нашей страны. Надо было обладать врожденным чувством основательной и крепкой любви к жизни, чтобы выйти из этого времени нравственно здоровым, сохранив светлые и чистые представления о человеческой личности, о значении простого человека с его собственной судьбой, повседневными переживаниями и доброй искренностью во всем.

В молодые годы он, воодушевленный идеями освобожденного труда и счастья для всех, стал членом комсомольской ячейки и входил в состав одного из первых отрядов ЧОНа, занимавшихся изъятием спрятанного кулаками зерна. Однако эта деятельность вызывала у него противоречивые чувства: он не мог радоваться несчастью других, пусть и чужих людей, не мог торжествовать, когда видел страх и ненависть. Об этих своих «неидеологических» переживаниях он напишет позже в романе «Мать – Доброе Сердце». Романтика революционных боев увлекала его, хотя самому ему участвовать в них не пришлось. Увлекала напряженностью чувств, размахом великих идей, горячностью и максимализмом. Но было здесь и другое. Еще сельским гимназистом К. Черный преданно влюбился в литературу, в поэзию, особенно классическую. Мечта самому писать стихи наложилась на неординарность переживаемых событий. Первые его поэтические опыты подражательны, слабы, в них еще чувствуется недостаточность образования. Стихи писать он бросил

быстро. Художественная интуиция оказалась сильней штампованного энтузиазма. К.Г. Черный переходит на прозу и в 1928 году пишет повесть «Бабы». Это была проба создания колоритных характеров южных женщин, казачек, одушевленных новым для них чувством социальной освобожденности, оригинально преобразующим свойственное этим женщинам от природы человеческое достоинство. В молодости К.Г. Черный работал учителем в провинциальных школах разного типа. Молодой преподаватель сохранил фотографию группы учащихся. Милые, серьезные лица без кокетства (в основном девушки) с едва намеченными улыбками. Одежда более чем скромная. И наивно-торжественная надпись на обороте: «Привет руководителю 9 группы К.Г. Черному от 9 группы, проработавшей дружно в экспериментальной школе, которая получила знания от товарищей педагогов не только по книге, но непосредственно участвовавшая в трудовом фронте советского строительства».

Война вызвала перерыв в педагогической и писательской деятельности К.Г. Черного. Он ушел воевать сразу с ее начала, дошел с Красной армией до Праги и был демобилизован в конце 1945 года. На материале военных впечатлений написан целый ряд рассказов, вошедших в книгу «Звенья» (1972 г.). Это рассказы не о подвигах и не о стратегии войны. В них – сюжеты о солдатских буднях, о простых людях, сохранивших в суровой и страшной обстановке человеческую душу, удивительные, не военные отношения друг с другом, свои мечты и надежды. Написаны рассказы просто, потому что настоящие подвиги на фронте тоже совершались просто. И в то же время в описаниях мыслей и чувств бойцов, выполнявших героическую военную работу, писатель сохраняет налет чистой романтики, свойственной



ему самому как человеку. Он был во время войны интендантом, начфином (слабое зрение), и, как оказывается, должность эта была не менее трудной и опасной, чем любая другая. История скромного учителя, лейтенанта интендантской службы, заменившего в трудный момент боя убитого заряжающего в танке, в рассказе «Награда» основана на факте, случившемся лично с ним. После этого боя его, как и других танкистов, представили к награде, но он не получил ее, т.к. должность интенданта не подходила под номенклатуру. «Интендантов не награждают». Зато понастоящему счастлив герой рассказа, когда по его просьбе ученики школы, где он работал до войны, нашли семью смертельно раненного командира и сообщили об этом. С войны Карп Григорьевич вернулся с двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени и с медалью «За победу над Германией».

За плодотворный, самоотверженный труд по подготовке преподавателей русского языка и литературы он был награжден орденом Ленина, по тем временам высшей наградой страны после звания Героя.

Трудно сказать, что было важнее для Карпа Григорьевича – работа преподавателя или писательская деятельность. И то, и другое было ему дано, и то, и другое получалось. По воспоминаниям профессора В.М. Тамахина, который учился у Черного еще в 1937 году, Карп Григорьевич умел «пробуждать в человеке веру в собственные, еще не испытанные возможности». Так же было с молодыми писателями. У самого же К.Г. Черного особенностью творческого почерка была духовная окрыленность, неистребимое убеждение в том, что человек может в этой жизни очень многое, если правильно выбрал

свою дорогу. Идеалы, утверждаемые всей жизнью и творчеством Карпа Григорьевича, в сущности, очень просты, «...И личного счастья», «Мать – Доброе Сердце», «Каравай» – эти названия подчеркивают самое главное. Его книги написаны о любви, о молодых мечтателях, о крестьянских заботах, о хлебе, о войне, о труде. Состояние труда для него было органичным, способность к полной самоотдаче в труде являлась критерием оценки человека, и так же думают лучшие его герои. «Жить с достоинством» – было его житейским и писательским завещанием. Кроме уже названных, К.Г. Черному принадлежат: «Сегодня, завтра, всю жизнь», «Там, вдали за рекой...», «Несколько дней жаркого лета», «Звенья», сказка для детей «Путешествие в Страну Запрещенных Улыбок», написанная в добрых традициях мировой сказочной литературы о ребенке-победителе.

Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что жизнь в книгах и жизнь «на самом деле» не совпадают, писатель убежден, что настоящая книга не просто делает жизнь лучше, но и по существу делает жизнь, ее порождает, развивает, спасает, ну и, конечно, украшает. Он любил литературу чисто и самоотверженно, искренне видя в ней спасение от многих бед. Молодые герои в его книгах – или филологи, или любители чтения. Они цитируют писателей, обращаются к их авторитетам. В произведениях о войне светлые минуты чаще всего связаны с книгой, причем, преимущественно, с классической. Фигура школьного учителя или вузовского преподавателя литературы – нередкий персонаж его произведений.

И жизнь, и книги писателя связаны с Кубанью и Ставрополем. В Ставрополе он жил с 1933 года, отсюда ушел на фронт, здесь проработал почти всю



жизнь, здесь увлекался рыбной ловлей и сочинял свои произведения. Здесь и умер в 1985 году.

К тем писателям, которые прошли войну и оставили свой след в литературе Ставрополья, принадлежит Илья Васильевич Чумак (настоящая фамилия Чумаков, писал он также под псевдонимами Ал. Кривцов, В. Ярцев, И. Клен) родился 2 августа 1912 года в селе Старая Полтавка Саратовской губернии. Писать начал рано. Его первые стихи и рассказы были опубликованы в альманахе «На подъеме» в 1931 году. Последняя прижизненная книга Чумака «Живая россыпь» вышла в свет в 1967 году, в год его ухода из жизни. Издавался он и после смерти, что редкость для провинциального писателя В сборник «Марьины колодцы» вошли повести «Марьины колодцы», «Трое за Маньчем», «Буруны», «По волчьим следам», рассказы об Апанасенко и о Доваторе, новеллы и очерки. Книга вышла в свет в Ставропольском книжном издательстве в связи с шестидесятилетием со дня рождения Ильи Васильевича. В 1982 году произведения Чумака вновь были переизданы отдельной книгой под названием «Трое за Маньчем».

Жизнь Ильи Васильевича была трудной, и, к сожалению, короткой. Он умер в 1967 году. В юности будущий писатель учился и воспитывался в трудкоммунах в Орле, Ростове, Краснодаре, в колониях имени Горького, Дзержинского, знал лично знаменитого педагога Макаренко. Там он приобщился к журналистике, потом переехал на Ставрополье, работал в газетах «Молодой ленинец», «Орджоникидзевская правда» (ныне «Ставропольская правда»), дружил с молодыми литераторами тридцатых годов, участвовал в Великой Отечественной войне.

Его первая скромная книжка «Атака» вышла в Ставрополе в 1944 году, вторая – в 1946 году под

названием «В начале мая». В нее вошли рассказы «Акация у окна», «В степи», «Лодка на волнах», «Верность», «Вера», «Отец», «Весна», «Ночью», «У костра» и ряд других. Талантливого автора заприметил тогдашний руководитель краевой писательской организации Иван Яковлевич Егоров.

Рассказы и очерки Чумака – это свидетельство эпохи. С этой точки зрения надо смотреть на особенности их содержания. Надо видеть верные типы времени, надо видеть моменты формирования психологии и сознания людей, желавших построить справедливую и счастливую жизнь и готовых за это пожертвовать всем на свете, максималистов во всем, непримиримых ни к каким компромиссам. Тем более, когда речь идет о времени кровавом и страшном, времени войны. А этих людей писатель знал хорошо, потому что сам был таким. Отчетливо расставлены идеологические акценты в повестях цикла чекистских рассказов (цикл «По волчьим следам»). Илья Васильевич служил в группах СМЕРШ, знал этот материал не понаслышке. И искренне презирал тех, кто, не признавая советскую власть, воевал на другой стороне, убивал колхозников и потому считался предателем.

Писатель В. Чернов вспоминал: «Илья Чумак учил нас, молодых литераторов, писать кратко, сжато, как он любил говорить, «стоя босиком на колючках». Писать, ничего не выдумывая, все, что пережито тобой, что увидено собственными глазами». Действительно, проза И. Чумака отличается тем особенным характером простоты, который, на первый взгляд, стирает границы между художественной и разговорной речью. Но при этом не становится вульгарной, не приспособливается к просторечию. Писатель просто умеет выбирать главное, существенное для понимания события и человека в нем.



Он никогда не считал себя выдающимся писателем, никогда не противопоставлял себя «невежественному» читателю из толпы. Наоборот, ему хотелось, чтобы его слово было доступно, понятно и в то же время важно по самой сути писательского высказывания.

Дорогим свидетельством далеких дней являются его рассказы о босяцком детстве и затем о днях Великой Отечественной войны, участником которой он был. Часто его повествование, в целом почти документальное, во всяком случае очерковое, обогащается фрагментами романтической легенды, сложившейся, конечно, под воздействием идеологических стереотипов, однако, как во всякой легенде, обладающей красивой идеализацией, свойственной в целом народному сознанию. Такова уже в ранней его повести «Буруны» легенда о погибшем от рук бандитов агрономе, собиравшем семена «чудо-травы» люцерны, которая не страшится «ни зноя, ни песчаных заносов», для того, чтобы укрепить пески пустыни. Он радостно доверил свои мечты озлобленным, изгнанным из хутора «злодеям», надеясь на то, что они разделят его радость. Но они цинично убили старого агронома. И его засыпали бурунные пески, и никто не знал, где его могила. Но «в начале мая у Волчьего Кургана вдруг зазеленела широкая лужайка. Она легла на сыпучий песок как раскинутый кем-то ковер – густая, высокая, вся в нарядном цветении... Шли годы, а лужайка не увядала. Наоборот, с каждой новой весной она становилась все просторнее и богаче. Все дальше и дальше отодвигались от нее сыпучие гребешки...». Это были ростки из тех семян, которые собрал старик-самоучка Кузьма Иванович Шумейко. Это событие приобрело в глазах колхозников значение поверья, вдохнувшего силу и уверенность в возможности процветания родного края, потому что в поступке

их земляка присутствовала именно эта коренная и вечная вера в родную землю. Она-то и дарит жизнь, как родник живой воды.

В «Рассказах об Апанасенко» тоже есть легенда, связанная с храбростью конного командира, когда одно его имя вдохновляло на бой с фашистами. Образ генерала оваян характерными деталями казачьего и кавказского фольклора: «Уже отчаивались командиры, как вдруг из леса, окутанного пороховым дымом, выскочил всадник в заломленной серой папахе. Гнедой конь под его седлом яростно рвал удила и так легко перелетал через рвы и воронки, словно не скакал, а летел на крыльях. Всадник держал направление прямо на врага...». Генерал прост с подчиненными, прислушивается к советам, принимает всегда взвешенные решения, и в то же время показывает чудеса отваги, совершая неожиданно смелые поступки.

Вообще, человек, привлекающий внимание писателя, при всей его привязанности к земле, к повседневности, к будням своих дел, где-то в глубине души всегда остается романтиком, оваянным любовью к тем ценностям, которые вечно живут в сознании и чувстве народа. Происходит постоянное переключение из мира конкретной ситуации, описываемой автором, в мир глубокого внутреннего мироощущения героя.

Илью Васильевича можно с уверенностью назвать советским человеком в том смысле, в котором эти слова воспринимались поколениями послевоенных лет – скромный труженик, с чувством человеческого достоинства, определяемым не словесной принадлежностью, а пониманием ценности дела, которому служишь.

Он любил землю, любил пшеничное поле, чабанские костры, любил своих друзей – все это про-



сто, без надрыва и самолюбования. Он спокойно шел по жизни, убежденный в том, что каждому человеку следует делать то, что он может делать лучше всего. Так он относился и к своему писательскому призванию, так он относился к своим персонажам, которых выбирал по признаку – «на своем месте». А началось все с Антона Семеновича Макаренко, который, очевидно, и помог сформироваться этому человеку. Существуют разные свидетельства о детских колониях для беспризорных, организованных в первые годы советской власти. Среди них есть подлинно трагические, например, рассказ ставропольского уроженца (затем эмигранта) Б.В. Филиппова «Монастырь» из его книги «Кресты и перекрестки». В рассказе повествуется о том, как в монастырском помещении большевики «раздрючили» детскую колонию. «Дети, босые, трепанные, оборванные до последней степени, вшивые, – были собраны со всех городов, городков, сел и станиц некогда «Тихого» Дона, бывшей житницы России – Кубани – и прежде привольного Ставрополя. Прошли они страшную школу безотцовства, заброшенности, ночевки в сточных колодцах, вагонного и вокзального воровства и младенческой проституции. Испитые, матершинничающие, все в чесотке и вередах, – они были бичом и слободки и города, и окрестных сел и хуторов». А потом в колонии началась страшная эпидемия, и зараженные дети были убиты и засыпаны негашеной известью. Это была зима 1921-1922 года.

Илья Васильевич избежал в своем колониистском детстве страшной судьбы, хотя и радостных картин, которыми наполнена «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, тоже практически не было. И все же «Курияжские рассказы» показывают другую сторону жизни бездомных детей в колонии, –

там, где дело вели умные и ответственные люди. Таким был Антон Семенович Макаренко, которого в конечном итоге колонистская «шпана» признала своим отцом (рассказ «Отец»). В рассказе «Антоновские яблоки», явно контрастирующем с бунинскими настроениями в одноименном произведении, И.В. Чумак говорит об ином счастье, о том, которое приходит к обездоленным детям, еще не знающим общечеловеческих ценностей, изначально их лишенным, но постепенно осознавшим, что в этом жестоком мире есть прощение и доброта.

Грабили ребята из колонии сады куряжан, сладу с ними не было. Пожаловались сельчане Антону Семеновичу. И тот применил педагогический прием доверия, объявив, что колонисты служат в округе примером и не могли допустить такого позора. «Прошло целых пять минут, прежде чем мы опомнились от слов Антона Семеновича. Это было так неожиданно и так трогательно, что на наших глазах заблестели слезы. Нам показалось, что куряжане в самом деле на нас клеветают, что мы честные люди и можем служить примером для их же детей. На то ж мы – колонисты, мы – горьковцы...». Итог был естественен. «Потом еще много было темных ночей, июль сменил август, после августа над колонией распластался холодный сентябрь. В сентябре в куряжанских садах начинала созревать антоновка. С колонийской стены в ясный полдень хорошо были видны золотистые тяжелые плоды, до них было подать рукой, но куряжане молчали. Они больше не шли к Антону Семеновичу жаловаться на нас, мы давно перестали бывать в их садах.

Они пришли к нам уже глубокой осенью, когда сады осыпали листья, пришли на вечер, посвященный первому выпуску колонистов в самостоятельную жизнь, и вместе с собой нам в подарок привезли



три веза антоновских яблок. Яблоки были спелые и сочные, с золотистым отливом, мы наелись в тот вечер их вдосталь – чудесных антоновских яблок, спокойно созревших в куряжанских садах».

С таким опытом бездомного детства вырос Илья Васильевич Чумак. В 2012 году исполняется столетний юбилей писателя. На его книжечке «Буруны», изданной Ставропольским книжным издательством в 1947 году, написано «Библиотечка колхозника. Серия художественной литературы». Тогда, в послевоенные годы, литературу адресовали тем, кому она, казалось, предназначена. Книги Чумака – крестьянам. Сегодня перечитать многие рассказы Чумака полезно было бы всем, чтобы вместе с автором пережить страницы нашего прошлого и увидеть его не со стороны, а изнутри, глазами участника.

Среди писателей-фронтовиков Ставрополья совершенно органичной является фигура писателя и поэта Дагестана Эффенди Капиева. Он родился в селе Кумух Лакского района. Отец его был кустарем-лудильщиком и гравером. В 1917 году семья из Ставрополя переехала в город Темир-Хан-Шуру (Буйнакск). Окончив там среднюю школу, Эффенди Капиев стал учителем русского языка в начальной школе села Аксай. Затем учился в Ленинградском машиностроительном институте, который не окончил из-за болезни.

С 1931 по 1935 год Э. Капиев был ответственным секретарем писательской организации Дагестана. Сотрудничал в Даггизе, в газетах «Ёлдаш» («Товарищ»), «Молодой ленинец» (Пятигорск), «Дагестанская правда» (фронтовым корреспондентом во время Великой Отечественной войны).

Национальные начала в творческой натуре Капиева органично сочетаются с большой русской

культурой, он сам это сознавал и гордился этим. Его друг и редактор, журналист А. Колосков вспоминает: «Возник вопрос: Ты же дагестанец, Эффенди, а почему ты пишешь на русском языке? Наверное, на родном языке писать было бы легче? Он задумался и немного погрузился».

– Да, я дагестанец, лак. Я люблю свой народ и его язык. Но русский язык для меня такой же родной, как и лакский. Почему я пишу по-русски? Потому, что русский язык – язык миллионов, а нас, лаков, горсточка. То, что я напишу по-русски, узнает и мой народ... Что же касается того, на каком языке писать легче, я думаю так: на всех языках писать одинаково трудно, если стараешься писать по-настоящему...

Эта запечатлевшаяся в памяти встреча с Эффенди Мансуровичем Капиевым имела место летом 1939 года в Пятигорске».

С 1939 года, живя в Пятигорске, он занимался изданием первого номера альманаха «Ставрополье» (тогда «Альманах»). Как вспоминает К.Г. Черный, Капиев вложил много физических и душевных сил в это такое необходимое тогда дело. «Сказать, что он был собирателем и редактором этого номера, мало. Он был его душой, столько пристального и сердечного внимания уделял он каждому автору первого краевого писательского сборника».

Литературный труд Капиева основан на неизбывной любви к своей народной культуре. Он занимается собиранием народных песен и эпоса народов Кавказа. Результатом такой деятельности стали сборники «Песни горцев» (1939) и «Резьба по камню» (1940), вышедшие в Москве. Переводы фольклорных источников отличаются точным следованием ритмике и образной системе подлинника. Это получается у него естественно и талантливо.



во, потому что идет из самого детства. В коротком предисловии к сборнику «Резьба по камню» поэт пишет:

«Каменщики в горах – летописцы и поэты.

Любя или ненавидя, возвеличивая или предавая позору, они высекают на камне историю своего народа.

На краугольных башнях крепостей, на сводах ворот старых и новых домов, на могильных памятниках героев я читал узоры и надписи моих отцов...

Странно, что на языке легов понятия народной поэзии и резьбы по камню имеют общий корень. Разве живое слово сравнимо с резцом?

Эту книгу песен дагестанских горцев я посвящаю скромным каменщикам – народным певцам моей страны».

Сам Эффенди Капиев в книге стихов «Резьба по камню» свое личное творчество и народную песню сплел в неразделимое единство.

Наталья Капиева, жена и помощница Эффенди, пишет: «Эффенди Капиев создал своеобразную энциклопедию удивительных горских песен и мудрых горских певцов. Но о своей собственной жизни, о себе самом и о биографии своей он мало писал. Может быть, он считал это неинтересным для других. Или, может, он рассуждал точно так же, как и его знаменитый предшественник Маяковский: «Я – поэт, этим и интересен...». Эффенди, если и писал о себе, то вовсе не для того, чтоб рассказать о себе и показать другим, мол, вот я какой, а просто для того, чтобы отметить характерные черты жизни и быта горцев, с которыми ему пришлось сталкиваться, которые имели отношение к тому, о чем он пишет, которые так или иначе повлияли на его образное мышление. Жизнь его – это школа подготовки художника, школа про-

верки и испытания на прочность его характера и мастерства».

Главной книгой Э. Капиева называют цикл новелл «Поэт». Центральная фигура в нем – народный поэт Сулейман Стальский. Однако автор хотел, чтобы книгу воспринимали не как повествование о Сулеймане, а как обобщение представлений о том, каким должен быть поэт, рассказ о внутреннем мире творческой личности, глубоко укорененной в своем народе. «Это книга о народном поэте, – говорил Капиев. – Многое будет в нем от Сулеймана Стальского, но многое от Гамзата Цадасы и других дагестанских поэтов». Тема книги огромна и по материалу, и по замыслу. Внучка требует рассказывать сказку, и Сулейман делает это, сочиняя ее на ходу и пресыпая забавный сказочный сюжет знакомыми всем событиями. Получается одновременно и сама сказка, и то, что называется «сюжет рассказывания», сплетенные так тесно, что отличить их невозможно. Так складывались народные произведения на протяжении столетий, так рождается фольклор. Реальность и фантастика дополняют друг друга, гармонируя с настроениями героев, перемежаясь с психологически достоверными описаниями характера героя и его раздумьями. Нет ничего необычного в облике и поведении Поэта. Он просто малая часть великого – своего народа, всей истории.

В 1942 году Э. Капиев уходит на фронт. Он находился там два года. Результатом стали двадцать записных книжек, в которых записаны отдельные эпизоды, мысли, стихотворения в прозе, думы по поводу увиденного. Капиев постоянно находился в рейдах, книжки пестрят названиями населенных пунктов Кавказа, где он побывал. Грозный, Новороссийск, Кизляр, Краснодар, станицы Савельевская, Ищерская, Стодеревская, Эльхотово... Он корре-



спондент «Дагестанской правды», газеты «Вперед, за Родину!», часто является участником военных походов и сражений. «Друзья мои! Мы живем в суровое, великое время. Оно настолько необычно и неповторимо, что каждая правдиво написанная строка сегодня принадлежит истории. Будем честны. Позор и презрение тому подлецу, кто сфальшивит, кто вздумает кривить душой. Будем честны перед своей совестью, ибо совесть наша отныне есть совесть свидетелей на суде, к которым будут обращаться грядущие люди». Его записи показывают прежде всего человека с его настроением, с его душой. «Удивительный вечер. Сидят на койке больные командиры в полутьме при лунном сиянии, сидят, обняв колени, окруженные белыми простынями, и поют задушевными полными голосами – все до одного – тяжелую, задумчивую песню.

*Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.*

И, кажется, нет и ничего не существует в мире в этот предвечерний час, кроме этой мужской, раздольной и широкой песни. Ах, когда она кончится!.. Поют раненые и больные, тихо покачиваясь в согласном, самозабвенном ритме. Их лиц не видать, да и не надо – тем плотнее и непреодолимее окутывает сердце печаль. Ах, война, война!»

Это – стихотворение в прозе. Всеволод Вишневский определил смысл таких записей Эффенди Капиева: «...Это высокая правда о войне, правда, сказанная храбрым и честным человеком».

О направлении поисков Капиева, о том, как должна была звучать его военная проза, может дать понятие рассказ «Эпитафия». Его можно считать в какой-то мере законченным и по завершенности замысла, и по отточенности стиля.

«Давно-давно, но не очень – всего лишь около ста лет назад – в этих местах, где остановил я сейчас коня, шли также беспощадные битвы. Правда, горы тогда выглядели куда девственнее, дорог не было, скалы и камни обступали путника на каждом шагу, глохли леса, и эта тропинка едва ли тогда вела в горы. Горы были неприступными и чужими. На противоположном склоне виднеются остатки старинной крепости. Сохранилась даже почерневшая от времени зубчатая стена (в одной из трещин ее проросла целая семья березок), сохранились треугольные темные бойницы, крепостной вал, какая-то груда кирпичей. Станешь в сторонку один в тишине – пустынная темная птица парит над тобой, конь дремлет, опустив уши, уйдешь мыслью в глубь времен, и кажется, что вырисовываются в тумане русские егеря, запыленные апшеронцы, ставшие во фронт, кажется, слышишь призрачный барабанный бой, и комендант крепости, может быть, какой-либо Максим Максимыч, в горской папахе с добродушными русыми усами... Вот он выходит покурить трубку на крепостной вал и, став к нам спиной, щурясь, долго вглядывается в даль облаков, на застывшую в вышине темную птицу.

– О Петербург! За что я прикован к камням гибельного сего Кавказа? – кажется, шепчут его губы.

В ту пору шла жестокая война. Мои предки не на жизнь, а на смерть воевали с белым царем. Слово «русский» было тогда самым ненавистным, самым проклятым, и в бой с русскими шли мои отцы, засучив рукава суровых своих черкесок выше локтей, обнажив кривые сабли и обвязав шею смертным саваном, что означало, что они шли не на шутку, на газават, на смерть, на священную кровавую битву с русскими, в которой



готовы погибнуть с честью, для чего и берут заранее с собой свои саваны.

Не мне, не мне писать об их удали. Они дрались и гибли, как львы! Но за что? Как странны, как бессмысленны на этой земле судьбы людей, как абсурдны и жестоки законы человечества! И, думая о прошлом, я медленно трогаю коня; конь, преодолевая дремоту, тихо поднимается по тропе. Я оглядываю черные руины некогда, быть может, знаменитой русской крепости в сердце гор, среди неприступных высоких скал, заросших лишаем и можжевельником. Ничто, ничто не нарушает тишины. Сама тишина звучит забвеньем, и зной осеннего сладкого солнца, кажется, входит в мою грудь. Вдруг на небольшой поляне я вижу в траве плоский ржавый камень. «Стой, мой конь!» При моем приближении в траве зашуршала ящерица. Я слез с коня. Это была очень старая могильная плита, наполовину вросшая в землю. Обломившийся каменный крест лежал тут же. Ни души вокруг, никаких признаков близости людей, – когда, кто, кем здесь погребен? С большим трудом раздвинув бурьян и очистив с плиты коросту желто-зеленого лишая, я читаю обветрившуюся надпись. Эпитафия гласит:

«Один я на чужбине среди каменистых скал. Ни одной родной души не придет ко мне на могилу и в память мою этих слов не произнесет: «Мир праху твоему, Всеволод».

А сбоку другая, старинными буквами, строгая надпись:

«Здесь покоится прах поручика Апшеронского полка Всеволода Николаевича Грунина, умершего от ран в бою с горцами, 16 августа 1842 года. Покойному было 22 года».

Непонятное вещее дыхание как бы потрясло мою душу. Сто лет тому назад – ровно сто лет – этот русский умный юноша (ибо надпись-то, вероятно, высечена по его завету) погиб здесь в жестокой войне с моими отцами. Мои отцы считали его кровным, самым смертельным, проклятым врагом, и он тоже считал их чужими... Но что мне сказать о моих переживаниях? Странная судьба выпала на мою долю – как мне с ней быть? Сын гор, я душой и мыслями и всем моим существом русский человек, и без русского языка, без русской среды нет мне в жизни ничего родного.

Я срываю с головы свою шапку, становлюсь на колени перед могилой и шепчу: «Мир праху твоему, Всеволод. Это я, потомок твоих кровных врагов, произношу тебе, как родному: пусть твоя мысль встретится с моей мыслью – они братья. Пусть эта каменная земля, враждовавшая с тобой, не будет тебе жестка, родной мой, пусть она ляжет над тобой мягче перины, пусть будет сон твой мирным, как эта тишина... Твоя молодая кровь, пролитая на этих скалах, впиталась в почву, и ты видишь – взросло новое племя, в жилах моих течет частица и твоей крови, брат мой. Отщепенец ли я? Не знаю! Но все же спасибо, спасибо тебе! Родная душа пришла на могилу, и, как видишь, на твоём русском языке говорит она тебе: «Мир праху твоему, Всеволод». И за себя, и за своих предков... Спи спокойно!

Идет война. Снова в горах звучит эхо выстрелов, но война эта куда зловещее и грандиознее, чем та, в которой ты погиб.

Как странны, как бессмысленны судьбы людские, но зато закономерны судьбы народов».

Записные книжки Капиева – прекрасный документ военного времени, доказывающий, что музы,



если не поют вслух при громе пушек, то берегают высокую поэзию для всех, кто воевал и не воевал, но кто не затоптал свою память. Поэт слышит вольную песню жаворонка над искореженным бомбежкой полем и с трогательным чувством видит цветущие розы рядом с сожженной хатой... Или вот, очень коротко. «На поле санитарка, маленькая девушка, тащит раненого:

– Как тебя зовут?

– Э... Забыла. Хоть убей!» Из записной книжки.

Такая она, война для писателя.

Поэт о поэте

Честный поэт – достояние России!

Познанное на собственном опыте, пережитое, прочувствованное равнодушным сердцем, а затем осмысленное и мастерски переработанное недюжинным поэтическим талантом – никого не может оставить равнодушным. Меня -то уж точно!

Жаль только, что мы живём в «Нечитающей стране». Когда-нибудь, в будущем, быть может, посетуем: какой же талантище мы проворонили! Как проворонили в своё время поэтов-ставропольцев Екимцева, Мосинцева, Логвинова, не воздадим им при жизни положенного. Да и Владимир Гнеушев не от благодарных земляков в Москву подался.

– Пятигорск? – а, это где Лермонтова убили? – говорят всезнающие туристы.

Как же мы глухи к современникам! Как привыкли, ни за что не отвечая, считать себя «Литературной провинцией России». А её нет, если нет в наших душах рабской приниженности и мещанского равнодушия, что ещё в пушкинские времена определялось понятием «Чернь».



**ГАЛИНА
ШЕВЧЕНКО**

*Литературо-
ведение*





Доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета Л.И. Бронская, анализируя творчество нашего земляка Владимира Яковлевича Яковлева, пишет: «**В отличие от многомиллионной востребованности репортёра, быть поэтом сегодня, значит обращаться к весьма немногочисленной аудитории, умеющей ценить прекрасное. Мы разучились говорить с собой, мучительно искать истину, перестали нравственно совершенствоваться. В связи со сказанным, беру на себя ответственность утверждать, что выход в свет поэтического сборника Владимира Яковлева – явление в нашей жизни долгожданное, хотя бы потому, что в этом духовном безвременье откалибрована, как сверкающий патрон. Каждая позиция определена, как место солдата в строю.**»

Откуда это стремление к совершенству? Конечно же, из почтительного отношения автора к истокам нашей культуры, к живым корням русского языка. Автор любит слог древних летописей, благоговеет перед речениями сибирских староверов:

*Где восемь дымов вырастают, как лес,
Где восемь избушек, а далее – пусто,
Лицом к океану повёрнутый крест
Стоит у околицы Русского Устья.
И льются речения прежних годов:
«Озерья», «брега», «незакличные дети»...
И говоры старцев я слушать готов,
Как дивную музыку давних столетий.*

Самобытный талант владения словом и безупречный литературный вкус, острый взгляд непосредственного участника событий и безграничная

доброта, огромный запас слов и независимость авторских оценок резко выделяют Владимира Яковлева из «праздношатающихся» графоманов литературного конвейера. Жизненное пространство для него – не поле интересов бизнеса, не захламлённое интернет-пространство валовой псевдолитературы, не кривая тропиночка к популярности и славе, а – Дело Чести!

Его поле – это Поле Боя за русскую историю, правду, за наш народ:

*Гляжу вокруг: мир снова подл и лжив.
Клянутся Богом, в душу лезут снова.
Но, кажется, отшельник Сергей жив,
И где-то рядом – поле Куликово.*

У каждого из нас есть свои учителя, свои иконы, свои образы, которые всегда рядом с нами. Такими духовными наставниками для Яковлева стали Сергей Радонежский, Кондрат Булавин, Жанна д'Арк и, конечно же, – Диоген:

*Старик-бродяга, хулиган-калека,
Куплю фонарь за тысячу грошей,
Продолжить поиски не бога – Человека!
В базарный день под гогот торгашей.*

Обширный творческий потенциал Яковлева вызывает восхищение. Он остро чувствует чужие боль и радость. Умеет сопереживать и наслаждаться прекрасным. Не чужда ему и изящная эстетика эротизма:

*Дорогая, ну задайся целью,
Захвати с собой карандаши,
Нарисуй мне Цейское ущелье,
Как тебе там было, – напиши.*



*Нарисуй мне, как жемчужной лентой
Млечный путь сплетал вас до утра,
Напиши, как весело студенты
Под гитару пели у костра.*

*Нарисуй, как солнышко вставало,
Как туманы плыли, ночь храня,
Как росиночка слезой сверкала,
Потому что не было меня.*

В бесконечности впечатлений, Владимир Яковлев умеет выделить главное. В зависимости от обстоятельств – быть ироничным и жестким. Но, как всегда, – справедливым! Масштабность его оценок исторична: нуждающимся в помощи, радости от сознания того, что наша непредсказуемая жизнь все-таки продолжается и есть надежда, что еще не все нами потеряно.

Сведения об авторах

Аксенов Иван Михайлович. Родился в 1935 году в селе Привольном Ставропольского края. Окончил Ставропольский пединститут и многие годы работал в школе учителем, завучем. Автор многих сборников прозы, стихотворений и эссе. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии губернатора Ставропольского края. Живет в Новопавловске.

Беликов Герман Алексеевич. Родился в 1933 году в Ставрополе. Известный краевед и публицист. Почетный гражданин города Ставрополя. Член Союза писателей России. Окончил педагогический институт. Занимался преподавательской и научной деятельностью. Автор многочисленных книг по истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Бродовский (Петросян) Валерий Давидович. Родился в Украине. Окончил Ставропольский медицинский институт. Автор двух книг прозы. Работает врачом. Живет в Ставрополе.

Каунова Юлия Андреевна. Родилась в г. Ершове Саратовской области. Трудовую деятельность начинала литсотрудником районной газеты. Сменила несколько профессий. Возглавляла журнал «Лирика Кавказа». Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей России. В нашем альманахе дебютирует как прозаик. Живет в Кисловодске.

Подольский Станислав Яковлевич. Родился в 1940 году в Кисловодске. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Автор многих книг стихотворений и прозы, которые получили высокую оценку коллег по перу и читателей. Признанный воспитатель литературной смены. Член Союза российских писателей. Живет в Кисловодске.



Сухорукова Тамара Васильевна. Родилась в г. Кемерово. Окончила Кубанский государственный университет. Работала следователем прокуратуры, юрисконсультантом, старшим помощником прокурора. Автор поэтических сборников: «Молва дождей», «Из вечного света» и др. Член Союза писателей России. Живет в Невинномысске.

Сургучев Илья Дмитриевич. (1881 – 1956). Выдающийся русский писатель, драматург, публицист. Родился в ставропольской купеческой семье. Первый рассказ опубликовал в 1906 году в «Журнале для всех». Большой успех и известность в стране принесли роман «Губернатор» и пьеса «Осенние скрипки», поставившие его в один ряд с классиками отечественной словесности. Нынешняя публикация впервые знакомит российских читателей с неизвестным наследием классика.

Черная Татьяна Карповна. Родилась в Ставрополе. Литературовед, критик. Окончила МГУ. Доктор филологических наук. Профессор СКФУ. Автор многочисленных публикаций и критических работ, посвященных творчеству классиков и современных авторов. На протяжении многих лет исследует произведения крупнейших ставропольских писателей и поэтов. Живет в Ставрополе.

Шевченко Галина Александровна. Родилась в Пятигорске. Окончила Московский геодезический институт. Сменила несколько профессий. Известный краевед. Поэт. Критик. Автор фундаментального исследования «Благословенный край Пятигорья», изданного в двух томах. Заслуженной известностью пользуются ее книги «На земле предков» и «Полет сквозь время». Член Союза писателей России. Живет в Пятигорске.